БИБЛИОТЕКА
БАШКИРСКОГО
РОМАНА
"АГИДЕЛЬ"



ДАУТ
ЮЛТЫЙ

КРОВЬ

Б

БИБЛИОТЕКА
БАШКИРСКОГО РОМАНА



"АГИДЕЛЬ"

Вышел роман «Иргиз» Хэдии Давлетшиной из серии библиотека башкирского романа «Агидель». «Кровь» Даута Юлтыя — второй роман этой серии. Библиотека состоит из книг видных башкирских писателей: «Первые шаги» А. Вали, «Орлы не покидают гнезд» Я. Валеева, «Черноликие» М. Гафури, «Красноармейцы. Красногвардейцы» А. Тагирова «Прощай Рим!» И. Абдуллина, «Кудей» И. Насыри, «Поворот» Г. Хайри, «Солдаты без погон» Х. Гиляжева, «Колос ржи» Ф. Исангулова, «На склонах «Нарыштау» К. Мэргэна, «Униженные» З. Биишевой, «Я не сулю тебе рая» А. Бикчентаева, «Подснежник» Г. Ибрагимова, «Годы возмужания» А. Байрамова, «Когда разливается Акселян» Б. Бикбая, «Бахтизин» В. Исхакова, «Фундамент» С. Агиша, «Люди дальних дорог» Н. Мусина, «Золото собирается крупицами» Я. Хамматова.

Библиотека «Агидель» рассчитана на ежегодный выпуск трех-четырех романов.

В 1974 году выйдет третий роман серии — «Дорога Москвы» Д. Исламова.

ДАУТ ЮЛТЫЙ

КРОВЬ

РОМАН В ДВУХ КНИГАХ

Перевод с башкирского
С. Сафиуллина и Ю. Дудолкина

Башкирское книжное издательство
Уфа * 1974



Даут Юлтый (1893-1938)—известный башкирский писатель, автор романа „Кровь“, многочисленных рассказов, очерков, стихов, поэм и драматических произведений.

С(башк.)2
Ю38

Роман Д. Юлтыя «Кровь» охватывает небольшой, но сложный исторический период — от начала империалистической войны до Февральской буржуазно-демократической революции. В окопах, сражениях, походах, лазаретах темные, политически незрелые солдаты получают первые уроки классовой борьбы, начинают сознавать бессмысленность бойни народов. В романе показано, как солдаты-башкиры Булат, Байгужа, Буранбай, просвещенные революционно настроенным русским товарищем, Новиковым, поднимаются на борьбу против войны.

Первая книга романа неоднократно издавалась на башкирском, русском и татарском языках. Вторая книга считалась утерянной. Но в 1968 году научному сотруднику института истории языка и литературы С. Г. Сафуанову удалось обнаружить подстрочный перевод ее на русский язык, выполненный М. Галиевым, в Центральном архиве литературы и искусства СССР. В настоящем издании вторая книга романа публикуется в переводе Ю. Дудолкина.

Художник
А. Королевский



Книга первая

Глава первая

Зима. Польская зима. Она не похожа на нашу, башкирскую, с ее трескучими морозами, жгучими метелями. К рассвету здесь обычно подмораживает, с утра крупными хлопьями валит снег, белым пологом устилая землю, а к вечеру хлещет холодный, вперемешку со снегом, дождь.

Наш запасной батальон, направляющийся на фронт, в пять часов утра покинул Варшаву. Мы уже прошли верст пять-шесть, когда забрезжил рассвет. То ли все перепуталось в голове, но мне показалось, что заря занимается с запада.

— Интересно, почему светает отсюда? — обратился я к Байгуже.

— Кто его знает... — вяло отозвался он. Погруженный в неизвестные думы, Байгужа шагал с опущенной головой, глядя себе под

ноги. Я не стал прерывать нить его размышлений и занялся разглядыванием местности, по которой проходил наш батальон.

Мы идем по гладкому шоссе, по обочинам которого вкопаны тумбы и отлитые из бетона верстовые столбы. Дороги здесь тоже не похожи на наши, они чуть выпуклы посередине.

Когда рассвело, по правую сторону дороги показалась деревня. Красивые каменные дома ее аккуратно и гладко крыты ржаной соломой. Издали выделяются несколько домов с черепичными крышами. Селение утопает в садах, а за деревней раскинулся лес. Величественные сосны, возвышающиеся над белыми просторами, сквозь сетку утреннего снега кажутся темно-синими и навевают какое-то странное, тягостное впечатление.

Знаки на столбах показывают, что мы уже проходим девятую версту. «Может, здесь устроят привал», — подумал было я, завидев деревню, но пешая колонна солдат, растянувшаяся по шоссе, пройдя мимо, повернула влево.

— Все еще топаем... — раздаются в колонне недовольные голоса. Многие, очевидно, как и я, рассчитывали на отдых в деревне, но она уже осталась позади. Когда выступили из Варшавы, у меня сильно болела правая нога, теперь, видно, разгоряченный ходьбой, я почти не чувствовал боли. Четвертого дня на станции Варшава я сорвался с вагона на рельсы. Как раз угодил голенью и от страшной боли не смог даже встать на ноги. В казарму меня вели товарищи под руки. Сняв сапоги, я обнаружил на голени кровоподтек величиной с ладонь.

— До фронта не добрался, а уже ранен! — смеялись мои товарищи. Мне же было не до смеха: резкая боль пронизывала ногу. Наутро меня отправили в околоток. Я полагал, что проваляюсь дней пятнадцать, даже успел написать домой письмо. «Сильно ушибся, — написал я, — чуть было не сломал ногу. Теперь лежу в больнице, выйду, наверное, дней через пятнадцать». Выписали же меня через три дня. И я, прихрамывая, опираясь на палку, вернулся к себе в часть. А сегодня вот с больной ногой иду на фронт...

К вечеру мы добрались до Блунии. Это маленький городок с узенькими улочками, по обеим сторонам которых выстроились низкие двухэтажные каменные дома. Город почти не подает признаков жизни. На улицах темно, лишь в нескольких местах тускло мерцают подслеповатые электрические фонари. Дома глядят на мир мертвыми квадратами окон. Изредка по улицам с шумом проходят обозы или грузовые автомашины, и город снова погружается в тишину.

Идет мелкий холодный дождь. Мы стоим на улице, подобно стаду овец, и, продрогшие, жмемся друг к другу. Здесь мы должны устраиваться на ночлег. Но вот уже больше часа как торчим под дождем, никто о нас еще не позаботился. То там, то тут вспыхивают огни цигарок, солдаты переговариваются. Среди гомона голосов слышится частая ругань. Изредка по каменной мостовой проскакивают верховые и раздается гулкий цокот подков. Это — проезжает начальство.

Все сильно проголодались. Поесть бы теперь вдоволь да забраться в теплое местечко

и спать, спать долго, беспробудно. Разговор заходит о еде:

— Должны бы здесь накормить обедом. Ведь с самого утра ни крошки в рот не брали!

В разговор вступает коренастый, большеротый солдат Новиков, он ругает тех, кто заговорил о еде, и своим низким басом язвительно замечает:

— До обеда уж осталось совсем недолго, не к сегодняшнему, так к завтрашнему вечеру будет обязательно готов. Поджарят ваши же оторванные руки, ноги и тотчас накормят.

Злая ирония Новикова не находит отклика, все мрачно молчат. Да и трудно с ним спорить. Начнешь ему отвечать, на одно твое слово он отыщет не меньше десяти. Ругнешь его разок, так он обрушит на тебя целый поток отборнейших ругательств. Тут же услышишь историю о том, сколько он своротил скул, выбил зубов, когда, еще до солдатчины, работал шахтером. Его рассказ, пересыпанный матерщиной, скорее походит на невероятно страшную сказку, которую все слушают, разинув рты. Порой, бывает, одобрительно смеются. Смех как бы подхлестывает его, и Новиков воодушевляется еще больше. На сердитом лице появляется улыбка, он щерит большой рот, обнажая крупные зубы.

— Так-то вот, браток, — говорит он спорщику, крепко хлопая его по плечу, как бы давая знать, что лучше не стоит с ним связываться, ибо это ничего доброго не сулит. Когда он в духе, обычно обходительный, послушный, готов угодить любой прихоти товарища. Но коль раздражен, вспыхивает мгновенно, как сухой порох.

Новиков находился сегодня в таком состоянии духа, когда любой пустяк мог бы стать поводом для взрыва.

Вдруг разнеслась команда:

— Становись! Смирно!

Словно стадо баранов, напуганное появлением волка, мы сгрудились в кучу. Не разбираясь, как попало, вытянулись рядами. Ночью никто и не пытался требовать порядка. Закинув винтовки за плечи, мы притихли и стали ждать команды.

— По квартирам, шагом марш!

В доме, где нас разместили, ни одного уцелевшего окна, все выбиты. По комнате беспрепятственно гуляет ветер. Одно утешение, что есть крыша над головой, — не каплет. Поспешно зажигаем спички, темнота расступается, от дрожащих языков пламени по заляпанным грязью стенам пляшут огромные уродливые тени. Под ногами — грязно, намусорено. Откуда-то несет запахом испражнений, кто знает, может, кто-то и облегчался тут же. Усталые, ни на что не обращая внимания, мы складываем вдоль стен снятые с плеч вещевые мешки и садимся на них. В разных концах вспыхивают огни спичек, солдаты курят. Шум, ругань, кое-кто даже мурлычет песню.

— Сволочи, целый день морят голодом!

— Не скоты же мы, загнали в свинарник!

— Как тут высушишь одежду?

— Света бы, что ли, хоть дали!

Все разговоры солдат — о еде, о неудобствах жилья. Место мне досталось возле окна. Ветер беспрепятственно залетает в комнату и сыплет мне в затылок холодными каплями дождя. Через некоторое время я почувство-

вал, что отсидел ногу, она снова заныла. По всему телу начинался озноб. Чувство сильного голода, которое испытывал раньше, уже забылось. Про себя даже подумал: «Если тяжело заболею, положат в лазарет, может, и на фронт не попаду». Однако тело тяжелело не от болезни, а от сильной усталости, продрогло от холода и сырости.

Я сижу тихо. Рядом со мной Байгужа что-то ищет в своем вещевом мешке.

— Я в Варшаве сальную свечку раздобыл, а ну-ка засветим, что ли...

Новиков сидел хмурый и курил, что-то бормоча себе под нос. Уловив смысл слов Байгужи, он вдруг оживился и, поднявшись с места, подвинулся к Байгуже.

— Ей-богу, — говорит Новиков оживленно, хлопая Байгужу по плечу, — на фронте я с тобой не расстанусь. С тобой я вижу, с голоду не пропадешь!

От этих слов у меня как-то потеплело на душе. Я достал из кармана купленные еще в Варшаве папиросы и с подчеркнутой важностью предложил:

— Коли так, может, и папиросами побалуемся!

Тут лицо Новикова расплылось в улыбке.

— Теперь у нас, братцы мои, получилась настоящая офицерская компания, — весело заметил он и, взяв папиросу, стал прикуривать. Мы зажгли свечу, раскупорили консервные банки и расположились есть. На огонь подошли другие солдаты и столпились вокруг нас. Новиков повеселел, приободрился, язык его окончательно развязался, одна за другой посыпались шутки, прибаутки, веселые исто-

рии. Сам он ест, не переставая, и в то же время без конца рассказывает, энергично жестикулируя руками. Другие слушают и смеются. Вдруг возле дверей раздался резкий голос командира нашего взвода старшего унтера Бабина:

— Смирно! Идет командир роты!

Солдаты соскочили с мест. Вошел командир роты. Поручик прошел к свету, было заметно, что он не намерен задерживаться здесь.

— Братцы, — сказал он, как бы оправдываясь перед солдатами, — обеда сегодня не было, разрешается съесть консервы, по банке на брата, — и тут же мгновенно исчез. За ним поспешно последовал и унтер. Едва успела закрыться дверь, как в комнате раздался дружный хохот.

— Ишь какой важный барин, разрешает нам есть консервы. Благодарим покорно, наши желудки до тебя уже успели разрешить.

Байгужа с Буранбаем откуда-то притащили дрянненькую рогожу, которую мы тут же разостлали на пол и улеглись на ней. Нашелся уголок и для Новикова. Я лег в середине и вскоре почувствовал, как медленно согреваюсь, тело словно начало оттаивать. Постепенно в комнате установилась тишина. Уставшие в походе и продрогшие под дождем солдаты расположились на полу, кто как смог: иные свернулись калачиком, прижавшись спиной к стене, другие храпели, подложив под голову котомки. Свечу потушили, и жизнь вокруг словно прекратилась, всех обуял глубокий сон. Через несколько минут зашевелился Байгужа и, повернувшись в мою сторону, тихонько зашептал мне в ухо:

— У меня есть две коробки печенья, прихватил еще в Варшаве, есть и осьмушка хорошего чаю. Удастся, скипятим как-нибудь чайку и попьем в свое удовольствие. — Затем он, словно вспомнив о ближайшем будущем, немного помолчав, договорил: — Не сегодня-завтра воевать начнем, давай сговоримся — не бросать друг друга...

Он говорил тепло, от сердца. Затем как-то быстро заснул. Его слова глубоко взволновали меня. И долго я еще пролежал, не смыкая глаз, хотя устал за дорогу не меньше других.

С Байгужой мы из одной деревни. Отец его — бедняк Байназар, живут они на краю деревни, у самого берега озера Яин-Тамак. Смолоду Байгуже учиться не удалось, многие годы он батрачил в людях. В деревне мы хотя и виделись часто, но близко не знали друг друга. Когда взяли в солдаты, нам всюду пришлось быть вместе. Ростом он выше меня, но чтобы попасть в один взвод, он в строю немного сгибался, а я старался казаться выше своего роста. Теперь мы с ним сильно подружились. Хотя с виду Байгужа кажется смирным и тяжелым на подъем, но когда дело касается заботы о товарищах, о себе, он находчивый, расторопный и даже дальновидный. Стоит нам остановиться на привал или на ночлег, не успеешь оглянуться, он уже везде побывает, заводит знакомых и разузнает обо всем: где лавка, базар и баня. В его котомке найдешь все необходимое: и иголку с ниткой, и пуговицы, булавку, брусок и оселок для бритвы и много других необходимых солдату вещей. Рядом с ним чувствуешь себя легко. Он и товарищ хороший, умеет облегчить дру-

гим трудности, помочь в нужде. Потому-то все его и любят. Не было еще случая, чтобы кто-либо из солдат сказал ему грубое слово или повздорил с ним, товарищи почитают и уважают его как старшего. Байгужа стал для меня еще более близким, особенно после тех слов, которые он сказал перед сном. Я подвинулся ближе и теснее прижался к нему спиной. Было тепло и удобно. Даже забыл, что лежу на полу холодного, заброшенного дома. Вспомнилась обстановка теплого уютного дома портного Иванова в далеком Бузулуке, и перед глазами встал милый образ Нины.

Осенью 1914 года нас, новобранцев, привезли в город Бузулук. В городе стояло два запасных полка. Здесь же находились новобранцы, запасные батальоны и части, разбитые в первых боях с немцами и переведенные сюда с Украины для переформирования и пополнения. Вдобавок ко всему приехали мы. Казармы были забиты до отказа, места для нас не оказалось. Тогда нас разместили на частных квартирах. Я попал в дом к портному Иванову. Квартира у него хорошая, чистая и семья тоже небольшая, — всего две дочери. Одной — двенадцать, а другой — семнадцать лет. А жена его — женщина больная. Сам Иванов шьет и исполняет все тяжелые работы по дому. Жена же обычно ворчливо возится на кухне.

Когда я впервые появился в доме Иванова, меня встретила женщина, стоявшая на кухне. Не успел я еще скинуть котомку, вернулся сам Иванов, неся на руках два ведра воды. Хозяева приняли меня очень тепло. Жена Иванова, Клавдия, долго смотрела на ме-

ня широко раскрытыми светло-зелеными глазами, глубоко запавшими от болезни. Затем тяжело вздохнув, заговорила:

— Совсем еще дитя! Неужели таких юнцов на войну посылают? — она посмотрела на мужа и, снова переведя взгляд на меня, спросила: — Сколько тебе лет?

— Девятнадцать, — ответил я торопливо. Она в это время ставила в печь что-то варить. Повернувшись лицом к пылающему в печи огню, она долго еще шептала что-то про себя. Кого-то жалела и бранила кого-то. После каждого слова обращалась к богу.

Прошло несколько дней и нам выдали военную форму. Обмундирование было сшито не по росту. Мое появление в семье Ивановых в новой форме явилось целым событием. Фуражка попалась настолько велика, что она наползала мне на уши, длинная шинель закрывала ноги и волочилась по полу, хлястик находился где-то на уровне бедра. Ворот гимнастерки так широк, что впору хоть быку на шею. И рукава ее свисали до самых колен.

Увидев меня в военном обмундировании, Иванов хохотал до слез, до коликов. Не выдержала и Нина, засмеявшись убежала в другую комнату, и хохот ее еще долго раздавался за стеной. Мне же было стыдно, но я, пытаясь поддержать общее веселье, неловко улыбался. Хозяйка вначале тоже смеялась, неуклюже вздрагивая всем исхудавшим телом, но под конец как-то размякла и разжалобилась.

— Ну, что они так измываются над молоденькими парнишками! — произнесла она горестно и заплакала. Ее слезы произвели на

всех тягостное впечатление, в комнате стало тихо.

Перед тем, как сесть за вечерний чай, Иванов сказал:

— Я перешью его шинель, сделаю так, что она будет ему впору.

После слов хозяина на душе у меня потеплело. Мать, Нина и даже маленькая Маруся тоже обрадовались.

— Ради бога, перешей, — сказала мать. — А то в этой своей одежке он на чучело походит.

Укладываясь спать, я видел, как Иванов взял мою шинель и унес в другую комнату. А на другое утро, проснувшись окол шести часов, я с ужасом обнаружил, что шинель моя лежит распоротая. Я не смог удержаться, закричал испуганно:

— Ну, как же я пойду в своей одежде, был приказ явиться в военной форме...

Иванов спокойно начал меня утешать:

— Ничего страшного не случится, к вечеру все будет готово. И фуражку свою оставь, я отнесу ее к знакомому мастеру. А гимнастерку переделаем как-нибудь в другой раз.

Мне, конечно, было приятно слышать такие слова, но в то же время я чувствовал какую-то тяжесть и страх на душе за исход сегодняшнего дня.

Подходя к казарме, в предрассветной темноте я различил множество серых теней, толпящихся у дверей. То были мои товарищи, одетые в солдатскую форму. Все казались одинаковыми, невозможно было никого узнать. Я единственный среди этой серой массы был в гражданской одежде. Меня окликнули Бай-

гужа с Буранбаем, и я подошел к ним. Выглядели они совершенно другими людьми, изменились. Оба фигурой статные, несколько полноватые, и форма на них сидела более или менее сносно.

Я оглядел всех товарищей с ног до головы: в новой одежде и настроение у них было иное. На меня все смотрели с удивлением.

— Почему ты не надел форму? Ведь был же приказ, — говорил каждый, обращаясь ко мне. Я всем рассказывал о случившемся. Между тем, появился старший унтер Кудряшов и приказал строиться. Я встал на левом фланге за Байгужой.

— Смирно!.. — раздалась команда. Началась проверка солдат, кто как одет. Кудряшов подходил к каждому, просовывал руку под ремень и дергал, удостоверяясь насколько туго затянут пояс, заставлял расправлять морщины, складки. Никого не оставлял без «доли». Сначала он запускал заковыристый мат, а затем уже действовал кулаками: бил в лоб, спину, тыкал в лицо. Я стоял, как козленок в овечьем стаде, и дрожал от страха. Медленно ползло время, секунды казались часами. «Что ответить, когда дойдет очередь до меня?» — мучительно думал я. На спине выступил холодный пот. И вот, наконец, настал и мой черед.

— Это что еще такое? — взревел старший унтер. Я вздрогнул от страха и стоял ни жив ни мертв. Чувствовал, как бледнею и как сохнет у меня в горле. Кудряшов заорал снова:

— Почему не надел форму? Аль пропил?..

Затем скомандовал:

— Три шага вперед!..

Шагнув вперед, я оступился, задел за ногу Байгужи и чуть не упал.

— Господин взводный, — вымолвил я, взяв руку под козырек и дрожа всем телом, — я... отдал ее... пе-перешивать, оказалась больно велика.

Глаза Кудряшова сверкнули гневом, губы нервно дрогнули:

— Ах ты, басурманская морда! У кого спрашивал разрешения?.. Кто позволил тебе портить военное обмундирование?.. Не миновать тебе военного суда!.. — И он, размахнувшись, ударил меня по скуле. Искры посыпались из моих глаз. От удара я качнулся в сторону и чуть не упал. Но снова вытянулся перед Кудряшовым, он виднелся мне теперь где-то вдали, за туманом. На этот раз удар пришелся по левой щеке и, как мне показалось, был не очень чувствительным. Почему-то закружилась голова. Казалось, земля заколебалась, и ряды солдат как бы отодвинулись назад и стали проваливаться вместе с землей. Что-то теплое поползло к подбородку. Я провел рукой по щеке, и вся ладонь окрасилась кровью. Щеки пылали огнем, и я не мог разобрать, откуда капает кровь. Старший унтер толкнул меня снова в грудь и, подозвав командира отделения, приказал:

— Убери эту скотину из строя! Сегодня — смотр, как его покажешь командиру полка. Назначь в наряд на кухню, а вечером поставь часа на два под винтовку. Я доложу о нем командиру роты.

Меня отправили на кухню чистить картошку, весь день я пробыл там. Кровь с лица и с носа я смыл снегом, но до самого вечера,

не переставая, шумело в голове и звенело в ушах. Словно кто-то обложил мне лицо, уши теплым войлоком, слух и осязание притупились. Я чувствовал какое-то отупение.

Вечером, когда я вернулся на квартиру, Иванов удивленно посмотрел на меня и забеспокоился:

— Не заболел ли, случаем?.. Щеки распухли...

— Нет, ничего не случилось, — ответил я и как-то сразу смолк.

Шинель и фуражка уже были перешиты. Ночью Иванов перешил и гимнастерку. Наутро, когда я отправился на занятия, на мне была хорошо подогнанная по фигуре шинель и славная защитного цвета фуражка, которая несколько смахивала на офицерскую. Товарищи окружили меня, осматривали шинель, брали мою фуражку и, примеряя, спрашивали друг друга: «Ну как, идет?» В это утро я находился в центре внимания всего взвода. Вчерашняя боль от кулаков старшего унтера уже забылась, в новой одежде я чувствовал себя человеком нового мира. Помня уроки вчерашнего утра, товарищи помогали мне туго затянуть ремень, поправляли хлястик, разглаживали складки на шинели. Меня радовали внимание и забота товарищей.

Подошел командир роты Карклин. Мы встали в строй. Кудряшов доложил Карклину обо мне. Но почему-то сегодня поджилки мои не трясутся, да и сам я не испытываю особого страха. Я уже не боюсь того, что может случиться, — снова буду бит, думаю лишь о военном суде. «А не все ли равно, — размышляю я про себя, — здесь с самого утра до глубокой

ночи — занятия на морозе, а там, в тюрьме, хоть в тепле буду сидеть, да и делать ничего не надо».

Карклин позвал меня к себе.

— Имею честь явиться, ваше благородие! — предстал я перед ним. Высокий, стройный, с большими усами, он долго глядел на меня. Затем усы его шевельнулись в улыбке:

— Ничего не скажешь. Перешил ведь, а? И сидит на нем хорошо. Ах, болван! Болван!.. Ну, марш на место!

Не то от радости, не то просто растерявшись, я повернулся не по уставу. Карклин вернул меня.

— Отставить! Ты что это, не знаешь, как нужно отходить от командира?

— Виноват, ваше благородие...

— Ну иди!

На этот раз я повернулся по уставу и встал на свое место в строю. Карклин рассмеялся.

— Ну и чудак! — проговорил он смеясь. Этим все и кончилось. Ни под суд меня не отдали, ни под винтовку не поставили. После занятий Кудряшов позвал меня к себе, и, не то сожалея о случившемся, не то злясь на себя, произнес:

— Радуйся, что командир роты добрый, а то не сносить бы головы, басурманская твоя морда!

Итак, все обошлось благополучно, и я, когда вернулся на квартиру, на радостях рассказал о случившемся Иванову. Хозяйка Клавдия Матвеевна слушала мой рассказ, медленно покачивая головой, в ее широко раскрытых глазах отражались и ужас, и жалость. А Нина ловила каждое мое слово и, слушая,

все ближе подходила ко мне. В этот вечер в доме моих хозяев торжествовала радость победы. Я тоже находился на верху блаженства и, стараясь показать себя мужчиной, наговорил немного лишнего, преувеличивал. Под впечатлением услышанного Иванов приступил к работе.

— Клавдия и говорит мне, — заговорил он, — ты уж не обижай его. Посиди вечерок, брось пока свои заказы и перешей ему одежду. Он ведь тоже человек, наверное, любимый сын своих родителей. Небось, говорит, мать с отцом все глаза проплакали о нем. Бог благословит тебя, перешей. А что, — говорю я ей, — нетрудно перешить, сделаю на славу. И в самом деле, ведь получилось совсем не плохо.

С каким-то особым волнением поведал он заодно историю о том, как стал портным, распространялся о тонкостях портняжного искусства, припоминал значительные эпизоды из своей жизни.

Мы все внимательно слушали его.

С этого дня Нина старалась все больше бывать возле меня. Раньше она в девять часов вечера уже ложилась спать, я же возвращаюсь в одиннадцать. Теперь она дожидается меня на кухне, кипятит самовар, и, пока я пью чай, сидит рядом, без умолку говорит. Я нехотя пью чай, затем торопливо раздеваюсь и спешу улечься спать. Утром я встаю в пять часов и ухожу на занятия. Нина в это время еще спит. Меня провожает сам Иванов. И весь день я пропадаю на ученьях, даже в воскресные дни дома не бываю. Время военное, нас обучают без отдыха и передышки.

Как-то однажды ночью я попил чаю и улегся в постель. Не знаю, успела ли Нина убрать со стола или нет, быстро потушила свет и сама прошла в зал. Я заметил ее, уже засыпая, а вскоре уснул совсем. И вот чудится сквозь сон, как чьи-то мягкие теплые руки обнимают меня, нежно гладят лицо, волосы. Руки эти дрожат и явственно слышатся частые удары сердца. Кажется, я вижу сон. Руки, обнявшие меня, становятся все горячее, а теплое дыхание все приближается. Чье-то разгоряченное тело тесно прижимается ко мне, и я испытываю неописуемое наслаждение. Тяжелый сон смежает глаза, а сердце бьется сладко-сладко. Хочу поднять руки и обнять это горячее тело... Но уставшие, размягченные сном руки безвольно остаются на месте. Мне приятно чувствовать себя в крепких объятиях, ощущать чье-то теплое дыхание. Сладостная истома охватывает все тело, глубокий сон тяжелит веки. Я сплю...

После принятия присяги мы стали ходить в поле на стрельбище и иногда по воскресеньям отдыхали. Нина учится в гимназии, в воскресные дни тоже отдыхает. Иванов устроил ее в гимназию по протекции, правда, удалось это ему не так легко. Теперь он почти все, что зарабатывает, расходует на ученье своей дочери, старается ее хорошо одеть, обуть. Вообще, он очень любит свою дочь. Дома в свободные минуты чаще всего говорят о Нине. Нина в семье Иванова — действительно цветок жизни.

— Клава, ты помнишь, — обращается Иванов к жене, если речь заходит о Нине, — какой она была малюсенькой крошкой, когда

переезжали в этот дом, а теперь гляди, как выросла, настоящая красавица.

И действительно, в словах отца нет преувеличения. Нина — девушка красивая, обаятельная. Здоровый румянец пылает на ее щеках. Телом она плотненькая и фигурой статная. Темно-русые волосы, светлые брови. На редкость красивые, большие голубые глаза. Они мило и ласково поблескивают из-под рыжеватых длинных ресниц.

Как-то в один из воскресных дней Иванов с женой и младшей дочерью Марусей отправились к знакомым в гости. В доме мы остались вдвоем с Ниной. Пользуясь выходным днем, я тоже собирался идти к своим товарищам. Нина, словно намереваясь что-то сказать, держится около меня, пытаясь завести разговор. Я стесняюсь ее близости, не знаю, как ответить на ее слова. И поэтому хочу быстрее уйти отсюда. И вот с какой-то таинственной ноткой в голосе она спрашивает меня:

— Наверное, вы очень устаете за день? Уж больно крепко спите...

— Не знаю, может быть и так... — отвечаю я, чувствуя себя крайне неловко. Она внезапно подскакивает ко мне, краснея, кладет свои руки мне на плечи.

— Я такая глупая, — произносит она, потупив взор, — не будете сердиться, если я вам что-то расскажу? Вы ведь не сердитесь, да? Не сердитесь?

— Нет, что вы, зачем сердиться? — отвечаю я ей, невольно отступая назад.

— Знаете, — говорит она, подходя еще ближе, — однажды ночью я пришла к вам. Вы не проснулись. Спали так крепко, так сладко...

Она вся залилась краской и снова опустила глаза. «Может, я глупость какую совершил во сне?» — подумал я и страшно смутился. Отошел от нее и ни с того ни с сего почему-то засмеялся.

— Ладно уж, я пойду, не то опоздаю, — проговорил я, пытаясь сгладить неловкость. Вдруг Нина бросилась к дверям и стала у порога, загородив мне дорогу.

— Нет, я не пущу вас! — произнесла она решительно и раскинула руки. Это было так неожиданно, что я вконец смутился и стоял, не зная что делать. В это время Нина кинулась ко мне, обняла меня.

— Ах, я вас так люблю, а вы и не знаете? — горячо зашептала она мне на ухо и в одно мгновенье стремительно выскочила в зал. Я растерялся и стоял как вкопанный. Заглянул в дверь зала, но Нины нигде не было. Мелко дрожали колени, мне показалось, что вот-вот вернется сам Иванов и грозно спросит: «Что вы тут делаете?». Под впечатлением только что происшедшего я быстро выбежал из дому и по Заводской улице направился к своим товарищам. Мне казалось, что Нина провожает меня взглядом, а в глазах у нее или насмешка надо мной, или слезы. А встречные, попадавшиеся на улице, словно догадывались обо всем и будто смотрели на меня подозрительно. Я шагал, низко опустив голову. Но тень Нины всюду следовала за мной, в ушах стоял ее горячий шепот: «Ах, я вас так люблю!». Однако я все еще никак не мог понять смысла происшедшего.

В эту ночь мягкие руки снова ласкали меня, и снова я ощущал на своих щеках горячее

дыхание. Снова испытывал блаженство, оказавшись в девичьих объятиях. Но на этот раз я уже не спал...

А сегодня мы валяемся на полу в заброшенном доме, в разбитые окна врывается холодный ветер, залетают дождевые капли. Мои товарищи, которых завтра сунут в пекло войны, спят вповалку, бредят во сне, что-то бормочут и вскрикивают. Спит рядом и мой односельчанин Байгужа. Я лежу, прижавшись спиной к нему, и думаю свои сладкие думы о милой Нине, о днях, проведенных в семье портного Иванова. Уже никогда не повторятся эти счастливые полтора месяца. Я закрываю глаза и мысленно переношусь туда, в Бузулук. Лежу на кровати в доме Ивановых. А рядом со мной сидит Нина, ласковая, чудесная...

До сих пор не было времени думать об этом. А сегодня холодной зимней ночью, лежа на полу заброшенного без окон дома, я долго предавался воспоминаниям о Нине...

Что готовит нам завтрашний день? Куда нас погонят?.. На войну или еще куда-нибудь? Нет, не хочется сегодня об этом думать. Мысли возвращаются к Нине. Воспоминания о ней согревают душу... Счастливые воспоминания...

Глава вторая

Байгужа будит меня:

— Булат! Булат!.. Ну, вставай же!

Я нехотя открываю глаза. В лицо бьет холодный ветер. Солдаты уже все на ногах, спешно собираются, оттого в комнате стоит шум. Я пошевельнулся, все тело заныло от бо-

ли. Нога совсем одеревенела, никак не поднять. Растираю ее обеими руками. Наконец, встаю. Занимается день, светлеет. Оглядываюсь по сторонам. Дом, в котором мы провели ночь, ужасно неприглядный, стены черные, обшарпанные, потолок обвалился, у самых наших ног валяются кучи битого кирпича. Встав, я сильно потянулся, помахал руками. В теле почувствовал некоторую легкость. Стал завязывать вещевой мешок и патронташи.

— Вот, — заговорил Байгужа, — принес воды котелок. Давай-ка намочим сухарей и поедим.

Мы не успели даже как следует пожевать, раздалась команда выходить на улицу. От нашей одежды несет сыростью и зловонием. Ноги отказываются шагать. Вещевой мешок, патронташи и винтовка тяжелым камнем оттягивают плечи. Лопата, фляжка, подсумки, прицепленные к ремню, больно давят на пояс. Никуда не хочется уходить, залезть бы в тепленькое место и спать. Настроение у всех подавленное, нехотя переговариваются охрипшими голосами. Глаза пораспухли, плечи согнулись. Лица поблекли, и юные солдаты смотрели старцами. Даже Новиков, который обычно говорит больше всех, и тот сегодня молчит. Позевывая во весь свой большой рот, он медленно спускается по крыльцу.

Сегодня на улице мороза нет. И снега не выпало. Из низко нависших туч беспрерывно сыплется мелкий дождь...

Часть местечка, где мы переночевали, на самом деле напоминает руины. Говорят, недавно здесь было сражение. Разрушенные снарядами стены, почерневшие от пожарищ

дома, сорванные крыши — все это навевает тревожные думы. Всюду запустение, ничто не привлекает к себе внимания. Только в одном дворе видны артиллерийские орудия и обозы. Возле них вышагивает часовой.

Покинув местечко, мы прошли под беспрерывно накрапывавшим мелким дождем версты три-четыре и затем зашагали по шоссе влево, вдоль опушки леса. Дорога грязная, по обочинам ее тянутся пашни. Посередине движемся мы. К полудню небо прояснилось. Выглянуло солнце. В воздухе чувствовалось потепление, или это нам так лишь показалось, потому что разгоряченные ходьбой мы вспотели. Дорога трудная. Ноги устают. Солдаты не разговаривают, идут, все время глядя себе под ноги. Ровный грунт, пески, лес... Куда ни кинешь взор, всюду однообразный пейзаж. В голове никаких мыслей, заглядываем вперед. Где фронт? Далеко ли? Никто не знает. Потому что все мы здесь новички, солдаты-новобранцы. Каждый из нас впервые в своей жизни идет на войну. Как воюют, каким образом сражаются, никто не имеет об этом полного представления.

Вдали виднеется какой-то шар, висящий в воздухе. Цветом синеватый и изогнулся наподобие колбасы. Солдаты, первыми заметившие шар, недоумевая, спрашивают друг друга:

— Глянь-ка, глянь, что бы это могло быть?

Некоторые, как бы припоминая, пытаются определить что это такое:

— То, должно, штука военная, знать, фронт уж близок.

Наш взводный командир Шишков с видом знатока поясняет:

— Это аэростат, оттуда ведут наблюдение за позициями противника.

Вслед за его словами многоголосо раздается:

— Фронт! К фронту приближаемся!..

Все глаза устремлены к тому шару. Когда мы поднялись на гребень высотки, вдалеке показалась большая деревня. За тем шаром, несколько поодаль, замаячил еще один шар. В это время над нашими головами с шумом пролетел в том направлении аэроплан. На высотке нас остановили, чтобы передохнуть, перекурить. Мы расставили винтовки в козлы и, усевшись на пожелтевшую мокрую траву у обочины дороги, закурили. В этот момент где-то вдали раздались глухие, напоминающие удары грома звуки. Они шли словно откуда-то из глубин земли. Иной раз казалось, что они раздаются очень близко.

— Пушки бьют, бьют пушки!.. — говорят солдаты. Эти слова нагоняют страх. А далекие, глухие раскаты все больше усиливают этот страх. Сердце бьется лихорадочно, вот-вот готово оборваться. Солдаты переговариваются тихо, сдержанно. Многозначительно поглядывают друг на друга. Но их взгляды наполнены какой-то беспомощностью, безнадежностью и отчаянием. Будто земля под ними при каждом глухом звуке отдаленного выстрела обваливается, уходит из-под ног. А они сами тоже проваливаются, падают вниз, уходят вглубь. Падают все. Каждый беспомощен. Потому никто ни к кому не обращается, никто не ждет помощи... Какая-то бездна втягивает все и вся в свою бездонную пропасть. Словно весь мир и всех людей засасывает туда, и

люди знают заранее, что будут поглощены, обречены на гибель...

Охваченные этим настроением, мы шли до самого села, которое заметили с высотки. В местечке расположен штаб корпуса. Здесь жизнь бьет через край. Подвод тут — не перечесть, кругом палатки интендантства, Красного Креста, столовые, чайные, военные лавки.

Как только мы прибыли, нас разместили в землянках. Внутри землянок разостлана свежая солома. Валяются оставленные здесь консервные банки, папиросные коробки. Видно, до нас здесь тоже побывали солдаты. Нас привели в палатки Красного Креста. Раздали каждому по двадцать пять штук папирос, по пачке печенья, конверты, бумагу, карандаши, молитвенники. Затем повели в столовую, накормили горячим супом, рисовой кашей, дали по полбутылке красного вина. Для нас это было неожиданной почестью.

Некоторые наши товарищи отправились в чайную. Мы решили вернуться в землянку. На это подбил нас Новиков.

— Братцы, — сказал он, обращаясь к нам, — наверняка, завтра двинем на фронт, давайте сегодня попируем на славу...

Мы согласились. Вернулись в землянку. С лихорадочной быстротой раскупорили консервы, открыли бутылки и стали готовиться к выпивке. В это время над головами загудело несколько аэропланов. Где-то возле штаба со страшным грохотом разорвался снаряд. Около наших землянок грохнули три-четыре бомбы подряд. В воздух взметнулись черные фонтаны земли. Комья ее частым дождем падали на наши землянки. Все мы со всего раз-

маху упали на землю и, крепко обхватив головы руками, вплотную прижались к стенкам землянки. Немного подальше от нашей землянки в разных местах снова разорвались одна за другой пять-шесть бомб. Между тем наши артиллерийские батареи, расположенные неподалеку от нас, начали стрельбу. Вууу... вууу... раздавался вой проносящихся над головами снарядов. Мы все плотно приникли грудью к земле, жмемся к стене. Наконец, стрельба и взрывы прекратились. В небе затих и шум моторов аэропланов. На улице послышались людские голоса. А мы все еще лежим.

Буранбай, осмелев, подходит к двери землянки и выглядывает наружу.

— Люди вышли на улицу, — говорит он. Мы, боязливо озираясь, медленно поднимаемся. Один за другим подходим к двери. Сердце бьется так, что готово вырваться наружу, трясутся поджилки. Лица у всех, что бумага, белые. Губы пообсохли, в груди тесно, глаза готовы выскочить из орбит.

Через некоторое время наши товарищи, которые уходили в чайную, прибежали испуганные и бледные. Заикаясь и перебивая друг друга, они рассказали:

— То были немецкие аэропланы. Они и бомбили. Под окном чайной шарахнула бомба. Все окна разбиты вдребезги. Там убило Чувашева...

— Чувашева убило?..

Все повскакали с мест. Стали наперебой расспрашивать о подробностях.

— Да, Чувашев убит. Он сидел у самого окна... А стакан, что он держал в руке, ударился об стенку и разлетелся в куски. Сам он

свалился под стол. Мы тоже попрятались под столы. Когда мы вылезли, он уже был мертвый.

Его сумку, вещи поставили посередь землянки и, окружив неровным кольцом, задумались.

— Может, письмо написать в его деревню?

— Нет, пока не нужно.

— Если бы хоть на фронте убило. А то ведь и до фронта даже не добрался!

Ни пить, ни есть уже не хотелось. Раскупоренные бутылки с вином и открытые консервы остались нетронутыми. Все потянулись к табаку и молча курили папиросу за папиросой. О Чувашеве никто не упоминал, говорить о нем было тяжело.

Глава третья

Ночь. Весь запад, куда хватает глаз, горит багровым пламенем, напоминая огромное, протянувшееся на сотни километров пожарище. А ракеты, словно искры того пожарища, беспрерывно взмывают ввысь и, падая, ослепительно рассыпаются. Устремив в разные стороны яркие снопы лучей, прожекторы длинными языками обшаривают небо. При взгляде со стороны фронт кажется раскинувшимся морем огня. Беспрестанно трещат выстрелы из винтовок и пулеметные очереди. слышатся то редкие, то частые взрывы бомб и снарядов. Наблюдая все это, представляешь себе страшные картины — как вздыбленная земля, обрушиваясь, хоронит под собой неисчислимые жертвы.

Нас определили в 258 Пошехонский полк. Где-то он находится? Может, в пекле сражения или дожидается где-нибудь нашего подхода? Никому из нас об этом не говорят. Мы движемся по направлению к бушующему морю огня, туда, где, не переставая, гремят винтовочные и пулеметные выстрелы, грохочут пушки. Ночь темна, под ногами слякоть. Ведут ли нас по дороге или по рву — неизвестно. Куда бы ни ступил, всюду изрыто, ископано.

Мы подошли к разбитому заводу, расположенному у опушки леса, и остановились. Изредка над нашими головами со свистом проносятся пули. Услышав свист пули, некоторые солдаты сразу плюхаются на землю.

— Сказывают, позиция близка...

Мы вчетвером, — Байгужа, Новиков, Буранбай и я — шагаем рядом. Когда скользнет луч прожектора, я всматриваюсь в своих товарищей. Бумажными манекенами выглядят их лица. Мы не разговариваем. Наши глаза прикованы к пылающему морю огня, а ноги, помимо нашей воли, подчиненные общему потоку, несут нас по направлению к тому морю. Ни собственной головы на плечах, ни мыслей своих и ни сознания не чувствуем. Выглядим, словно живые куклы, засасываемые какой-то пучиной, и продвигаемся к ней. Вот-вот будем поглощены ею. Возврата для нас нет. Назад оттуда нам не вырваться, лишь, как сон, как мелькнувший в отдалении мираж, встают перед глазами прожитая жизнь, пройденные дороги и все то, что осталось позади. Мы лишены признаков жизни. Она давно покинула нас. Теперь мы движемся вперед, лишь увлекае-

мые силой той бездонной пучины, что тянет, как магнит.

Все в нашей группе — новобранцы. И все молодые. Никто из нас не имеет понятия о том, где начинается позиция и где она кончается. Раньше войну мы представляли себе так: с одной стороны стоят наши войска, с другой — войска противника. По команде начинают стрелять. Тут падают убитые, получают ранения. С какой стороны больше потерь, та и терпит поражение. Сторона-победительница со штыками наперевес, с криком «ура!» кидается в атаку и захватывает землю у побежденной...

Когда добрались до небольшой впадины, нас остановили. Приказали, чтобы каждые два солдата взяли с собой одну рогатку из колючей проволоки. На плечах у нас винтовки с сотней запасных патронов, на спине — мешок с пайком и другими вещами, на поясе лопата, подсумок, котелок, кружка и фляга. Для нас, неокрепших, истощенных — эта ноша очень чувствительна. Вдобавок ко всему непрерывно моросящий дождь делает нашу поклажу еще более тяжелой. Темная ночь, слякоть под ногами, страх от ежеминутного ожидания смерти — теснят грудь, перехватывают дыхание. И в такие трудные и страшные минуты, когда на счету каждый шаг, каждая секунда, нашли дело — таскать четырехпудовые рогатки, сделанные из колючей проволоки. Такой глупый приказ — уму даже непостижим. Его мог отдать лишь изверг, не понимающий ни сердца, ни души человеческой.

Мы выполняли этот приказ не сознательно, а под давлением какой-то слепой силы. К той

тяжести, что мы несли на себе, прибавились еще рогатки. Грудь сдавлена страхом, дышать стало еще труднее.

Колючие рогатки давят плечи, царапают тело. Под их бременем стал неощутим вес навьюченной на нас амуниции. Тяжесть рогаток пригибает нас к земле. Красные огни, полыхающие впереди, пули, взвизгивающие над головами, теперь нами воспринимаются лишь как тени предсмертных видений. В то время, когда старший унтер Кудряшов бил меня по скулам, из глаз моих сыпались искры. Сейчас мне кажется, что красные огни на линии фронта словно тоже вылетают из моих глаз.

Нас ослепило светом прожектора, направленного в упор. Вслед за тем все окружающее потонуло во мраке. Я не сразу разглядел рядом товарищей, как будто мои глаза ослепли совсем. Тут же над нами, с воем разрывая воздух, пронеслись снаряды и, с грохотом разорвавшись недалеко позади нас, потрясли землю. За ними один за другим со свистом полетели другие и, падая, лопались со странным треском. Подали команду:

— Ложись!..

Мы, словно овцы, напуганные ударом молнии, шарахнулись в разные стороны и попадали кто куда. Один за другим с ужасной силой рвались вокруг снаряды, и казалось, что под этими губительными ударами стонет и качается земля. А мы, словно мелкие щепки, раскачиваемся на волнах бескрайнего, бездонного моря, то, как перекати-поле во время сильной бури, готовы сорваться с места, то кажется, что, подобно мелким песчинкам, падаем вниз, на темное морское дно. Лежим без-

вольные, без движения, ничто не подвластно нам. Теперь рядом со мной никого нет. Лишь при свете прожекторов мой взгляд ловит какие-то серые кочки. Когда тяжелые снаряды с несказанной силой распарывают небо над головой, то их резкий вой, подобно стали, разрезает воздух, выдирает из нас душу и уносит с собой. Снаряды разрываются позади нас, и вместе с фонтанами земли в воздух взлетают и наши души. Но проходит несколько секунд, и ты снова начинаешь ощущать себя живым существом...

Спустя некоторое время, стрельба прекратилась. Серые кочки, что я заметил при свете прожекторов, все еще неподвижны. Я тоже не шевелюсь, лежу, прижавшись грудью к земле, и лишь краем глаза оглядываю местность. То ли всюду валяются трупы, то ли это просто груды земли, вывороченные снарядами... Я теперь потерял всякие ориентиры: где фронт — впереди или сзади?.. Лучи прожекторов, бросаемые с разных сторон, притягивают к себе взгляд, а когда они гаснут, то на некоторое время глаза совершенно слепнут.

Теперь я одинок. Куда податься? Куда держать путь? Никак невозможно разобраться. Издалека доносится гул орудийных залпов. Безостановочно трещат винтовки, пулеметы. Пули, с посвистом пролетая над головой, уносятся куда-то вдаль. Немного погодя, прибежал командир взвода Шишков и подал команду:

— В цепь! Ползком вперед!

Множество кочек пришло в движение. Сзади в нескольких местах послышались стоны и крики... Мне вспомнились товарищи: Байгу-

жа, Буранбай, Тимиров, Юлдашев и еще многие... Почудилось, что кто-то стонет голосом Байгужи. Я ползу на голос. Он где-то близко, но никак не найду. Мешают груды земли, воронки. Показалось, что будто стонут в воронке. Сползаю туда. В ней полно воды, вылезаю обратно. Голос тут, рядом, но никого не замечаю. Неподалеку тоже стонут. Куда же ползти, не знаю. Снова осветило прожектором, вслед затем — опять сплошная темнота. Долго пролежал, припав к земле. Снова прислушиваюсь. Голос теперь стал хриплый. Я пополз опять. Но стон стал раздаваться позади меня. Повернулся назад. Рука моя коснулась присыпанной землей шинели. Вглядевшись пристальней, я увидел человека, наполовину засыпанного землей. Он лежал, опрокинутый навзничь.

— Что? Ранен? Куда ранило? — спросил я тихо. Солдат стонет, выговорить ничего не может. Я ощупал его голову. Рука наткнулась на что-то мокрое. Когда осветило прожектором, я заглянул ему в лицо. Присыпанное землей лицо было в крови. Носа не видно. Один глаз скрыт землей, перемешанной с кровью, другой — закрыт. Отцепив флягу, я влил ему в рот воды. Он не глотал. Вода изо рта вылилась. Теперь он уже не стонет, хрипит, высоко вздымая грудь... Он доживает последние минуты.

Впереди слышатся слова команды. Какие-то солдаты приподнимаются и движутся вперед. Я тоже следую за ними. Но все еще ничего не знаю о судьбе своих товарищей. Все шагают вперед, никто ни с кем не разговаривает. Через некоторое время мы собрались у разва-

лившейся каменной стены. Пули теперь очень часто летят в нашу сторону. Нам приказали укрыться за этой стеной, запретили громко разговаривать, курить. Но курить и говорить никто и не думает; в голове нет ни дум собственных, ни мыслей... Все осталось там, позади, между воронками от снарядов, растаяло в воздухе вместе с черными земляными фонтанами.

Недалеко от меня слышится голос Новикова. Я иду туда. И Байгужа, и Буранбай находятся рядом с Новиковым. Подойдя, я дергаю Новикова за рукав. Словно ничего не соображая, он долго смотрит на меня:

— Ты жив?

— Да...

Других слов нет, мы сгрудились вместе. Солдаты вдоль стены по одному спускаются вниз. Придерживаясь друг за друга, мы тоже продвигаемся за ними. Пройдя немного, спускаемся в узкую траншею. Нам приказывают идти нагнувшись. В траншее воды по колено. Грунт под ногами скользкий. Если кто поскользнется, гремят котелки. Траншея местами глубокая, местами мелкая. Ракеты теперь стали взвиваться близко. От ракет, вспыхивающих одна за другой, в траншее светло как днем. Над головами с жужжаньем пролетают пули.

Вдруг началась пальба. Затрещали пулеметы. Подобно сильному дождю, хлынул над головами поток пуль. Свинцовый дождь сопровождают снаряды мелких калибров. Мы теперь растягиваемся в траншее, где хлюпает вода. Над нами рвутся шрапнели. Снаряды падают то спереди, то сзади нас, фонтанами

дыбится земля, визжа и посвистывая, летят осколки. Частым градом осыпают нас комья земли, поднятые взрывом. Под бесперебойными ударами снарядов рушатся влажные стенки траншеи. Дрожит земля. Воздух наполнен тревожным посвистом.

Вскоре гром пушек и пулеметная пальба прекратились. Раздавались лишь редкие выстрелы из винтовок. Но ракеты то и дело взлетают вверх, дрожащим светом поливают землю. Мы снова зашагали вперед по траншее. Вышли к какой-то реке. Здесь траншея кончилась. Пригнувшись, кучками шагаем вперед по низкому берегу реки. Валяются брошенные кем-то винтовки, трупы лошадей, солдат. Медленно вступаем на мостик, перекинутый через небольшую речку. Немцы, словно почуяв это, стреляют по мостику. Посвистывают пули. Около мостика лежат человек двадцать убитых солдат. Прикрыв лица лопатами, мы проходим по мостику и двигаемся между редкими кустарниками вправо, снова вдоль берега. Пройдя немного, опять спускаемся в глубокую траншею. В ней почти на каждом шагу валяются тела убитых. Они лежат в воде. Мы шагаем по ним. Двигаясь по этой траншее, мы добрались до окопа, бруствер которого был завален набитыми землей мешками. Это передовая позиция. Нас разбили по ротам и взводам. Мы впятером вместе остались во втором взводе седьмой роты. Нас ввели в блиндаж, обложенный мешками с землей и сказали:

— Дежурить сегодня не будете, отдыхайте!

Мы прошли в глубь блиндажа и от страха, словно загнанные в ловушку зайцы, прижа-

лись в угол. Без конца стреляют из винтовок. Возле окопа падают бомбы. Время от времени стрекочут пулеметы. С воем проносясь над нашими окопами, тяжелые снаряды немцев летят туда, откуда только что прибыли мы. А снаряды, пролетающие с нашей стороны, рвутся в расположении немецких окопов.

В блиндаже сыро. Садиться на землю невозможно, сразу проступает вода. Поэтому мы сидим на корточках. Так и кажется, что каждая бомба и снаряд упадут на наш блиндаж. При каждом взрыве крепко закрываем глаза, сильнее жмемся к стене блиндажа, к набитым землей мешкам. Все молчат. Сохнет во рту, однако теперь не до того, чтобы просить воды.

В блиндаж вошел солдат, вернувшийся из передового дозора.

— Новички, что ли? — обратился он к нам.

— Да, — ответили мы. Он неторопливо закурил. Затем начал говорить:

— Вот уж месяц, как мы держим эту позицию. Здесь было страшное побоище. Дня три назад немцы дважды бросались в атаку. Наши отбили их. Гиблое здесь место. Ходы сообщений неудобные. Кухня никак не может подойти. Солдаты голодают. Как пойдут за продуктами в тыл, многих калечит. Совсем недавно немцы дважды подсыпали такие щедрые гостинцы, что только держись. Наверняка, это они встречали вас. Так оно, видно, и было.

Очень странным для нас показалось то, что он рассказывал о такой страшной картине с хладнокровной медлительностью, как о самом

незначительном событии. Словно он родился в этом окопе, среди жужжания пуль и грохота снарядов и все ему нипочем: ни пуля его не поражает, ни снаряд не берет. Будто он создан лишь для такой обстановки. В разговор мы не вмешиваемся, потому что мы лишены языка: языки связаны, не двигаются. Бывалый солдат попросил у нас поесть.

— Вы ведь с тыла, нет ли у вас кусочка хлеба?

Новиков начал рыться в своей котомке. Солдат зажег спичку и посветил. Осмотрел каждого из нас.

— Молодежь... Юнцы еще совсем, — проговорил он.

Новиков подал ему большой кусок хлеба. Он поблагодарил, Новиков же не проронил ни слова. Наше внимание всецело было поглощено жутким грохотом, что раздавался снаружи, поэтому мы не заметили, съел ли старый солдат хлеб или нет, но вскоре мы услышали, как он, засыпая, захрапел. Для него словно и не существовало никакого гула! Словно не было ему никакого дела до того, что наверху льет свинцовый дождь, пролетают тяжелые снаряды. А для нас свист каждой пули, каждого снаряда сопровождался страшными переживаниями.

Стонет земля, зловещим свистом наполнен воздух...

Глава четвертая

Почва в Польше не то, что у нас на Урале. Она напоминает человека с нежной, неокрепшей кожей, щелкнешь — и брызнет кровь. Почва рыхлая, с тонкой коркой. Где взорвет-

ся тяжелый снаряд, на этом месте непременно образуется колодец, выроешь на аршин окоп — проступает вода. Зимой на воду натыкаешься на глубине в пол-аршина или даже четверти аршина. В довершение всего от непрерывно льющегося дождя вконец раскисает и весь верхний слой земли.

Зарывшись в окопы в такой местности, мы удерживаем позиции против немцев. Даже скот и всякая иная тварь по-своему приспосабливаются к различным условиям. Здесь тоже нашли свою хитрость, — окопы готовят, учитывая особенности местности и почвы. Пользуясь тем, что окопы были дрянные, немецкая техника истребила много русских солдат. Это обстоятельство, с одной стороны, если и вело к весьма печальным последствиям, то, с другой, оно же послужило толчком к пробуждению творческой мысли. Среди русских солдат отыскался какой-то смышленый человек, изобретатель. Он нашел возможность использовать валявшиеся всюду трупы, как укрытие для защиты живых людей. И природа способствовала этому: зимой в Польше днем идет дождь вперемешку со снегом, вечером, когда похолодает, он сменяется хлопьями снега. Земля замерзает, и грязь застывает. Днем снова хлещет дождь, земля раскисает. Такая погода стоит всю зиму.

Можно воспользоваться таким своеобразием погоды. Здесь как раз и приспособились к этому. Вечерами натаскали трупов, уложили их в два ряда, а пространство между ними заполнили грязью.

Ночной холод сковал грязь. И так каждый раз грязь укладывали слоями, снова добав-

ляли... С каждым днем стена поднималась выше и постепенно схватывалась морозом. И вот она выросла до такой высоты, что за этой стеной-окопом стало возможно ходить пригнувшись. Позднее сшили полотняные мешки, заполняли их грязью и из них стали сооружать окопы.

Окопы, в которых мы очутились, возведены как раз из такого материала. Внизу у основания окопов лежат люди, вернее трупы. Уложены они по-разному: иные боком, другие спиной, третьи — лицом. К трупам на позиции привыкли, ни чувства отвращения, ни жалости у солдат они уже не вызывают. А то, что спят, прислонившись к головам трупов, — это картина самая обычная. Хотя зимой и не бывает сражения со штыковыми атаками, от немецких пуль, бомб и снарядов солдаты гибнут ежедневно. Никто их не убирает и не хоронит. Как ненужный навоз, их каждый вечер выбрасывают на бруствер. Вокруг передового окопа валяется множество пустых гильз, обойм, брошенных винтовок и трупы солдат. Для нас все это выглядит так же естественно, как летом зеленая трава и белый снег зимой. Смерть солдата на войне, что скошенная трава на лугу, почти никакого впечатления не производит. Но если погибают товарищи, с которыми сжился, ел из одного котелка, переносил трудности фронтового быта, это не забывается, им хочется оказать хоть какие-либо почести. Когда от ранения в голову погиб Тимиров, наш самый близкий товарищ, мы его сначала положили неподалеку от окопов, где он пролежал несколько дней, а потом в одну из более спокойных ночей, отпросившись у

командира, мы понесли его на плечах в тыл... Отойдя от окопов назад версты три, вырыли могилу и похоронили. Среди нас отыскались и поэты. На небольшой доске химическим карандашом написали такие строки:

Ты избавился от кровавого, холодного
и гадкого мира;
Возьми же и меня к себе,
Ни радости здесь нет, ни уюта...

Стихотворение нам всем понравилось. Но оно не оставило глубокого впечатления. Отойдя от могилы, мы вскоре же позабыли его.

Это был первый и последний случай, когда мы хоронили своего товарища. То были первые дни нашего пребывания в окопе, ни наступления, ни атак тогда еще не было.

Это время было переходным периодом на фронте, наступательная война сменилась окопной, оборонительной. Если замечалось какое-либо движение на позициях противника, то завязывалась ожесточенная перестрелка. С наступлением ночи беспрерывная стрельба из винтовок и пулеметов продолжалась до утра. Во время ночного дежурства каждый солдат обязан был выпустить до трехсот-четырехсот патронов. Русская трехлинейка в песчаных окопах Польши — оружие самое неудобное. У русской винтовки затвор открытый; в него набивается песок. Как только в затвор набьется песок, то открывать и закрывать его с каждым выстрелом становится трудней. Постепенно затвор отказывает совсем. Перестает действовать выбрасыватель, с трудом удается вложить обойму в магазин.

Открывая затвор, каждый раз затрачиваешь немалую физическую силу. Пока выпалишь положенную норму патронов, пальцы немеют, покрываются мозолями, а наутро даже распухают. Для чистки винтовок нет ни масла ружейного, ни ветоши. Тем временем многие винтовки выбрасываются за бруствер или же уложенные крест-накрест поверх блиндажа, они служат перекрытием. Короче говоря, полный окоп винтовок, но стрелять не из чего.

Много убитых. Военная техника немцев без конца молотит, размалывает бесчисленное множество наших солдат. С методической последовательностью истребляет, отметает прибывающее пополнение войск...

Вот уже в течение двух месяцев мы живем в таких условиях на передней позиции: в окопе воды по колено, дни и ночи беспрерывно стреляют, горячей пищи нет, большей частью голодаем.

Но в нашем блиндаже солдаты нередко переживают и счастливые минуты. Байгужа с Новиковым уходят в тыл. Ночью они первыми встречают кухню, едущую на передовые позиции. Кроме того, они успевают побывать в прифронтовых деревнях, где в неубранных осенью огородах откапывают картофель и приносят в окоп. Однажды они притащили откуда-то две большие перины. Мы их постелили на сырой пол блиндажа. В ту ночь наш сон был особенно сладок. А наутро Новиков не преминул похвастаться:

— Пожалуй, и господам офицерам даже не приснится такая мягкая перина!

Обед у нас всегда обильный. В те дни, когда мы вдобавок к обеду варим картошку, к

нам приходит командир нашей роты подпоручик Васильев. При командире Новиков торжественно сдирает с картошки кожуру, присыпает ее солью, крупно откусывает и начинает жевать с особым наслаждением. Картофельную кожуру кидает в сторону Васильева.

Васильев зачастую ходит голодный. Двух его денщиков ранило, когда они ходили за обедом. Третий денщик, старый солдат запаса, ссылаясь на разные причины, в окопах у своего барина бывает редко. Нет, никогда не отдадут солдаты командиру ту пищу, которую пронесли под огнем. Поэтому он и голодает. Сидит, следя завистливо за тем, как едят солдаты, и глотает слюни. Хотя сам он и не ест, однако, нахваливает суп, сваренный из мясных консервов:

— Бульон из мясных консервов бывает вкусным, — говорит он про себя.

Пользуясь моментом, Новиков смеется над подпоручиком Васильевым, издевается над ним. Когда подпоручик уходит, Новиков говорит вслед:

— Ну вот, ушла собачонка!

Солдаты смеются. Когда Новиков не в духе, язвительно улыбаясь, начинает куражиться:

— Ваше благородие, если вы будете околевать с голоду, то примете много мучений. Может вам, чтобы не страдать, лучше вылезти из окопа и подставить лоб?

Подпоручик Васильев на Новикова не сердится, пытается как-то обратить его слова в шутку.

Волосы подпоручика Васильева кажутся желтовато-белесыми. Если к нему подойти

ближе, то разглядишь, что каждый волос его облеплен мелкими бусинками вшей и гнидами. Первоначально его волосы были рыжими, впоследствии в сочетании с цветом бесчисленных паразитов они стали желтовато-белыми. Зеленоватого цвета офицерские погоны стали похожими на погоны с белым позументовым верхом, которые носят войсковые доктора. Если бросить взгляд на его шею в прохладные дни, то увидишь, как там копошатся паразиты. Когда начинают беспокоить вши, солдаты обычно свои рубашки и штаны держат над костром. А подпоручик не предпринимает подобных мер. С первого дня пребывания в окопах белья он не менял. Так вот живут-поживают вши на его шее и, не чувствуя страха, преспокойно размножаются, блаженствуя в безопасности.

В один из дней в наше отделение прибыл малолетний мальчик-доброволец. Сопровождавший его подпоручик Васильев с особой теплотой попросил нас:

— Вы уж возьмите добровольца Тимашева к себе в отделение. Он еще слишком молод, а вы солдаты бывалые. Вместе с вами ему будет веселее. — И подпоручик присел перед нашим блиндажом.

Тимашев — совсем юный мальчонка, похож на девочку. Голос его тонкий, лицо свежее, глаза совершенно еще детские. Взгляд бесхитростный, простодушный. А пальцы его, что девичьи пальчики, тонкие и красивые. Руки и лицо его яснее ясного говорят, что в своей жизни он ни разу не брался за трудную работу. Мы все немало были удивлены, узнав, что эти пальцы умеют держать винтовку и

стрелять. Попав в наш блиндаж, он прежде осмотрел все, что в нем было. Обо всем расспрашивал, выслушав наши ответы, страшно удивлялся. Затем он достал из своей сумки очень много съестного: колбасы, свиное сало, ветчину, сливочное масло, печенье, конфеты и другие продукты. Всех нас угостил кусочком масла с колбасой. Подпоручику Васильеву отрезал большой кусок свиного сала и колбасы.

В тот вечер Тимашев рассказал нам о многом. Довольно пространно, интересно поведал он о себе. Отец его купец, сам он учился в гимназии. Отец любил его, но с мачехой мальчик никак не мог ужиться. Из-за этого и ушел добровольцем на фронт. Несмотря на то, что Тимашев впервые находился в окопах, вел себя довольно спокойно. Он не обращал особого внимания на близкие разрывы снарядов, на свист пуль и жуткий грохот бомб. Нас поражало то, что не испытавший ранее жизненных трудностей купеческий сын, очутившись вдруг в окопе, ведет себя так хладнокровно, так быстро привык к этим условиям. Мы спрашивали у него:

— Как ты, такой молодой, не побоялся идти на войну? А смерти не страшно?

— Нет, не страшно, мне все равно, — обычно отвечал он.

Часто им забавлялся Новиков.

— Ведь ты жил в хорошей комнате, спал на мягкой кровати, пивал чай с шоколадом, вареньем, а в карманах всегда таскал конфеты, не так ли? — приставал он к нему.

Тимашев никогда не отвечал Новикову, лишь молча улыбался. Если же Новиков начинал болтать лишнее, то он просил его:

— Ладно уж, Новиков, перестань!

Через каждые четыре-пять дней ему присылают посылки. В них бывает свиное сало, колбаса, конфеты и много другого. Подпоручику Васильеву даже обеда порядочного за неделю не приносят. А Тимашеву посылки доставляют прямо в окоп.

— Как же так, — спрашиваем мы у него,— ты говоришь, что отец не был согласен отпустить тебя на фронт, а сам посылки шлет?

— У меня есть сестра, — отвечает он усмехаясь, — она замужем за очень богатым человеком. Любит меня, жалеет. Вот и шлет мне посылки.

Но то, что присылает сестра, он никогда один не ест, делит на всех. Если отказываемся, вручает насильно, обижается. Весь батальон завидует нашему счастью. Солдаты говорят:

— Подвалило вам, братцы, счастье... Откуда вам такое везение? Ведь в окопах даже офицеры не живут, как вы.

В нашем отделении народ попался вообще веселый. Гостинцы Тимашева придают нам бодрость. Частенько стали курить хорошие папиросы. Другие в махорке нуждаются. Знакомым солдатам от хороших папирос оставляем «сорок», а менее знакомым — «двадцать».

С приездом Тимашева мы стали жить привольно. Но с самого начала наш Байгужа невзлюбил его. Тимашев излишне навязчив, пристает с различными вопросами. Байгужа никогда на его вопросы не отвечает.

— Проваливай отсюда! — огрызается он, махая рукой.

Байгужа просит меня написать домой пись-

мо. Он диктует, я пишу. Когда мы принимаемся с ним писать домой письма, то передаем приветы всем родным и братьям, справляемся о здоровье каждого, просим, чтобы нам подробно написали, кто из деревни еще взят в армию, кто находится на фронте. Перечисляем все свои фронтовые приключения, рассказываем о жизни в окопах. Всякий раз наше письмо получается размером в пять-шесть страниц. В нашем полку довольно много солдат из Мензелинского, Бугульминского, Бугурусланского и Белебеевского уездов. Если на позиции выдаются более спокойные дни, к тому же если и погода стоит хорошая, они приходят к нам, просят написать им письма и адреса. В такие дни между нами завязываются долгие разговоры. Тимашев хотя и не понимает по-башкирски, но всегда присматривается к тому, как мы пишем, слушает наши беседы. Частенько вмешивается в разговор:

— О чем пишете, о чем разговариваете? — докучает он. — Научите и меня говорить на мусульманском языке.

Мало кто обращает внимание на его просьбы. Иногда Байгужа отвечает ему по-башкирски:

— Знаешь кто ты? Репей, прилипший к хвосту! Не мешай-ка тут! — и, ткнув его в грудь, усаживает на место. А Тимашев еще больше досаждает Байгуже:

— Что ты сказал? О чем говоришь, переведи же на русский! — просит он. Затем обращается к другим, чтобы они перевели слова Байгужи. Байгужа ворчит про себя:

— Случись атака, наверняка шлепну я этого пацана, — и отворачивается в сторону.

Однажды мы с Байгужой сидели как-то вдвоем на теплом мартовском солнце и писали письмо нашему односельчанину, воевавшему на австрийском фронте. Видимо, увлеченные письмом, мы повторяли такие слова, как окоп, снаряд, мир. К нам подошел Тимашев, который до этого, греясь на солнце, сидел в сторонке.

— Вы, кажется, что-то говорите о войне, окопах, о мире? — заговорил он.

Байгужа, сидевший спокойно, вдруг вскочил на ноги. Не прошло и секунды, как Тимашев отлетел и покатился к окопу. И вскоре он захныкал тонким детским голосом:

— Хищник! Варвар! Дикарь!..

Я поднял Тимашева с земли. Изо рта его шла кровь. Байгужа медленно, по-волчьи, ушел в блиндаж. К Тимашеву подбежал Новиков:

— Тимашев, что с тобой?

— Байгужа ударил... Ни с того ни с сего.

— Ты, наверное, опять чесал языком. Ладно, раз так, выпишем тебе Георгиевский крест, — засмеялся Новиков.

Тимашев, вытерев кровь со рта и слезы с глаз, уселся возле блиндажа. А в блиндаже Байгужа все еще ворчал и ругался.

К вечеру немецкие батареи открыли огонь по нашим тылам. Возле штаба нашего полка падают легкие снаряды, а тяжелые снаряды рвутся где-то далеко позади. Спустя некоторое время мелкими снарядами обстреляли и переднюю линию. Поранило немало солдат. Были и убитые. Но стрельба по передовым окопам вскоре прекратилась. Артиллерийская канонада по тылам продолжалась долго. К ве-

черу же еще более усилилась. Солдаты стали поговаривать, что, вероятно, немцы вечером начнут атаку. Сегодня неожиданно у Байгужи развязался язык. Никогда в жизни первым не начинавший разговора, он вдруг заговорил:

— Сказывали, в марте мир заключат. Если так пойдет, мира не будет, — сказал он.

Его слова странно подействовали на Новикова, он вдруг вспыхнул. Сначала разразился десятиэтажным матом. Уж давно мы не слыхали от него подобной ругани. Затем начал говорить. Указывая в воздух, где гудели беспрерывно пролетающие тяжелые снаряды, он сказал:

— Вон, слышите, летит мир, предназначенный для нас. А ты, Байгужа, еще говоришь — мир! Ни от мира, ни от войны нам пользы нет. Ты же видел вон там братские могилы для нас. Хорошо, если похоронят там. Глядишь, еще останемся погребенными здесь, в окопах, и никто не узнает, где мы сложили свои головушки. Мало разве пропадает без вести нашего брата? Хотя не все ли равно... Так что, братцы, и война и мир — не для нас. Все это для генералов, для богатых... Нам-то что? У нас нет ни пяди земли. Сегодня здесь, завтра там... Ведь мы простые смертные, пушечное мясо!..

Тимашев, подойдя к Новикову, уставился на него и с особенным вниманием ловил каждое слово. Байгужа, выслушав Новикова, тяжело вздохнул и проговорил:

— Что правда, то правда...

Новиков намеревался еще что-то сказать. В это время перед нашим окопом разорвался снаряд. В воздух взметнулся черный фонтан.

Окоп наш завалило землей. Осколки, со свистом разлетевшиеся в стороны, с пришлепом падали на землю. Мы в мгновенье ока укрылись в блиндаже.

В сумерках пришел подпоручик Васильев и, вручив Тимашеву пакет «аллюр три креста», приказал:

— Немедленно доставь командиру полка!

У Тимашева от радости загорелись глаза. Он начал раздавать нам все съестное из своих посылок.

— Себе же ведь понадобится, когда вернешься, — пытаемся мы возражать.

— Я еще принесу, — говорит он, собирая вещи. — Наверно, новая посылка пришла.

Новиков смеется:

— Видать, больше не думает возвращаться. Война — не сладкий пирог.

Тимашев ушел.

Едва стемнело, как из немецких окопов в небо взлетели ракеты. И тотчас же в разных местах заработало сразу пять пулеметов. Легкие снаряды, до этого падавшие позади нас, стали рваться в наших окопах. К ним присоединились тяжелые снаряды. От взрывов дрожала земля, рушились окопы. Нет силы выдержать все это. Вскоре с тыла к нам подошло подкрепление. Заработали и наши пулеметы. Пушки открыли огонь по немецким окопам. Несколько наших снарядов разорвалось на правом фланге, в окопах второго батальона. Солдаты злятся и язвят:

— Какая меткость. Палят в чужих, а бьют своих...

Мы открыли беспорядочную стрельбу по немецким окопам. Огонь врага еще более

усилился. Над окопами поднимался дым, взлетали комья земли. Стрелять стало невозможно. В окопах полным-полно убитых и раненых. Громко стонут раненые. Никто им не оказывает помощи, да и нет для этого никакой возможности, потому что беспрерывный град снарядов и пуль не дает даже поднять головы. Каждый занят собой. Поступил приказ покинуть передние окопы и перейти в окопы второй линии. По ходу сообщений, который растянулся саженей, примерно, на сто, двинулись назад. Траншея полна убитыми и ранеными... Мы шагаем по ним, спотыкаемся, падаем, местами образуются свалки. Тогда мы выпрыгиваем из траншеи и бежим назад по голому полю. Кругом свистят пули. Однако они счастливо минуют нас. Когда падает снаряд, все приникаем к земле. После того, как осколки и комья земли попадают и все успокоится, сорвавшись с места, снова бежим.

Немцы почему-то в атаку не пошли. Перестрелка утихла далеко за полночь. Лишь ракеты все еще взлетали над окопами, да и прожекторы вспарывали небо. В это время с тыла, на смену нам, подошел один полк Туркестанской дивизии. После трехмесячного пребывания в окопах, мы выходим в тыл, на отдых. Но в нашем полку все смешалось. Не разберешь, где какая рота, какой батальон, нет никакой возможности найти своих товарищей. Уходим в тыл под общим названием Пошехонского полка. Когда отошли с версту назад, нам приказали сосредоточиться у стены какого-то разрушенного завода. Не успели мы собраться там, нас нащупали немецкие прожекторы. Стали сыпать тяжелыми снарядами. Мы

прижались к заводской стене. Группу солдат, которая пробиралась впереди нас, прямым попаданием сравняло с землей. Стена, у которой мы лежали, с одного конца обвалилась. В этот миг несколькими осколками ранило в ногу моего соседа, он взвыл и, обхватив ногу руками, закружился на месте. Не успел я снять с его раненой ноги сапог, как довольно далеко от нас разорвался снаряд; прожужжав жуком, осколок впился мне в левую руку, у меня зашумело в ушах. Рука онемела. Замерло сердце. Я отбросил сапог раненого и сказал:

— И меня задело...

И зажав левую руку, опустился на землю у стены. Забрезжил рассвет. Стрельба утихла. Разорвав индивидуальный пакет и действуя здоровой рукой, я уже успел кое-как перевязать рану. Вскоре получили приказ быстро покинуть укрытие у заводской стены. Когда мы отошли версты на две, занялась заря.

— Что, в руку ранило? — осведомился солдат, шагавший рядом, заметив мою повязку. И с нотками зависти в голосе добавил:

— Вот счастливчик. Месяца два наверняка прокантуешься. К тому времени, глядишь, и мир наступит. Вот и не вернешься обратно на фронт.

Мне даже и в голову не приходила такая мысль. Я словно вдруг пробудился от глубокого сна и только сейчас пришел в себя. «Ведь и вправду может так получиться, — подумал я про себя, — самое малое на месяц да отправят меня в тыл. Поеду в лазарет. А за месяц кто знает, что еще может случиться. Ну, а я вырвался живой. Что же я в деревню напишу о Байгуже? Живы ли они?..»

Восход прекрасен, поднимается румяное мартовское солнце. Утренний воздух тих, я шагаю, чувствуя себя новорожденным. В сердце почему-то закрадывается сомнение, так и кажется, что лазаретов впереди нет и будут там опять окопы. Живя в окопах, мы давно уже перестали думать о возвращении домой. Теперь вот вспомнилась деревня. Ужель мне суждено побывать в родной сторонке?..

У опушки леса показался перевязочный пункт. Мой сосед снова заговорил:

— Глупец же ты, однако, брат. Ранен, да еще винтовку на себе несешь. Я бы давно бросил. Иди, вон, беги в перевязочный пункт. Там тебя перевяжут.

Я тут же вышел из строя и зашагал к опушке леса. Теперь уж как-то неудобно бросать винтовку, все еще несу на себе.

У перевязочной лежат сотни раненых солдат. Перевязанных санитары укладывают в двуколку. Мертвых и находящихся при смерти оттаскивают в сторону. Сестры милосердия заняты перевязкой вновь прибывающих раненых.

Какой-то солдат с окладистой бородой лежит на земле и корчится от боли. Следов крови на щеках и руках незаметно, видимо, ранен в живот. Он стонет, крепко прижав рукой живот. Лицо его белое, без кровинки, губы посинели, глаза затуманены. Он размахивает одной рукой в воздухе, кого-то зовет. Я подхожу к нему.

— Сынок, сынок!.. — шепчет он.

Я протягиваю ему флягу с водой. Он не замечает ее, не смотрит на флягу, глаза его устремлены вверх.

— Сынок, сынок, — продолжает он звать,— ближе подойди, ближе. Иди же... иди... Вырви меня отсюда! Не видишь разве, где я лежу, вытащи!

Одной рукой он все еще прижимает живот, а другую поднимает вверх. Подолгу всматривается ввысь, пытается улыбнуться, затем снова поворачивается лицом вниз и продолжительно стонет. По всему заметно, рана у него тяжелая. Он бредит, говорит, не помня себя. Умирая, наверное, видит перед собой сына, оставшегося где-то далеко на родине. Вот к нему подходит санитар. Переворачивает его и вдруг в этот самый миг у раненого закрываются глаза.

— Этого унесите туда, к мертвым! — приказывает санитар.

— Дайте хоть спокойно умереть, — говорю я санитару, — помрет, тогда и отнесете.

Он зло взглянул на меня и прошел дальше. Бородатый солдат продолжал лежать в той же позе, в какой его оставил санитар. Он уже больше ничего не говорил и рукой тоже не шевелил. Широко раскрыв глаза, смотрел в небо, дыхание его становилось прерывистым. Словно желая оторваться и улететь куда-то, он порывисто приподнял грудь, но через некоторое время из его горла вырвался короткий хрип. Раненый заскрипел зубами, зашевелил посиневшими губами, видимо, хотел еще что-то сказать, но уже не мог. Он умирал.

В воздухе летают немецкие самолеты. Невдалеке от нас падают тяжелые немецкие бомбы и с грохотом рвутся. Раненые с тревогой смотрят в небо и переговариваются:

— Как бы и сюда бомбу не кинули...

Никому из раненых не хочется умереть здесь, когда уже кошмары войны остались позади. Их тревожит одна мысль, — как бы уйти подальше от войны, от ужасов окопной жизни туда, где тишина и покой. Раненые с разных сторон кричат сестрам:

— Перевязывайте живее да отправляйте быстро...

Ко мне подошла пожилая сестра. Ей, примерно, за пятьдесят. Мою догадку подтверждают седые волосы, выбившиеся из-под платка.

— Куда ранен? — спросила она скорее по привычке и начала развязывать бинт на моей руке. Вытерла ватой кровь, чем-то намазала рану и стала накладывать повязку. Сама посмотрела добрыми глазами мне в лицо и материнским голосом заговорила:

— Погибают молоденькие ребята. Уж больно сильная была сегодня стрельба, артиллерийская канонада грохотала вовсю. Я и сама целую ночь моталась на передовой позиции, под огнем. Ой, сколько гибнет там людей. Гибнут без всякой помощи. Под огнем умирают раненые, которые могли бы еще выжить...

Как давно мы не слышали подобных слов из женских уст, ее слова были очень близки моей душе. Как-то ни о чем не задумываясь, я спросил ее:

— Вы сюда приехали добровольно?

Она посмотрела на меня широко раскрытыми черными глазами, затем медленно опустила их вниз. Длинные ресницы прикрыли ее глаза.

— Нет, — ответила она, глубоко вздохнув. — Я ненавижу войну. Я противница войны.

— Как же так, почему тогда приехали сюда, под огонь?

— Приехала на фронт, чтобы помочь своим братьям, которые страдают от ран, полученных на этой страшной войне. Ты видишь, они все нуждаются в помощи.

Я не понимал ее слов. Сама войну ненавидит, сама же под пулями и снарядами целыми ночами ползает на передовых позициях.

— А смерти не боитесь? — спросил я ее в шутку.

— Нет! — отрезала она вдруг и, помолчав, тихо, с болью в голосе, продолжала свой рассказ. — На фронте погибли два моих сына. Теперь никого у меня нет. И мне теперь все равно. Трудно мне сидеть там, дома. Приехала сюда, чтобы собственными глазами увидеть кровь своих сыновей, узнать, какие страшные муки они испытали перед смертью. Я теперь знаю, как они умирали. Вижу их предсмертные страдания и муки. На всех я смотрю сейчас, как на своих детей. И в каждом из них вижу все то, что пережили мои сыновья перед смертью.

Она говорила бы еще, но крики и стоны раненых прервали ее рассказ. Она заторопилась к другим. Я долго не отрывал глаз, смотрел на нее и чувствовал, что она стала мне близкой, как мать, от нее веяло материнской любовью во всем. На фронте, когда не видишь ни единой ласковой улыбки, под свист пуль и грохот снарядов душа человека глохнет, черствеет. Теперь же, после разговора с сестрой

милосердия, душа моя отошла, оттаяла, словно лед, попавший в огонь. Она совсем размякла. На глаза навернулись тяжелые слезы. Хотелось подбежать к этой сестре, обнять и, склонив голову к ней на грудь, плакать долго-долго. Но совершить такое не было возможности. Мне и так-то недоставало слов поведать о том, что переполняло сердце, а передать это на русском языке для меня было тем более не под силу.

Весеннее солнце, медленно выкатившись, ползло вверх и уже прошло расстояние длиной, примерно, в два копья. Ни дуновения ветерка. На передовой орудийная канонада все еще не умолкает. А там, куда мы уходим, освещенный утренним солнцем широко раскинулся лес и безмятежно застыл, купаясь в синем мареве. Хочется взлететь над лесом, резвиться под лучами яркого солнца и, паря над синеющим маревом, погасить огонь, который изрыгают пушки, пулеметы, винтовки. Хочется уничтожить войну, весь этот фронт. А сестра милосердия, которая перевязала меня, в это время ходит между ранеными и убитыми... Я смотрю на ее кожаную тужурку, блестящую на солнце, и проникаюсь еще более глубокой любовью к ее матерински доброму сердцу, скрытому под этой тужуркой. Как ласково и нежно светит солнце, когда оно на несколько минут вырывается из-под тяжелых и хмурых туч! Такой же ласковой и близкой мне была эта сестра в кожаной тужурке, которую я встретил сразу после того, как вырвался из окопного ада, где среди пуль и снарядов, ежесекундно сеющих смерть, не видел ни доброй улыбки, ни душевного слова.

В эту минуту я был готов исполнить любое ее желание, любую просьбу, с радостью принес бы какую угодно жертву, чтобы вернуть к жизни ее сыновей, погибших на войне. Но, к несчастью, это было невозможно.

Я направился в расположение штаба дивизии. Бреду медленно. В голове копошатся разные думы. Но все они бессильны, неосуществимы. А это солнце, что светит над моей головой, теперь кажется мне чужим. Словно я иду по чьей-то незнакомой земле и меня греет чужое солнце.

Двигаюсь куда-то в неизвестный мир, жить в котором мне нельзя. Всюду я одинокий, бесприютный, заброшенный... Я теперь как будто заблудился. Дорога, по которой я иду, это не моя дорога. Мне хочется повернуть назад. Вернуться обратно на фронт. Хочется идти к своим товарищам, быть рядом с Байгужой, Буранбаем, Новиковым. Они мне близки, они понимают меня. Хочу говорить с ними, курить, усевшись рядом, рассказывать им подробно и долго о доброй сестре милосердия...

Я все еще шагаю... Куда иду, к кому иду, зачем иду?.. Для меня все скрыто мраком неизвестности и не имеет никакого смысла... Словно для меня нет ни жизни, ни воздуха в том пространстве, по которому я бреду. Нет для меня пути...

Солнце уже поднялось высоко. В лощине показался штаб дивизии, навстречу мне шел большой обоз. Я уступил ему дорогу и, выйдя на обочину, зашагал по песку. У шоссе расположились на привал около сотни солдат, видимо, они тоже идут с передовой. Отдыхают, курят. Не хочется подходить к ним. Я оста-

новился, опустился на землю, выкурил цигарку. А солдаты все еще лежат.

Я забрался в лес, глянул вверх. Прямые с редкими сучьями стволы сосен тянутся к небу. В утреннем безветрии несколько потемневшая зеленая хвоя застыла, словно в глубокой задумчивости. А сердце мое неспокойно, взволновано. Хочется, чтобы подул ветер и лес зашумел. Но лес стоит в безмолвии, не шелохнется. От этой тишины, разлившейся между соснами, мне тяжело, душно... Я выхожу из леса. Солдаты уже ушли. Дорога свободна. Я быстро шагаю по просторному шоссе. Зачем тороплюсь, куда спешу? — я не даю себе отчета, иду и иду...

Вот и штаб дивизии. Я прошел в околоток. Здесь собрались одни легкораненые. Я протянул доктору перевязанную руку. Первым вопросом, который он мне задал, было:

— Сам прострелил руку?

Это сильно рассердило меня. Я ему сказал, что ранен осколком снаряда. Меня подвергли тщательному осмотру. Заламывали руку, копались в ране. Острая боль пробиралась до самого сердца. Но я молчал. После тщательного осмотра меня поместили на три дня в околоток.

Глава пятая

Руку мою оперировали. Осколок вытащили. Рана еще не зажила, даже опухоль на руке не спала, меня отправили в полк. Байгужа, Буранбай, Новиков — все трое были живы, невредимы. Меня встретили так, словно я с неба свалился.

— Мы же тебя считали убитым, — вскрикнули они в один голос. Байгужа даже успел написать о моей смерти в деревню. Это меня очень огорчило, и я тут же решил написать домой. Растянувшись на земле возле барака, я принялся за письмо. Вскоре подошел Новиков, прилег около меня и медленно заговорил:

— Знаешь, — сказал он, — мы тут неплохо отдыхаем. Каждый день утром часа по четыре занимаемся строевой. Между прочим, меня два раза в штаб вызывали. Допытываются: «Как, мол, вы смотрите на войну, каково настроение среди солдат?» А ведь Тимашев к нам больше не вернулся. Исчез, пропал. Наверняка он был шпионом. Все, что мы говорили в окопах, дословно известно в штабе. Это он передал, больше некому. Да, и тебя ведь вызывали в штаб. Мы сказали, что ты убит...

Да, это оказалось правдой. Как только приказом по роте зачислили меня на довольствие, на другое утро вызвали в штаб. Я в штабе предстал перед каким-то капитаном.

Он встретил меня приветливо. Я застыл было перед ним, взяв руку под козырек, но капитан разрешил стоять вольно.

— Это твое письмо? — спросил он, показывая на письмо, лежащее на столе. Да, я узнал его, то было мое письмо. Конверт с рисунком и бумагу, на которой было написано письмо, нам вручили как подарок общества Красного Креста. Я вспомнил все, что там было написано. Писал я о войне, о страшном разгроме, о голоде. Рассказывал, как наши же снаряды, падая к нам в окопы, убивают своих солдат. Эти строки письма были подчерк-

нуты красным карандашом. Капитан смотрел мне в глаза и, тыкая пальцем в листок бумаги, строго спросил:

— Это ваш почерк?

Я испугался, оробел. По всему телу поползли мурашки. Впервые я испытывал подобное, прежде ничего такого не случалось. Что же отвечать? Если скажу не мое, то вряд ли поверят, в конце письма стоит адрес нашего полка. Тут же имя и фамилия, написанные мной собственноручно. Даже указаны номера роты и взвода. Если скажу мое, то, думалось, наверняка привлекут к строгому ответу. Однако скрывать не было смысла. Что будет, то и будет, может арестуют, отдадут под суд, в тюрьму засадят. По крайней мере буду вне опасности.

— Да, — сказал я, — это мое письмо, ваше высокоблагородие!

Капитан долго смотрел на меня. Затем спросил, из какой я губернии и села, какое имею образование, каким ремеслом занимался. На все его вопросы я дал правдивые ответы. Закончив расспросы, он некоторое время сидел молча и задумчиво теребил усы.

— Значит, ты башкир, — заговорил он, — башкиры ведь занимаются скотоводством. А ты что-либо понимаешь в скотине?

Вопрос был довольно неожиданный, никакого отношения к прежнему разговору не имел. Я был озадачен. Ответил лишь после некоторого раздумья:

— Да, понимаю, ваше высокоблагородие!

Мне показалось, что ответ мой удовлетворил его. Он подошел ко мне близко и наставительным тоном сказал:

— Так писать в письмах нельзя. Писать о месте расположения полка, о военных событиях совсем запрещено. Это военная тайна.

— А я не знал, ваше высокоблагородие.

Он отпустил меня. Я вышел из штаба, но все еще не мог разобраться в происшедшем. Быстро зашагал по направлению к баракам. И тут только вспомнил, как вчера я написал большое письмо и отправил по почте. Оно было предлинное, к тому же в нем я до мелочей описывал фронтовое житье-бытье, упоминал также и о Тимашеве. От этих воспоминаний меня бросило в жар...

— Хорошо, еще на этот раз все обошлось благополучно, — думал я. — А за вчерашнее письмо опять ведь вызовут, снова придерутся. К ответу притянут. Обеспокоенный этими мыслями, я шел в барак. Меня встретил Новиков.

— Ну, что там было? О чем спрашивали? — накинулся он с вопросами.

Меня окружили товарищи. Я им рассказал обо всем. Новиков громко расхохотался.

— Чепуха! — крикнул он так, что было слышно всем. — Пускай тогда берут из окопов, если боятся, да отправят в арестантскую роту. Нам же будет лучше.

Все со спокойной уверенностью подтвердили правильность слов Новикова. Внимание солдат было сосредоточено на мне и Новикове. Чувствовалось, что интерес по отношению к нам в солдатах все более возрастает. Ко мне подошел эстонец Индрил, который всегда молчаливо и угрюмо держался ото всех в стороне.

— Ничего, — сказал он с особой теплотой, — так уже заведено — нашему брату всю-

ду достается одинаково. — И он улыбнулся, обнажив свои длинные зубы. В этот день Индрил до самого вечера держался возле нас. Оказалось, он знал много анекдотов. До ночи мы хохотали, слушая его уморительные рассказы. До армии он работал в Риге на заводе, был часовым мастером в Либаве, а перед самой войной в Петербурге трудился на электрической станции. Теперь Индрил служит в нашей роте телефонистом. Телом он сухопарый, ростом чрезмерно высокий, маленькая голова покоится на длинной шее, из-под сомкнутых губ выпирают большие передние зубы, а если засмеется, то видны даже коренные зубы. Когда он молча сидит в сторонке, кажется очень сердитым, а как только очутится в окружении солдат, то его не узнать: душа нараспашку, откровенный, веселый. Он быстро привык к нам. Стал своим человеком. Индрил умеет быстро разжигать костер, чудесно варит картошку. К огню обычно он никого не подпускает. Разожжет костер и с особым наслаждением долго смотрит на то, как горит огонь. Если в котелке закипит вода, то с каким-то внутренним волнением следит за тем, как она бурлит, подпрыгивает. Не отрывая глаз от кипящей воды, кричит нам:

— Кипит!.. Бурлит!.. Закипела!..

Кричит так, словно он сам кипит вместе с водой. Но когда котелки снимаются с костра и ставятся на землю, то Индрил внезапно преображается. Становится прежним тихим Индрилом. За едой он не разговаривает, ест молча, уставившись перед собой в одну точку. После еды он закуривает и, разговорившись, начинает снова сыпать анекдотами.

Вот уже прошел десятый день как мы отдыхаем. К нам прибыло пополнение свыше тысячи человек. Среди них были ребята из Казанской губернии. В основном пополнение состояло из жителей Украины. По своему составу оно пестрое. Здесь есть новобранцы третьего набора, они слишком молоды. Есть и бородатые ополченцы. С их прибытием нам выдали летнее обмундирование, провели смотр.

На смотр приехал командир дивизии — генерал. Под звуки духового оркестра мы колоннами прошли перед ним. Затем генерал выступил с речью перед общим строем.

— Доблестные русские войска, — сказал он напыщенно, — одерживая блистательные победы, с каждым днем продвигаются вперед. Взят австрийский город Львов, теперь большая часть территории Австрии находится в наших руках. Наши войска подходят к Перемышлю. Как только будет захвачен Перемышль, мы должны начать наступление отсюда. Для того чтобы быстрее добиться мира, нужно крепко драться!

Индрил, стоявший рядом с нами, приподнял голову и задумчиво проговорил:

— Оказывается, за мир еще нужно повоевать! — и застыл, глядя на генерала. Индрила поддержал Новиков:

— Его самого бы на передовую. Видишь, здоров как боров. Морда красная, словно на убой откормлен. Они ведь кормятся не как мы, раз в два-три дня по полкотелка холодного супу...

Командир взвода, услышав голос Новикова, молча пригрозил ему кулаком. Мы притихли.

Когда после смотра мы, вернувшись к себе, сидели за обедом, к нам пришел ротный писарь Барсук.

— Новикова и тебя вызывает командир роты, — сказал он, показывая на меня.

Мы с Новиковым переглянулись. Тотчас же мне вспомнилось мое последнее письмо. Новиков отложил свою ложку.

— Булат, — сказал он с деланной серьезностью, — я знаю, нас сегодня расстреляют. Ребята, прощайте!

Сам он громко захохотал. Обычно молчавший во время еды, Индрил заговорил.

— Если бы дело было такое серьезное, то давно бы вами занялся полевой суд. Наверное, в другое место собираются переводить.

Байгужа с Буранбаем сидели глубоко взволнованные.

— Вместе было как-то веселее, — сказал Буранбай после короткого молчания. — Если вы уедете, нам будет скучно.

Предсказание Индрила сбылось. Прапорщик Панин сказал нам:

— Издан приказ отправить вас в интендантство. Один из вас будет старшим в команде пастухов, а другой — скотоводом. Сейчас же получайте арматурные списки, сдавайте оружие...

Вначале мы не поверили словам прапорщика Панина. Выйдя от него, мы с Новиковым долго шли молча. По дороге зашли в барак, в котором жил ротный писарь Барсук. Ему обо всем было известно. Он выдал нам арматурные списки. Отдал в руки копию приказа. Получив приказ, Новиков оживился.

— Живем, брат, живем... Не бойсь, справимся. Только вот жалко товарищей... Жалко, остаются здесь...

Известие о нашем отъезде остающимися товарищами было воспринято тяжело... Байгужа, лежа ничком, долго молчал в раздумье, затем, внезапно поднявшись, проговорил:

— Мне следовало бы убить того Тимашева. И я бы тогда поехал с вами. Вот не знал!..

Глава шестая

Мы находимся в сорока верстах от фронта, под Варшавой, в женском приюте. К работе еще не приступали. Казначей и начальник закупочной комиссии поручик Алексакин вот уже третий день пьянствуют и гуляют с женщинами, обслуживающими приют. В другом доме с какими-то гражданскими людьми пьянствуют маклеры. Мы с Новиковым целыми днями расхаживаем в саду приюта. Когда проголодаемся, заходим на кухню подкрепиться. Мы там завели знакомство с кухарками. Они кормят нас до отвала.

В приюте воспитываются до двухсот девушек. Он был основан вдовой какого-то богача и существует уже свыше сорока лет. Лишь фруктовый сад, который имеется при нем, занимает до двадцати десятин площади.

В ту пору, когда мы приехали в приют, зеленая травка только-только начинала подниматься в рост, а плодовые деревья в саду распускали первые листья. Дни свои мы проводили опьяненные волей, так неожиданно выпавшей на нашу долю. Никто нас не беспокоит,

не тревожит. О работе даже не думаем. О том, что ждет в будущем, также не задумываемся. Пытались было как-то раза два сесть за письмо товарищам, оставшимся в полку, но до сих пор так и не собрались написать. Дни проходят в безделье. Обычно мы уходим версты на три-четыре в сторону от приюта, возвращаемся обратно, сильно проголодавшись. Заходим на кухню, там нас кормят такой вкусной пищей, которую мы никогда в жизни не видывали. С наслаждением поев, подолгу спим после обеда.

Между нами и девушками из приюта наметилось некоторое сближение. По вечерам они стали собираться возле нас. Новиков рассказывает им об ужасах жизни на передовой. Они с удивлением и страхом слушают его рассказы. Порою, когда Новиков говорит об особенно страшных вещах, девушки вскрикивают:

— Ах!.. Ах!.. — и хватаются за головы. А Новиков, между тем, рисует картины одну страшнее другой. Девушки не выдерживают, машут руками и начинают умолять Новикова:

— Ой, нет, не рассказывайте больше!..

Затем разговор переходит на другие темы. Девушки искренне возмущаются нашими офицерами, начинают разоблачать их грехи.

— Поручик Алексакин ужасно плохой человек. Он пристает к девушкам. Насильно уводит девушек из приюта к себе в комнату, где пьянствует. Некоторых девушек он уже загубил. У нас тут есть несколько распутных девиц. Они всегда крутятся возле офицеров, гуляют с ними. На днях одну из них чуть не застрелили, избили, потом выгнали. Платье на

ней было разорвано, лицо все в крови. Так пируют ваши начальники...

Когда разговор заходит о наших офицерах, девушки умолкают. Видимо, они боятся их или же думают, что мы передадим их слова начальству. Девушки переглядываются между собой, затем переводят разговор на другое.

Как-то однажды днем мы с Новиковым спали у себя в комнате. Вдруг сильно прихлопнули нашу дверь, и я проснулся. По коридору кто-то убегал, звук его шагов быстро удалялся и вскоре затих.

— Что такое случилось?

Я соскочил с постели и подбежал к двери. В коридоре никого не было. Подошел к окну. Во дворе девушки из приюта играли в крокет. Я закурил, намереваясь снова лечь, подошел к койке и тут у ног на полу заметил маленький конверт. На нем были написаны наши фамилии. Я тут же разбудил Новикова. Рассказал ему о случившемся, показал письмо. Распечатав конверт, мы прочитали:

«Мы осмелились написать вам письмо. Вы нам нравитесь. Вечером, когда стемнеет, спуститесь к беседке на северном конце сада. Там встретимся».

Имена не поставлены. Мы перечитали письмо несколько раз, но ничего не поняли. Не знали, что и думать и что предпринимать. Подходили по нескольку раз к окну, смотрели на девушек, игравших в крокет.

— Кто из них может написать?

Мы терялись в догадках, но так ничего и не смогли придумать. Подошло время ужина. Теперь уже нельзя, как прежде, выходить просто

так. Теперь нас любят девушки. С этого момента мы не просто солдаты, а кавалеры. В груди бурлят неясные, волнующие чувства, они не дают покоя, пробиваются наружу. Новиков то и дело приговаривает:

— Вот ведь, какие чертенята!

Одеваясь, он туже обычного затягивает пояс. Тщательно разглаживает складки. Выбивает пыль из фуражки и, надевая, без конца поправляет ее на голове. Я, словно обезьяна, копирую движения Новикова.

Вышли на улицу, держа себя строго, как в строю. К девушкам не стали подходить. Глядя прямо перед собой, отправились на кухню по другой аллее. Вначале мы шли в ногу. Но когда проходили мимо девушек, сбились. Пытаемся снова идти в ногу, умельчая шаг, смешно подпрыгиваем. Но, как на зло, ноги не слушаются. У Новикова краснеет шея, значит он робеет, стыдится. Когда прошли к кухне, не стали сразу заходить в помещение. Степенно уселись на скамейке и молча закурили. Ни о девушках, ни о том, что по дороге сюда произошла некоторая заминка, — ни слова. Никто не хочет выдать своих тайн. После некоторого молчания Новиков как-то несмело и тихо замечает:

— Сегодня спали долго. Не опоздали, случаем?

Но эти слова идут не от сердца. Он говорит лишь для того, чтобы справиться со смущением. Я хорошо понимаю его. То же переживаю и сам.

Бывало раньше в кухню мы входили с шумом. Сегодня, словно женихи, вошли тихо, чинно. Ласково поздоровались с кухарками.

Бесшумно уселись за стол. Старая кухарка Авдотья подала нам есть и, глядя на нас в упор, спросила:

— Почему сегодня сидите такие несмелые или попало от начальства?

— Нет, просто так, — ответил ей Новиков хриплым голосом.

Авдотья больше не стала допытываться. Не торопясь, поели втихомолку, поблагодарили кухарок и поспешили уйти. Выйдя из кухни, прошли ворота и зашагали в поле. Мы шли вперед, испытывая какое-то внутреннее волнение, и шагали, не разбирая, куда и зачем идем.

Нам казалось, вечер наступает очень медленно. Мы дожидались его с большим нетерпением. А когда начало темнеть, от волнения даже по телу дрожь пробегала.

— Не вздумали ли они подшутить над нами? — тихонько говорит мне Новиков. Затем, немного подумав, уже более смело добавляет: — Пусть-ка попробуют! Я им тогда покажу. Чертенята, а ведь есть хорошенькие, аж сердце забилось! Будь что будет, пойдем. Только вот узнать бы, кто из них написал.

Прикидываем и так и сяк, предполагаем разное. Но все безрезультатно, да и трудно отгадать, какие именно девушки назначили свидание.

— Ладно, вот пойдем в сад, тогда и узнаем, кто такие! — успокаиваем друг друга. Наступил вечер, а мы вздумали бриться. Правда, настоящей бороды и усов у нас еще не было, однако, мы поскоблили бритвой пушок с лица. Когда кончили бриться, я заметил:

— Думаешь, ночью они увидели бы этот пушок? — и засмеялся.

— Может, оно и так, — подхватил Новиков бодро, — но раз идем к девушкам, надо чтобы было все честь честью.

Обмундирование на нас было чистое, оба недавно получили новую летнюю форму. Надраили до блеска сапоги, туго подтянули ремни, надевая фуражки, смотрелись в осколок зеркала, который я нашел еще в немецком окопе. Накинув на плечи шинели, мы стали маршировать в комнате из угла в угол.

Пока рановато еще, не совсем стемнело. В комнате у поручика Алексакина играют на пианино. Красивая, благозвучная мелодия через раскрытое окно проникает в нашу комнату. Мы сидим на койке и тихо слушаем ее. Но сердца наши неспокойны, готовы вырваться наружу. Хочется запеть под аккомпанемент пианино, подняться вместе с мелодией музыки вверх, взлететь и плавать там в небесной пустоте. В эти минуты в теле чувствовалась необычайная легкость, казалось, что ты легок, как пушок. Сидеть бы и сидеть вечно вот так, слушать звуки пианино и испытывать душевный подъем. Новиков, подхватив мелодию, медленно насвистывает, а я в такт музыке притопываю ногами. Музыка прекратилась. Словно желая узнать, почему перестали играть, я машинально выглянул в окно.

— На дворе уже темно! — сказал я.

Новиков, словно по команде, соскочил с койки.

— Ну, идем! — посмотрел он на меня.

В эту минуту мы чувствовали себя властителями мира. Ни фронта впереди не было, ни

службы воинской. Нет ни поручика Алексакина, ни дел никаких на завтра. В мире нас только двое да еще те две девушки, которые ждут в саду.

Занятый своими думами, я оступился на лестнице и полетел вниз через несколько ступенек. Энергично встав на ноги, я пробежал несколько шагов. За мной бежал Новиков.

— Не ушибся? — спросил он озабоченно.

— Нет, нет, — ответил я поспешно, — ничего не случилось.

Мы быстро зашагали вперед, ничто на пути не задерживало нашего внимания, ни о чем не думалось. Когда приблизились к белевшей стене на северном конце сада, Новиков, словно разведчик, заметивший впереди противника, дернул меня за рукав:

— Стой, скоро ведь беседка! — зашептал он.

Я внезапно остановился. Даже на несколько шагов отступил назад. Новиков взялся за ворот моей шинели.

— Если не надули, то должны быть здесь.

Мы двигаемся медленно, бесшумно, словно пробираясь ночью на позицию противника. Веет тихий ветерок. Деревья едва заметно покачивают ветками, на которых только что распустились листья. Подойдя поближе, мы осторожно приподнялись на носках и заглянули в глубь беседки. Новиков обеспокоенно прошептал:

— Их нет! Кажется, обманули!

Крепко стиснув меня за руки, он посмотрел мне в глаза. Мы как-то сразу сникли, ослабели. Сюда шли бодрые, окрыленные, выросшие до небес, а узнав, что в беседке никого нет,

стали маленькими. Казалось, и высокие могучие деревья, и беседка готовы были вот-вот обрушиться на нас..

В этот момент кто-то тоненьким голосом засмеялся за беседкой. Этот голос отдавался в наших ушах бодрым и ласковым зовом.

— Наверно, они! — вырвалось у меня.

Уши напряглись до предела, глаза закруглились. Нервы вновь натянулись, как струны. Снова мы надулись, как воздушные шары... Мы быстро прошли через беседку и стали поспешно спускаться по ее лестнице вниз. В это время сзади нас раздался громкий смех. Мы застыли как вкопанные, в левом углу беседки, спустившись на две ступеньки вниз, сидели две белые фигурки. Увидев их, мы растерялись и, не в силах что-либо сказать, застыли на месте.

— Долго заставили ждать! — заговорила одна из девушек и тут же опустила голову. Другая рассмеялась. Эти слова и смех как бы вдохнули в нас жизнь. Стало легко и свободно на душе. Новиков толкнул меня в бок и сам зашагал по направлению к девушкам. Я последовал за ним и шел, скрывая свое лицо за его спиной.

— Мы, мы... — начал было говорить Новиков, размахивая руками, но девушки прервали его, заговорив обе вместе:

— Добро пожаловать, проходите, садитесь!

Молча мы присели с правой стороны от девушек. Девушки еще теснее прижались друг к другу и, не поднимая головы, снова засмеялись. Мы чувствовали себя неловко. Новиков не выдержал:

— Девушки, — обратился он, — зачем смеетесь, может, мы помешали вам?

Слова Новикова мне понравились. Я приподнял голову и почувствовал себя бодрее.

— Нет, нет, — возразила одна из девушек, — вы нам не мешаете, пожалуйста, сидите!

Эти слова придали нам еще большую уверенность. Новиков подсел ближе к девушкам. Я, в свою очередь, придвинулся к Новикову. Какая-то теплая волна прошла по телу. В душе пробуждалась нежность. Я опустил руку на колено Новикова. Откуда-то смелость появилась. Без всякого на то повода и причины я обратился к девушкам:

— Вам не холодно, барышни?

Поняв, что слова мои не очень-то уместны, почувствовал себя неловко, должно быть, покраснел. Одна из девушек словно ждала моего вопроса, тут же быстро откликнулась:

— Нет, что вы, не холодно. В комнате очень скучно. Тоскливо. Вот мы и вышли сюда вместе с Женей посидеть.

Новиков ловко перехватил нить разговора:

— А я думаю, что вам должно быть нескучно здесь. Место такое веселое, приятное, сад красивый, дома выстроены прекрасные. Жизнь, наверное, у вас тут хорошая.

Женя встрепенулась. Легко вскинула опущенную вниз голову.

— Нет, не говорите так, — горячо возразила она. — Эта жизнь нам так надоела. Хочется уехать куда-нибудь далеко, в глубь России. Ни дня не хочется жить здесь.

Из-за спины Новикова я взглянул на девушек. Рядом с нами сидели Женя и Ирочка. Мы их знали и раньше. Бывало, когда мы говорили о войне, они с особым интересом слу-

шали наши рассказы. Если кто-нибудь прерывал рассказ, они обычно с искренней досадой одергивали его и возмущенно шикали: «Не мешайте!». Одна из них Ирочка — это я установил точно. Но среди наших слушательниц были две девушки, которые лицом смахивали на Женю. Кто из них была Женя, я ясно себе не представлял. Видимо, чтобы продолжить беседу, Новиков, по привычке, разговор начал с войны. Конечно, тему беседы он выбрал явно неудачно, она не подходила для данного места и данной минуты.

— Господин Новиков, — вступила в разговор Ирочка умоляющим голосом, — простите, что я вас прерываю, пожалуйста, если можно, не говорите о войне. Я боюсь. И так ночами мне снятся фронтовые кошмары, почти каждый раз просыпаюсь от страха.

Новикову стало неудобно. Но он быстро справился с собой и, не докончив рассказ, проговорил:

— Ну что же, о войне не будем, тогда рассказывайте вы, а мы послушаем.

— Расскажите о чем-нибудь другом, — сказала Женя тихонько.

Разговор прервался. Все замолчали. Я замечаю, как Новиков волнуется. Он не находит слов, чтобы продолжить беседу. Я слежу за его крепко сжатыми губами. Не хватает терпения ждать. В такую минуту молчание — смерть. Нужно говорить о чем бы то ни было. Я не выдержал и, недолго думая, ляпнул:

— Ну, тогда о том письме!..

Новиков толкнул меня локтем в бок.

— Какое письмо? — удивилась Ирочка, притворившись ничего не знающей.

— Да было тут одно письмо, — сказал я, подтверждая свои слова, и отвернулся в сторону. Девушки засмеялись. Я тоже посмеиваюсь. Растерянный и смущенный Новиков тоже начинает смеяться.

Но вот Ирочка становится серьезной и резко спрашивает:

— Вы, видимо, говорите о нашей записке? Уж не всерьез ли вы ее приняли?

— Нет, — сказал Новиков так же резко.

Я все еще улыбаюсь про себя и, глядя куда-то вверх, с нетерпением жду, чем все это кончится. Вскоре заговорила Женя:

— Какие же мы дуры... Ту записку к вам принесла я. Вы спали. Заглянула в окно, оно было закрыто. Зашла в коридор, тихонько дошла до вашей комнаты, открыла дверь. Вы все еще спите. Я кинула записку и испугалась, что вы проснетесь. От испуга так сильно захлопнула дверь, что во всем коридоре отдалось. Не помню даже, как выбежала оттуда. И вы, наверное, перепугались.

Они обе схватились за головы и громко засмеялись. Смеемся и мы. В саду стоит громкий хохот. Ирочка внезапно перестала смеяться и осторожно заметила:

— Не надо так громко, а то услышат.

Мы все притихли. Смех теперь раздавался приглушенный, отрывистый. К этому моменту между нами уже установилась некоторая близость, стали привыкать друг к другу. Почувствовав это, Новиков заметно осмелел. Он пересел от меня к Жене. Я передвинулся ближе к Ирочке. Девушки теперь на скамье очутились в середине между нами.

— Вы, кажется, зябнете, — высказал до-

гадку Новиков и полой шинели, накинутой на плечи, прикрыл спину Жени. Она не стала возражать. Следуя примеру Новикова, я придвинулся вплотную к Ирочке и укрыл ее своей шинелью. Наши головы теперь сдвинулись ближе. Стало тепло и приятно. И слова нашлись ласковые, сердечные, хотелось быть еще ближе к девушкам, прижаться к ним. Будто намереваясь поправить шинель, кладу свою руку на талию Ирочки и стараюсь придвинуть ее к себе, прижать теснее. Мне приятно ощущать под руками ее плотное, теплое тело. Хочется как можно дольше испытывать на себе это тепло, согреться им. То между нами завязывается общий разговор, то с Ирочкой мы говорим только вдвоем. Близко придвинув головы друг к другу, Новиков и Женя тоже о чем-то тихонько шепчутся. Ирочка видит это и склоняет ко мне свою голову. Ее мягкие кудри скользят по моей щеке. Их прикосновение вселяет необъяснимое блаженство, в душе нежнейшей музыкой отдается. От волос Иры идет приятный запах, который кружит мне голову.

Мы вчетвером укрылись двумя шинелями. Для нас шинели как бы стали крышей своеобразного дома, и мы сидим в этом «доме». В нем так удобно, тепло и приятно, что остаться бы тут навечно и сидеть тихо, испытывая неописуемое блаженство.

В этом «доме» сейчас проживают четыре человека, две пары: Новиков с Женей и я с Ирочкой. Ирочка полулежит на моих коленях. Я крепко сжал ее обеими руками и прижался щекой к ее щеке. Она всем телом нежно льнет ко мне.

Никто из нас теперь не говорит. Молча переживаем про себя короткий миг счастья. На первых порах было страшно неудобно сидеть не разговаривая. Но теперь слова стали ненужными, лишними. Потому что сейчас разговаривают сердца. Понятен каждый вздох. Ирочка дышит часто, своим горячим дыханием обжигает мою правую руку и от этого по всему телу разливается волнующее тепло.

Когда наша группа выходила из беседки, на востоке уже заалела полоска зари. Укрывшись шинелью, парами зашагали к дому. Расставаться не хотелось, но девушки боялись своего начальства. Мы проводили их. Но они пошли не к дверям, а к окну: оказывается, девушки оставили окно незакрытым. Попрощались. В это время Ирочка склонила голову к моему плечу. Почему-то всплакнула. Я ощутил на своей руке капли горячих слез. Мне было тяжело видеть это. Настолько тяжело, словно мое сердце обожгли каплями расплавленного свинца.

Девушки забрались в свою комнату через окно. Отойдя несколько шагов, мы невольно оглянулись. На темном фоне окна белели две фигурки, при свете зари они казались таинственными и еще более симпатичными. Мы бы долго еще стояли, не отрывая глаз от окна, но они жестом велели нам уйти. Мы молча вернулись к себе в комнату. Каждый был занят своими мыслями. Когда уже разделись, Новиков заметил, задумчиво растягивая слова:

— Такая неожиданность!..

— Да!.. — согласился я.

Не знаю, что было с Новиковым: спал ли он или лежал, взволнованный только что про-

исшедшим. Я не обратил на него никакого внимания, не прислушивался к его движениям. Я долго лежал, любуясь разгорающейся зарей. Где-то на небосклоне еще мигает звезда. Кажется, что она движется, близится ко мне. Я отрываю взгляд от нее и погружаюсь в волнующие переживания. Они проникнуты теплом горячего дыхания Иры. Я охвачен этим теплом, согрет, обласкан им.

— Ирочка!.. Ирочка!..

Может, и она в это время не спит. Раз Ирочка не спит, я тоже не буду...

Глава седьмая

Мы еще спали. Нас разбудил унтер-офицер Карташов.

— Мы потеряли вас. Оказывается, вы дрыхнете, — сказал он. Но в его словах не чувствовалось раздражения. Он говорил мягко, по-дружески. Новиков вскочил с постели:

— Что случилось?

— Уезжаем, лошади запряжены. Команда уже давно в пути. Давайте собирайтесь скорее!

Слова Карташова поразили нас как гром с ясного неба. Я спрыгнул с койки и начал одеваться. Новиков широко раскрытыми глазами уставился на Карташова.

— Ты что, не выспался? — улыбнулся унтер-офицер и хлопнул Новикова по спине. Тот слез с кровати и, отупело глядя на Карташова, спросил:

— Зачем так быстро уезжаем?

— Дело военное, — удивленно ответил

Карташов, — нас не спрашивают. Поручик так приказал.

И он заспешил на улицу. Между тем я уже оделся и начал укладывать котомку. Новиков все еще сидел, держа один сапог в руках, другой уже был на ноге. Я торопил его.

— Пошевеливайся, как бы не опоздать!

Он не ответил, молча стал одеваться. Я закурил и подошел к окну. Вчерашние события кажутся мне далеким сном. Не верится. «Неужели это было в самом деле?» — спрашиваю я. Мысли в голове плывут медленно и тягуче. Они полны сомнений. Вчерашняя ночь всплывает перед глазами чудесным миражом.

— Ну, чего застыл? — окликает меня Новиков.

— Да вот, задумался об Ирочке, — отвечаю я ему.

Котомку, которую Новиков держал в руке, закинул обратно на койку. Крайне взволнованный, он стал быстро прохаживаться по комнате.

— Я тоже думаю о них. Выбрали же время уезжать. Чтобы им сдохнуть! Хоть бы еще ночку побыть тут!.. Ведь мы даже не сможем их увидеть!..

Последние слова Новикова придали мне силы. Я быстро направился к двери:

— Ну, идем! — и шагнул за порог. Взяв котомку в руки, Новиков последовал за мной. Все лошади были запряжены, передние повозки уже двинулись к воротам. Мы торопливо уселись на бричке Карташова. Лошади тронулись. Наши глаза прикованы к окнам. На дворе не видно ни одной девушки, значит, они на уроке.

Одиннадцать часов утра, да, в это время они — на уроках.

Выехали за ворота, вдоль ограды спустились к мосту. В это время на лестнице веранды с южной стороны большого двухэтажного дома мы заметили двух девушек, одетых в белые платья. Новиков замахал им фуражкой. Они стояли неподвижно. Мы смотрели на них и махали фуражками. Девушки опустили головы вниз.

— Видишь, они плачут, — заметил растроганный Новиков. Мы надели фуражки и теперь ехали, глядя на девушек, которые все еще были видны отчетливо. К сожалению, дорога завернула в лес, скрылись из виду веранда и девушки, стоявшие на ней. Охваченные тяжелыми думами, мы сидели теперь, низко пригнув головы.

Карташов молчал, как будто не замечал нас. Но видя, что мы все еще смотрим назад, шутливо сказал:

— Да уж повернитесь сюда, за лесом все равно не увидите.

Нам было неприятно слышать эти слова.

— Пожалуйста, помалкивайте, — незлобно проговорил Новиков хриплым голосом. — Вас ведь не спрашивают.

Расстроенные, мы задымили папиросами. Карташов больше не сказал ни слова. На бричке нас трое, никто не начинал разговора, ехали тихо. Только кучер, погоняя лошадей, то и дело выкрикивал ругательства.

Глава восьмая

Мы приехали на базар. Почти все население местечка составляют евреи. На скотном

базаре — польские крестьяне. Не успели мы спрыгнуть с телеги, как к нам подошел казначей.

— Маклеры еще вчера купили скот, — заговорил он. — Крестьяне дожидаются денег. Иди, быстро принимай закупленный скот! По инструкции стельный и хворый скот принимать не положено. А остальное — упитанный или тощий — все принимай.

То были первые указания, которые я получил о предстоящей работе. Было над чем задуматься. Хотя я башкир и рос в башкирской деревне, но до сегодняшнего дня ни разу не покупал на базаре ни единой скотинки. Не приходилось определять упитанный ли скот или тощий, а о стельной скотине я ни малейшим образом не осведомлен. Даже никогда не приходилось видеть, как телится корова. Хотя я и находился в данный момент в действующей армии, но ни разу в своей жизни не резал ни кур, даже мышей не приходилось убивать. А сегодня я спец, гуртами должен принимать для армии скот и ставить свою подпись в приемочном акте.

— Пропала моя головушка!..

По дороге я рассказываю Новикову о своем положении. Он смотрит на вещи легко и просто:

— Да что тут задумываться? — горячился он. — Взял да и принял. Думаешь, эти пьяницы будут проверять? А со временем научишься...

Хочется сердиться на Новикова. Но однако сам себя утешаю: «Ну, ладно, попробую, может быть, и научусь». Но все же на душе неспокойно, боязно как-то. В голову лезут

мысли одна страшнее другой: «А вдруг какую-нибудь ошибку найдут, отдадут в полевой суд... расстреляют... наверное, с этой целью и послали нас нарочно сюда?..»

Мы подошли к скотному двору. У ворот поставлен стол, возле которого выставлены пять-шесть вооруженных солдат. Меня встретили два маклера:

— Вы будете принимать? — обратились они с вопросом.

— Да, я!.. — ответ мой прозвучал несмело. Мне указали место за столом. Прежде чем сесть, я бросил взгляд за ворота. Неожиданная картина предстала перед моими глазами — туда было загнано несколько сот свиней!.. С хрюканьем и визгом теснились во дворе вымазавшиеся в грязи свиньи. Увидев это отвратительное зрелище, я почувствовал, как дрожь пробежала по телу. Потемнело перед глазами. С трудом я уселся на указанное мне место. До сих пор я ломал себе голову, думая, что буду иметь дело с овцами, коровами. А теперь передо мной визжат свиньи, о которых мне и в голову не приходило: ведь ни деды, ни отцы наши никогда не имели дела с этой тварью. Пронзительный визг свиней раздирает уши; жгучим огнем пронизывает сердце. Хочется закрыть глаза, заткнуть уши и скорее убежать отсюда. Но это невозможно. Я не успел прийти в себя от этого зрелища, как подгоняемые сзади свиньи одна за другой, хрюкая и визжа, двинулись к воротам.

— Господин приемщик, — обращаются ко мне маклеры, — ну как, подходящая?

Что я могу сказать о свиньях, по уши вывалявшихся в грязи? Нет никакой возможно-

сти понять — хворые они или супоросые. У многих безобразно отвисли животы. Соски тащатся по земле. Сами они без конца хрюкают. Если их ощупывают покрепче, то поднимается визг. Я хочу поскорее избавиться от неприятно визгливых соседок и говорю:

— Ладно, подойдет!..

Не знаю, слышен мой голос в этом шуме или нет, но свиньи беспрерывным потоком идут и идут мимо меня. Глаза мои устали, уши оглохли; а перед моими глазами все мелькают то ноги, то животы, то уши, то маленькие закрюченные хвосты. Передо мной прошло несколько сотен свиней. Я сижу и повторяю, как попугай, одно и то же: — Ладно, подходящая!.. Ладно, подходящая!..

И вот как-то в голове мелькнула мысль: «Постой-ка, — подумал я, — надо показать, что все-таки я знаю свое дело. Почему бы не забраковать хоть несколько свиней!» От этой мысли я как бы внезапно отрезвел, немного вытянулся вперед и, широко раскрыв глаза, стал внимательно всматриваться в свиней.

Пробегают кругленькие, откормленные поросята. «Такие жирные, разве они могут быть хворыми?» — думаю я. Вот медленно выплыла огромная свинья, величиной она не уступила бы даже бегемоту. Брюхо у нее неприятно отвисло, множество сосков чуть не касается земли. Под брюхом сопрело или натерто — все красно. Сама она грязная, на вид просто страшилище. К тому же безостановочно похрюкивает утробным голосом.

— Это супоросая, уберите отсюда! — распорядился я. Солдаты, только и ждавшие этого, подталкивая ее прикладами, угнали в сто-

рону, свинья истошно завизжала. Тут же прибежал хозяин свиньи, старый крестьянин-поляк и упал к моим ногам. Он сорвал с головы шапку и стал умолять именем бога:

— Месяц прошел, как опоросилась. Не супоросая она. Свинья очень хорошая, породистая. Одного мяса в ней будет двадцать пудов. По нужде лишь продаю. Господин, а, господин, пожалуйста примите!

Я оказался в очень неудобном положении. Не знал, что и сказать. Вконец растерявшись, я про себя решил ничего не отвечать. Солдаты подняли крестьянина за руки и увели от стола. Дальше дело шло по-прежнему, я машинально выпаливал:

— Ладно, пойдет! — и пропускал всех свиней.

На этом базаре ни овец, ни коров не попалось. Мы накупили одних свиней. Я был ошеломлен всем виденным, оглушен визгом и хрюканьем свиней. Вернулся на квартиру отупелый, усталый и тут же завалился на кровать.

Лежу, покуриваю и думаю про себя: «Только вчера, забыв все на свете, я сидел рядом с Ирочкой, ощущал на своем лице прикосновение ее жаркой щеки и мягких волос. То были самые дорогие и сладкие минуты в моей жизни. А сегодня я оказался среди страшных, отвратительных свиней». От их визга такое ощущение, словно тупым ножом режут мне сердце. Мысли об Ирочке, воспоминание о ней доставляют мне наслаждение, но и в эти минуты я все не могу освободиться от виденного и услышанного: в ушах то и дело звучит противный визг и хрюканье.

Вечером мы с Новиковым долго не могли уснуть. Переговаривались, строили разные планы:

— В одну из ночей добраться до приюта, где живут Ирочка и Женя, забрать их и под видом польских крестьян-беглецов убежать в Россию... Или отправиться обратно на фронт, поранить там самих себя, попасть в лазарет, затем получить отпуск и приехать к девушкам в приют.

Но ни один из наших планов не приемлем, вряд ли их можно осуществить. Понимая несбыточность своих проектов, мы перестаем разговаривать и подолгу лежим молча. Но вот Новиков не выдерживает, соскакивает с места, словно ужаленный, и быстро начинает расхаживать из угла в угол. Он ругает на чем свет стоит всех и вся.

— Подумать хорошенько, так из кожи, пожалуй, вылезешь. Ну, прикинь сам, из-за кого и за каким чертом мы тут мытаримся? А все из-за того, что народ еще глупый. Разве пошли бы в огонь, как стадо баранов, если бы люди не были глупыми? Коль на то пошло, они даже глупее баранов. Поди-ка, попробуй баранов загнать в огонь. Черта с два! Расстреливай на месте, и то не пойдут. А мы, глупцы, лезем. А что мы за это получаем? Кукиш! — Он на минуту задумывается и продолжает с тем же пылом. — Если бы разъяснить это людям, открыть им на все глаза, ни один бы не пошел. Война уже давно бы прекратилась, даже, может, и не начиналась. Возьми нас с тобой: ведь только-только увидели свет и начали понимать жизнь... В такую пору жизни накроет тебя снаряд и раздавит как муху, ка-

ково тогда! Ну, какая мне польза от этой войны? На кой она мне нужна? Кому она выгодна? Конечно, не нам. А богачам, что лежат себе в тылу и катаются как сыр в масле. Есть ли среди нас хоть один солдат из богатой семьи? Нет, все бедняки. Всюду бедные кладут свои головы, они только и мучаются везде. Если уж говорить начистоту, то ни одного выстрела не надо бы нам делать. А мы, дураки, сутками не смыкая глаз, голодные, холодные находимся под огнем, гибнем, как мухи, без всякой цели.

Новиков проговорил все это, глядя куда-то вверх. Я с особенным волнением прислушивался к его словам. Когда он опустился на скамью и закурил, я встал с постели и, накинув на плечи шинель, уселся напротив. Сон как рукой сняло.

— Да, если подумать, оно, конечно, правильно... — сказал я.

Скоро уже полночь, а мы все еще сидим. Вспомнили Байгужу, Буранбая, Индрила, которые остались в окопах. Мы давно уже собирались написать им письмо. Но дни как-то проходят один за другим, а мы все не соберемся. Частенько бываем и свободны, а написать письмо времени не можем выбрать. Говоря правду, просто нет подходящего настроения. На душе неспокойно: она полна смутных волнений, да и сердце тоже не на месте. Когда находились в окопах, круг наших солдатских желаний был очень узок. Свист пуль, грохот снарядов не давали нам сосредоточиться на какой-то мысли, не было возможности задумываться над чем-либо. Мысли затуманены, чувства огрубели. Лишь два животных ин-

стинкта владели нами: один — это самосохранение, второй — желание как-то набить голодный желудок. Теперь, когда мы отошли от передовых позиций далеко, пребываем на свободе и в безопасности, окопные ужасы предстают перед глазами во всей своей губительной необъятности. Любой эпизод войны, всплывающий в памяти, огненными тисками сжимает сердце. Мирские радости, жизнь со всем разнообразием ее наслаждений и счастливых будней — раньше были не доступны нам, а теперь хочется свободно владеть всеми этими дарами жизни. Желание беспрепятственно обладать всем тем, что предоставляет человеку сама жизнь, волнует, горячит сердце и открывает широкий простор сладким думам и мечтам, зовет к тому, чтобы эти неясные мысли были претворены в жизнь.

Обычно опытные охотники, выезжая в поле, ведут своих собак на поводках. Собака в это время бывает возбуждена, разгорячена охотничьим азартом. Она с нетерпением ждет минуты, когда ее спустят на зверя. Но она не ведает о том, когда именно появится зверь, который, спасаясь, мелькнет где-то впереди. Она ждет этого сигнала от своего хозяина-охотника. И, наконец, наступает для нее долгожданный миг. Неожиданно появляется зверек. Подан сигнал «пиль!» — с налитыми кровью глазами возбужденная гончая срывается с цепи и со всех ног устремляется вперед. Ничего она уже не замечает вокруг, — будь то огонь или вода, овраг или камни — различает лишь удаляющуюся точку зверя перед собой. Разгоряченное сердце гончей бьется одним порывом — догнать, настигнуть впе-

реди точку. В ней для нее теперь заключено все...

Так и наши думы и мечты сегодня, подобно спущенной с цепи разгоряченной гончей на охоте, — стремительны и порывисты. Наши думы и мечты тоже устремлены к одной желанной точке — точке свободы. Нет возможности их остановить, обуздать их.

По утрам мы стали пробуждаться с опозданием. И сегодня вот вестником утра к нам пришел снова унтер Карташов. Когда он разбудил нас, было уже десять часов. Карташов посмеялся над нами:

— Вы, я вижу, совсем барами стали! Вас обязательно надо будить. Может быть, вам и одежду подавать?

Новиков почему-то на этот раз изменил своей привычке, к унтеру не придрался. Наверное, потому, что Карташов говорил не всерьез, его слова прозвучали полушутливо. Новиков ответил ему в очень серьезном тоне:

— В окопах мы месяцами не спали по-человечески. Надо хоть теперь поспать. Кто знает, может, завтра снова погонят в окопы.

Карташов вышел. Как только за ним закрылась дверь, снова перед моими глазами предстало стадо хрюкающих, визжащих свиней. Казалось, даже вонючий навозный запах, исходящий от них, проник в комнату и ударил в нос.

Глава девятая

В деревне, куда мы приехали за покупкой скота, на улицах разъезжали казаки; на углу маклеры сообщили:

— Сегодня здесь базара не было, разогнали казаки.

Мы удивились. И в самом деле, на улицах народу не было. В окнах домов видны лица, прильнувшие к стеклам. Всмотришься внимательней и разглядишь, что у окон стоят люди тесными группами, выглядывают из-за затылков друг друга. Мы заметили, что многие смотрят на нас с опаской. Иные опускают занавески или же отходят от окна в глубь комнаты. По улице на покосившейся телеге едет старик еврей. Пытаясь быстрее выбраться отсюда, он старательно погоняет свою лошадь, навстречу ему спешат около сотни казаков. Один из казаков подъехал к нам и попросил прикурить, мы спросили у него:

— Почему разогнали базар?

— Бунтуют евреи и поляки, — последовал ответ. И казак тотчас же ускакал. Мы повернули к постоялому двору. Пока не поступил приказ от начальства, решили перекусить и покормить лошадей.

Заехав в постоялый двор, мы стали приводить себя в порядок после дороги, умылись. В это время к нам подошел один старый поляк. Похоже, что в свое время старик был стройным и красивым. На ногах у него старые головки от сапог, одет в короткие изношенные брюки, на плечах затасканная солдатская шинель, а на голове фуражка без козырька. Но даже эти лохмотья не могут скрыть его статной фигуры, черты лица у старика правильные, в больших глубоко запавших глазах написано отчаяние. Он попросил у нас хлеба. Новиков взял с возу свою котомку и, вынув буханку, отрезал кусок старику. Мы не стали

спрашивать, кто он и откуда, поляк принял от Новикова хлеб и, сунув его за пазуху, сам обратился с вопросом:

— Из каких краев будете?

— С Урала мы, — ответил я ему.

Он уселся у крыльца и с довольным видом заговорил:

— Конечно, вам самим достается тут на войне. Но родители ждут вас у себя дома, в тепле, уюте. А нам вот куда тяжелее. Был у меня единственный сын и тот на фронте. Дом остался на передовой. Никого теперь у меня нет — ни семьи, ни дома. Один-одинешенек...

— Где же твоя семья, старик? — спросил я.

Он склонил голову вниз. Капли слез брызнули из его глаз. Мне тяжело было смотреть на это, я отвернулся и стал скручивать цигарку. Старик продолжал свой рассказ, в его голосе звучала невысказанная боль.

— Уж ты не спрашивай, солдат, — сказал он. — Фронт еще далеко был от нас. Немец кинул с аэроплана бомбу, а я был в поле. Сгорели моя больная старушка и невестка тоже... Она бросилась в дом за своим грудным малышом. От дома осталась только куча пепла. Разве я один такой, тысячи нас, десятки тысяч. Пашни наши изрыты, изуродованы, дома разрушены по всему фронту. Сколько народу с малыми детишками осталось без крова, под открытым небом.

Жгучие слова у старика вырываются из глубины сердца. Он говорит о пережитых ужасах фронта, о горе и несчастье, свалившихся на головы сотен и тысяч. Его слова звучат

отзвуками зловещей музыки, свидетельствующей о трагедии народа.

Из дома вышел утомленный сухощавый еврей. Видимо, он прислушивался к словам старика. Оттолкнувшись от них, еврей заговорил о случае, происшедшем сегодня на базаре.

— Ай-яй, как нехорошо делают. Казаки уж больно нехорошо делают. Ведь вы, ребята, тоже крестьянские дети. Сами подумайте, только подумайте. Крестьяне, что оказались рядом с фронтом, подали царю прошение. Просили его, чтобы он поскорее заключил мир. Ответа на прошение нет и нет. А сегодня вот крестьяне собрались на базаре и начали шуметь об этом. Поэтому казаки сегодня и обшарили всю округу. Крестьян арестовали. Лавки у евреев разграбили. Но при чем же здесь еврей? У него же нет земли. И прошения к царю он не писал. Ай-яй, ай-яй, казаки нехорошо поступают. Ай, нехорошо.

Видимо, еврей испугался нас, он тотчас же скрылся за воротами. Из-под сарая вылезли несколько крестьян, скрывавшихся там, и, подойдя к нам, присели у нашего круга. Мы с Новиковым прислушались к их разговору. Все мысли крестьян были заняты прошением и тем, что произошло сегодня на базаре. Когда время начало клониться к весне, ими было подано несколько прошений, их суть в целом сводилась к одному:

«Приближается весна, — писали они, — скоро подойдет сев. Вся наша земля и хозяйство остались в прифронтовой полосе. Если мы не сумеем посеять хлеб, земля будет пустовать зря. Семьи снова станут голодать.

Теперь нам нечем заняться. Положение наше тяжелое. Умоляем вас, великий император: ради всей страны, ради слез народов, страдающих от войны, к севу добейтесь мира».

Здешние крестьяне, надеясь на свое прошение, ждали мира. Адвокаты, которым они заплатили за написание прошения, уверяли их, что император обязательно прислушается к их просьбе. Наконец, терпение у народа иссякло. Наступила весна. Время сева уже проходит, а о мире пока ничего не слышно. Доведенные до отчаяния крестьяне собрались на базаре и, посоветовавшись между собой, пошли к адвокату. Решили его задушить и выбросить. Адвокат успел скрыться, тогда свое зло за неудачу с адвокатом крестьяне решили выместить на приставе. Тот тоже удрал. Крестьяне перебили в его доме окна. Напали на военный склад. Но волнение крестьян не успело разрастись, как налетели расположенные поблизости казаки и подавили движение. Мы как раз приехали к концу этого события.

Узнав обо всем происшедшем, Новиков сильно взволновался. Сначала он долго и очень внимательно слушал, подперев обе щеки ладонями. В разговор крестьян не вмешивался, но потом начал крыть казаков.

— Вот и нашли себе внутренних врагов. Ай, какие молодцы, ну и ну... Бьют безоружных, беспомощных голодных мужиков. Ишь герои, пусть бы шли на фронт. Да где там, на передовую их и калачом не заманишь. Туда загоняют таких, как мы. А эти казаки лежат тут в тылу и жиреют, грабят крестьян...

Гневные, смелые слова Новикова крестьянам пришлись по душе. В знак согласия с Но-

виковым, они широко улыбались и покачивали головами. Между тем в окно выглянул унтер Карташов и позвал нас:

— Идите чай пить...

При крестьянах Новиков еще как-то сдерживал себя, но за чаем он разошелся вовсю. Проклинал и казаков, и генералов, и войну. И ругал их на чем свет стоит. До этого молчавший Карташов возразил Новикову:

— Какой толк от нашей ругани? Тут, брат, дипломатия, потому вот и приходится воевать.

Вид у Карташова был такой, будто он сказал что-то многозначительное. Он сидел важный, со снисходительной улыбкой в глазах и ждал, что скажет теперь Новиков. Слова унтера лишь раззадорили Новикова, он мгновенно вспыхнул.

— Дипломатия, говорите! Для кого дипломатия? Не для нас, не для крестьян, только для самих себя! Народ вот темный. Если бы он был немного поумнее, ни за что не пошел бы на войну. Что сегодня произошло, видели? Они теперь стали немного понятливее. Ума малость набрались. Конечно, быстро поумнеешь, коль сзади начнут подпирать штыками. Поднимись вдруг все — и крестьяне, и рабочие — посмотрел бы, куда бы убрались эти самые казаки. А солдатам война тоже давно осточертела!

Рассуждения Новикова явно задели Карташова. Он поставил чашку на стол, вытер со лба пот и, придвинув ближе к Новикову свой стул, принялся спорить:

— Ты повторяешь слова социалистов, это для них нет ни своей родины, ни своей нации. Они анархисты. Ну, подумай сам: если мы у

себя в стране допустим бунт, то хозяином над нами станут немцы. Они сядут нам на шею. Ну, кому от этого польза? То-то вот, дурная голова.

— А вы сами-то как думаете, господин Карташов? — прервал его Новиков, с сердцем ударяя кулаком по столу. — У немцев что, нет крестьян, рабочих и бедных? По-вашему, они тоже воюют по своей воле? Всякое может случиться, если война так затянется надолго.

Карташов не стал больше спорить. Он поднялся из-за стола. Настроение у Новикова улучшилось, он заулыбался. Карташов ходит по комнате, посвистывает, а Новиков все говорит свое и с удовольствием попивает чай. Время от времени и Карташов многозначительно и напевно повторяет:

— Да... да... — затем снова продолжает насвистывать. Я подмигиваю Новикову. Когда Карташов поворачивается спиной, Новиков строит ему рожу, и мы оба хохочем. Видно, Карташову не понравилось наше поведение, он сорвал с гвоздя свою шинель и, накинув на плечи, вышел из дома.

— Этот несчастный, — начал Новиков, как только дверь за унтером захлопнулась, — наверно, рассчитывает на повышение. С такой образиной ни за что не дождаться ему прапорщика. Тем же унтером и вернется домой. А сам куда как держится заносчиво, видно, считает себя очень умным.

Немного отдохнув, мы вышли на улицу. У ворот столкнулись с Карташовым.

— Сегодня переночуем здесь, а завтра поедем в другой пункт, — сказал он сухо и торопливо прошел к крыльцу. На улице стало

людно. Евреи открыли свои лавки и приступили к торговле. Мы заглянули в лавку напротив нашего дома, купили папирос. Пока курили, договорились написать товарищам в полк письмо. Решили описать подряд все, что видели и пережили здесь. Между тем Карташов опять вышел из дома и обратился ко мне:

— Вы сходите к казначею, — сказал он официальным тоном, — вас вызывают туда подписать протокол.

Я торопливо зашагал к казначею. Завернув за угол, я увидел, как из ворот одного дома под конвоем казаков вышло около полсотни крестьян. Одежда на многих изодрана, были они худы и печальны. Несколько конных скакали впереди крестьян, очищая дорогу, они загоняли во дворы всех, кто попадался на улице. Я тоже скрылся за ближайшими воротами. Подождал пока они пройдут. За арестантами увязалось несколько женщин с детьми. Казаки их отогнали от группы арестованных и тоже загнали в ворота.

Я вошел в дом, где располагался казначей. Поставил свою подпись в приемном акте.

— Больше нет никаких дел? — спросил я и уже приготовился было уходить, как меня позвал в свою комнату поручик Алексакин.

— Ну, здоров?

— Здоров, ваше благородие!

Глаза у него опухли, голос хриплый, видно, только что встал с постели. Он прикуривает, а я все еще продолжаю стоять перед ним.

— Вам, кажется, война не по душе, а? — спросил он неожиданно и испытующе посмотрел прямо мне в глаза.

— Никак нет, ваше благородие! — ответил я четко.

Он усмехнулся в усы. Над его нерасчесанными, топорщащимися усами вился папиросный дым.

— А я слышал, — сказал он и постоял некоторое время в задумчивости. Затем буркнул «мда» и, набрав в грудь воздуху, опять посмотрел мне в глаза.

— Говорят, — начал он снова, — что вы сочувствуете крестьянам-бунтовщикам. Правда ли это?

— Никак нет, ваше благородие!

— А твой товарищ Новиков? Может быть, не ты, а он сочувствует, а?

— Не могу знать, ваше благородие!

Алексакин вдруг вспылил и заорал, топнув ногой:

— Врешь, сволочь! Вон, марш отсюда!

Ноги мои затряслись. Я с трудом повернулся и вышел. Торопливо шагая домой, то и дело оглядывался назад. На улице было пусто. Я спешил как можно скорее рассказать Новикову о случившемся.

Было ясно, что дела обстоят не блестяще, вряд ли все это могло кончиться добром. У самого дома я вспомнил о Карташове. Ведь никто другой не мог передать наш разговор поручику. Это, конечно, он пересказал поручику Алексакину слово в слово все, что говорилось за чаем. Я был твердо убежден в этом. Новиков сидел у окна и писал письмо. Он, конечно, заметил, что я чем-то взволнован и растерян.

— Ну, что там, что стряслось? — отложив карандаш, он бросился ко мне навстречу. От

волнения и гнева, клокочущих в моем сердце, я не мог ничего рассказать толком.

— Карташов там донес! С доносом бегал к поручику! — выпалил я наконец. Новиков тут же понял, о чем я говорю. Он схватил с подоконника начатое письмо, разорвал его в клочья и выбросил за окно. С видом человека, который собирается с кем-то подраться, он поправил ремень и спросил:

— Меня вызывают? — решительно направился к двери.

— Не знаю, — ответил я.

Карташова все еще не было. Конюх сообщил нам, что он пошел к командиру. Мы с минуты на минуту ждали, что Новикова вот-вот позовут к Алексакину. А сами между тем подготовили разные варианты ответов. Вышли из дома и уселись у ворот. Из-за угла показался солдат, мы приняли его за посыльного поручика Алексакина, но он прошел мимо. Мы пошли в одну из еврейских лавок и выпили несколько бутылок пива. Так до самой ночи мы ходили, обеспокоенные ожиданием вызова. Но поручик Новикова не вызвал. Перед тем, как укладываться спать, горделиво вошел Карташов и торжествующе сообщил:

— Поручик Алексакин отдал приказ. Завтра же вы отправитесь в свою часть!

Мы выслушали приказ совершенно спокойно, потому что ожидали худшего. Для нас же этот приказ показался очень мягким, даже почему-то выгодным.

— Что же, окопы для нас не новость, — заметил Новиков.

А с Карташовым мы спорить не стали. Как путники, которым утром предстоит доро-

га, тут же улеглись спать. Особого беспокойства как-то не испытывали.

— Товарищей своих увидим! — сказал я.

— Да, конечно, увидим товарищей, — поддержал меня Новиков. — Давай лучше будем спать!..

Он натянул на себя шинель и лег, свернувшись калачиком. Перед моими глазами долго еще стояли Байгужа, Индрил, Буранбай, которые в эту минуту находились в окопах. Занятый думами о них, я незаметно уснул...

Глава десятая

Наш 286 Пошехонский полк перебрался на левый фланг и располагается теперь в соседстве с Сибирской дивизией. В этих краях туговато с водой: ни речек, ни озер тут нет. Возле нашего штаба имеется колодец, у которого каждый день выстраивается длинная очередь.

Худые с пожелтевшими лицами малыши где-то достают воду, приносят ее солдатам и выменивают у них хлеб. Шныряют около кухни, подбирают хлебные корки, картофельные очистки и тут же уплетают их в сыром виде. Во время передышек на фронте вездесущие мальчишки добираются порой до передней линии и среди солдат набирают себе немало съестного. Как-то мы спросили у одного пацана:

— Как ты не побоялся остаться здесь! Где живешь, где ночуешь?

Он отодвинул на макушку сползшую к самым глазам фуражку и деловито, с видом взрослого, пояснил:

— Деревню нашу немцы захватили ночью. Наши переехали в другое место. А я заблудился. Куда же мне податься? Вот и хожу здесь.

И он тут же предложил нам свою воду в ржавой консервной банке. Мы взяли у него воду и дали ему небольшой кусок хлеба.

По всему фронту теперь объявлена облава на бродячих детей. Полевая жандармерия мало-помалу вылавливает их. Подозревают этих ребят чуть ли не в шпионаже, но солдаты пытаются помочь беспризорным малышам, как могут оберегают их от жандармского террора. Ребята все в солдатском обмундировании. Обычно они стаскивают с убитых солдат шинели, гимнастерки, подрезают рукава и полы и натягивают на себя. Но все же они не перестают быть детьми, увлекаются различными игрушками. Таскают в карманах множество патронов, обойм, снарядные головки, запалы от гранат. Среди малышей попадаются и такие, которые получили раны от неосторожного обращения с гранатными запалами. Многие из них, так же как и солдаты, погибают от немецких снарядов и бомб, сброшенных с аэропланов. Немецкие летчики, заметив группы копошащихся в развалинах ребят, обязательно сбрасывают бомбы. Видимо, с воздуха принимают их за настоящих солдат.

Наш полк находится в окопах. Мы каждый день вспоминаем своих товарищей, находящихся там. Но сами в штабе полка все еще не показывались. Путаемся в полковом обозе. Здесь мы познакомились с солдатом башкиром Юсупом Бакыйбаевым. Он из Оренбургской губернии, Усергянской волости. Он кор-

мит нас, каждый день приносит поесть, откуда-то достает. Мы с ним сдружились. Он хочет оставить нас у себя в обозе.

— Я поговорю с начальником. Лучше оставайтесь здесь! — искренне уговаривает он. Но почему-то нам не хочется застревать в обозе.

Здесь, в сравнительной близости от фронта, мы с Новиковым частенько начали заводить разговоры о Жене и Ирочке. В деревнях, где мы возились со скотом, тоже все время вспоминали о них, но неудержимого желания встретиться с ними, увидеть их в нас тогда еще не было. Перед тем, как отправиться в окопы, стремление увидеться с девушками овладевало нами все сильнее. Хотелось до конца насладиться счастьем встречи с Женей и Ирочкой. Сердце чуяло, что, попав снова в окопы, мы уже никогда больше не испытаем тех радостных мгновений и девушек больше не увидим. В минуты, когда мы, растянувшись на зеленой траве, молча лежим, глядя в бездонную синеву неба, Новиков настраивается лирически: — Чертенята, — вздыхает он от души, — какие они красивые и ласковые! А фигуры, а лица, а глаза — все как у настоящих красавиц. Было бы мирное время, они и глазом бы на нас не повели, а сейчас вот они любят нас. Ни разу в своей жизни я еще не любил девушек, да и меня ни одна девушка не любила. Знаешь, это у меня в первый раз.

Я молчу, занят своими думами. Он говорит о своем, а я переживаю свое. Он не отстает, с детской наивностью спрашивает:

— А ты любил когда-нибудь?

Я отвечаю на его вопрос не сразу. Мне неудобно говорить ему о Нине.

— Что-то подобное случалось, — признаюсь я, но не до конца раскрываю свою тайну.

Он поднимается и, придвинувшись, садится возле меня.

— Ну давай, рассказывай, наверно, интересно было. В самом деле, когда это было, где и как? Расскажи-ка, Булатчик, расскажи!

Я начинаю раскаиваться в своем признании. А он все настаивает. Обижается, что я заставляю себя упрашивать. Ничего не поделаешь, у Новикова сегодня такое настроение, что ему во что бы то ни стало хочется продолжить, растянуть разговор на сердечную тему. Я не устоял. Наконец довольно-таки обстоятельно рассказал ему о том, что произошло между мной и Ниной в Бузулуке. Он слушал меня с особой чуткостью и каким-то внутренним волнением. Когда я кончил свой рассказ, Новиков сказал:

— Ты ее не любил, а она любила тебя. Конечно, так может случиться. Но Нина вряд ли была такой красивой и ласковой, как Ирочка. Я знаю самарских девушек. Они обычно грубые, полные, с толстыми икрами. Наверное, и Нина твоя была такой же.

Говоря это, Новиков словно заглядывал мне в душу и читал открытую книгу. Сравнивая Нину, которую не видел, с Ирочкой, он был прав в оценке ее достоинств. В самом деле, Нина была полной, как сдобная булка, с пухлыми красными щеками, просто кровь с молоком. Стройная фигура, прекрасные черты лица, длинные ресницы, из-под которых жгуче блестели черные глаза, — все, чем щедро наделила Ирочку природа, в Нине отсутствовало. Конечно, и Нина по-своему была девуш-

кой довольно-таки симпатичной и привлекательной. Но этих слов совершенно не достаточно для того, чтобы охарактеризовать Ирочку. Красота ее так же пленительна и неотразима, как прекрасна голубизна моря, залитая в штиль солнцем. Когда ты рядом с ней, то чувствуешь, как вся она притягивает к себе твое внимание. Потому-то так трудно, говоря о ней, ограничиться двумя-тремя словами. Ничего не скажешь, в данном случае догадки Новикова были справедливы и вполне уместны. Теперь Ирочка для меня — далекая и прекрасная мечта. Как хочется, чтобы эта мечта хоть на один день, даже на один час стала реальной явью. Она-то и есть та основная причина, которая руководит нами в нашем желании как можно дольше не показываться в полку, в стремлении отсрочить день явки в полк.

Порой Новиков высказывает такие предложения, осуществление которых совершенно невозможно.

— Может, нам взять да съездить к ним, а? — говорит он увлекаясь, — самое большое отсюда до них — верст пятьдесят. Один день туда, один день — на обратную дорогу. А потом уж можно и в окопы...

Это лишь всего-навсего вопль отчаяния. Ему самому, конечно, отлично известно, что пока мы сумеем пройти пятьдесят верст туда и обратно, нас успеют сорок раз задержать, арестовать и препроводить под конвоем.

Наконец решили написать им письмо. Мы знали, где располагается приют. Но — глупцы недогадливые! — забыли узнать фамилии и Жени и Ирочки. Черт их знает, сколько там проживает девушек, имеющих такие имена.

Правда, мы им дали свой адрес. Нас ждет Пошехонский полк, куда теперь и следуем. Причина нашей недогадливости легко объяснима — это молодость, неопытность.

Невдалеке от нас рвутся тяжелые снаряды. Над головами пролетают аэропланы. Мы не обращаем на них никакого внимания, для нас это давным-давно знакомые и привычные звуки. Я сбегал за водой. Новиков чистит картошку. Мы думаем сварить вкусный суп с мясными консервами, которые принес нам Бакыйбаев. Возле полкового обоза околачивается одна полячка, которая здесь добывает себе пропитание. Хотя мы и не просим ее носить нам сухие дрова, она помогает разжигать огонь, дает советы, сколько надо наливать воды, сколько соли класть. Новиков ее советов не слушает.

— У нас иные вкусы, поэтому и поступаем по-другому, — говорит он пренебрежительно, продолжая заниматься своим делом. А полячка между тем заводит разговор о другом.

— В молодости я у одного пана в кухарках служила. Каких только вкусных блюд они не едали. Иной раз вспомню, так аж слюнки текут. Когда было из чего варить, то и я мужу своему, бывало, такую вкусную еду готовила.

Ни я, ни Новиков ее не слушаем. Она перестает говорить и сидит, уставившись на приплясывающие языки пламени. Муж этой полячки на войне, дом остался на территории, захваченной немцами. Она все тоскует о родной сторонке, вспоминает свой дом. С особой сердечной болью говорит об оставшейся у нее дома швейной машине. Она была швеей. Кормилась этим ремеслом, одевала себя. Даже

мужу посылки посылала, деньги слала. Теперь вся ее жизнь осталась на той стороне, за линией огня.

Сюда она попала случайно. Как-то вместе с другими беженцами, на одной из станций, эта полячка ждала поезда, чтобы отправиться в Россию. Каким-то образом до нее дошла весть, что деревня отбита нашими от немцев. Поверив случайному слуху, она вернулась обратно. Вернулась и увидела, на фронте никаких перемен нет. Когда она стояла, не зная куда бы податься, к ней подошел какой-то каптенармус из нестроевой команды. Каптенармус попользовался ею. Некоторое время возил с собой, а когда она перестала быть нужной, бросил. Теперь она живет в обозе нашего полка. Начальство и отсюда гонит ее. Только обозники прячут ее у себя. Сегодня она таскает для нас дрова, после еды моет нам котелки, ложки и чашки. Мы предлагаем ей хлеба, она не берет.

— Самим еще пригодится. Меня тут кормят в обозе, — говорит она. Полячка почитает нас, пытается услужить. Никакого значения этому мы не придаем. Мы живем, углубленные в свои дела и мысли.

Вечером, в тот момент, когда мы кипятили чай, вдруг Новиков закричал диким голосом и стал ругаться. Лежа возле землянки, я в это время писал письмо. Тотчас же вскочил на ноги и прибежал на голос. Прибежал и остановился как вкопанный, не веря своим глазам. Новиков разгневался, вцепился в горло полячки и таскал ее по земле.

— Ах ты, баба распутная, проститутка! — вскрикивал он. Я заступился за женщину и

вырвал ее из рук Новикова. На ней не было лица, глаза испуганно расширены, дышала прерывисто и с хрипом. Сама незлобиво ворчала:

— Вот дикарь, шуток не понимает!.. Чуть не задушил!..

Новиков остыл так же быстро, как и вспыхнул. Поглядывая на полячку, он иронически усмехнулся и заговорил:

— Может, ты меня за обозных приняла? Я не такой человек, грязными делами не занимаюсь!

Мы притихли. Полячка отошла в сторону от огня и заплакала, послышались тихие всхлипывания. Новиков лег на землю ничком, поглядел на огонь и стал прикуривать. Я смотрел то на Новикова, то на полячку, затем подошел к ней и, не зная, как ее успокоить, спросил:

— Что случилось? Зачем плачешь?

Она не отзывается, продолжает всхлипывать, плечи ее вздрагивают.

— Чего доброго, — засмеялся лежавший у костра Новиков, — она еще и тебе предложит свои услуги.

Только теперь я понял, в чем тут дело.

Пока мы подкрепились вечерним чаем, стало темно. Взяв у обозников брезент, разостлали его на земле. Ясная чудесная ночь, однако прохладно. Молодая травка окроплена вечерней росой, от нее тянет холодком. Небо чистое, оно усыпано бесчисленным множеством звезд. Только западный край неба, тронутый красным отсветом взлетающих ввысь ракет и лучей прожекторов, окрашен в цвет крови, напоминает огромное пожарище. В вечерней тиши-

не далекие глухие взрывы снарядов кажутся очень близкими. Мы с Новиковым лежим молча, смотрим на далекие звезды и думаем каждый о своем. Не знаю, о чем именно задумался Новиков, а мои мысли разбегаются во все концы. Иногда перед глазами встают картины жизни у себя в родной деревне. Я никак не могу найти смысла этой войны и тех невзгод и унижений, которые мы терпим здесь на войне.

Новиков поднялся с места и, поворошив тлеющие под пеплом угольки, прикурил папиросу. Затем подошел к той телеге, возле которой устраивалась полячка, и заговорил теплым, задушевным голосом:

— Дорогуша моя, зачем же ты мучаешься здесь? У тебя есть муж. Останется жив, вернется с войны. Руки у тебя умелые, шить умеешь, тебе нужно уходить отсюда. Устраивайся где-нибудь на работу. Иначе здесь дождешься, что убьют тебя, как собаку.

Последние слова Новикова прозвучали очень мягко и как-то по-родственному тепло. Такая задушевность случается с ним весьма редко. В эту минуту он был особенно нежен. Почему-то мне было тяжело слышать из его уст такие душевные слова. Чтобы его больше не слушать, я с головой укрылся шинелью. Кажется, слова Новикова и на полячку оказали сильное воздействие, она заплакала по-детски, навзрыд. Новиков отошел от нее. Вернувшись, улегся на свое место и глубоко вздохнул. Через некоторое время утихла и женщина. Чтобы Новиков не заговорил со мной, я прикинулся спящим и захрапел, хотя спать мне совсем не хотелось. Издалека доно-

сится гром пушек. Поблизости фыркает обозная лошадь, это воспринимается как чей-то предсмертный хрип и вызывает в душе тревогу. Я думаю о Байгуже, Буранбае. Только из-за них хочется попасть на позиции, хочется поговорить с ними. Где-то недалеко в лесу потрескивают сухие ветки, шуршат прошлогодние листья и травы. Это лесные обитатели вышли на ночной промысел. Будь я такой же свободный, как они, ни единой минуты бы не задержался в этом лесу. Быстрее бы удрал в тихие леса, куда не доносится гул пушек и грохот снарядов. А они, беспечные, разгуливают тут...

Утром, когда мы встали с постели, полячки на месте не было. И в обозе мы ее не увидели. Оглядев ближайшие окрестности, Новиков заметил:

— Наверное, ушла!..

Я ничего не сказал. Больше разговора об этой женщине между собой мы не заводили. Впереди нас ждали новые дела, новые заботы.

Глава одиннадцатая

Когда мы вернулись на передовые позиции, нас встретили Байгужа с Индрилом. Радостный Байгужа сдержанно улыбался одними губами, а Индрил обнял обоих нас и поцеловал. Мы подошли в тот момент, когда над окопами начали сгущаться сумерки. На фронте было сравнительно тихо. Лишь наши снаряды пролетали над головами, рвались далеко за линией немецких окопов. Индрил ввел нас

в блиндаж. Он не стал ни о чем расспрашивать, заговорил с легкой иронией:

— Счастливые вы, однако, черт бы вас побрал! Наши готовятся к наступлению, видать, вы и торопились сюда, чтобы поздравить нас.

Но известие о предстоящем наступлении мы выслушали хладнокровно. Я поспешил осведомиться о Буранбае:

— Где Буранбай?

— Буранбай? — моментально подхватил Индрил. — Он у нас счастливчиком оказался. Когда ходил за водой, его легонько царапнуло в руку. Теперь лежит в дивизионном лазарете. По крайней мере, во время наступления его здесь не будет...

Мы с Новиковым оглядели окопы. Они сейчас не те, что были зимой, совершенно иные. Вырыты глубоко, блиндажи сооружены крепко, внутри сухо и просторно. Если не угодит прямо тяжелый снаряд, против легких вполне устоит. Мы высказались одобрительно по поводу прочности блиндажа. Байгужа на это довольно холодно заметил:

— С самого начала, как только перебрались сюда, мы все время рылись в земле, укрепляли позиции! Много нашего пота пролито здесь... — и махнул рукой.

Тем временем в блиндаж вошел Тарас, тот старый солдат, с которым мы встречались еще когда впервые очутились в окопах. Оказалось, что он здесь успел подружиться с нашими товарищами. Тарас встретил нас, как родных:

— Яким вітром вас кинуло сюди. А ми тут, грішним дилом, думали, що вы назавжди уйшли вид нас.

Видно, слова старого солдата Тараса задели Новикова. Тень обиды легла на его лицо, и он раздраженно заговорил:

— Да уж вряд ли нашему брату удастся вырваться из окопов. Чтобы работать там, в интендантстве, нужно прежде даже несчастным ефрейторам целовать ноги. В крайнем случае, надо быть подхалимом. Тогда только и уживешься. А наши языки к этому не привычны, они у нас крючковатые. Вот и подвели.

После этих слов Новикова никто больше ни о чем не стал спрашивать. Все было понятно и без слов. На время установилась тишина. По выражению лиц наших товарищей было заметно, что они в душе сочувствуют нам, жалеют нас. Тарас молча стал скручивать цигарку. Вдруг лицо Новикова просияло.

— Черт побери, — заговорил он таким тоном, словно собирался поделиться самым дорогим, что было у него на сердце. — Понимаете, удивительный случай приключился с нами!

Все уставились на него и ждали, что он скажет.

— Ну, давай выкладывай! — торопили товарищи. Новиков погладил свою грудь и на время застыл, словно вспоминая что-то. Я уже заранее догадался, о чем он будет говорить. Но вот он качнулся на месте и начал:

— Понимаете? То был удивительный случай. Ни за что его не забыть!.. — Он похлопал по моей спине, — вот с Булатом вдвоем мы и были тогда. Понимаете?.. Сразу как ушли из полка, мы попали в приют, в девичий приют. Эх, и девушки же там!.. Ну, и девушки! Что твои гурии! Так ведь, Булат?..

— Ну, ну, розказуй, — нетерпеливо заго-

ворил Тарас, — мабуть, у якийсь-то дивчины побували.

Новиков оживился еще больше:

— Постой, постой, не совсем так. Тут есть своя премудрость. Во какие там девушки! На большой палец!.. — Он обернулся ко мне. — Женя, Ирочка! Так ведь?

В этот миг внезапно поднялась артиллерийская пальба. В расположении наших окопов стали рваться снаряды. Тарас вдруг крикнул, меняясь в лице:

— От нимцы Ирочек вам шлють. Ждите, вот-вот упадут в наш окоп...

Разговор прервался. Новиков тоже вдруг переменился. В блиндаж вбежал запыхавшийся командир отделения:

— Тарас! Пошли свое звено в секрет. Слышь, как долбят немцы. Видать, наступать будут.

Тарас строго глянул на меня и Новикова:

— От, идить зустрічати своих дывчат, идить. Ви ж відпочивали вже.

Слова Тараса больно задели Новикова. Он мгновенно вспыхнул:

— Тарас! Довольно тебе!.. Ты, что это, не начальником ли стал? — И сердито уставился на Тараса. Затем взяв свою винтовку, кивнул мне головой:

— Айда, Булат! — и шагнул из блиндажа.

От лучей прожекторов и света ракет — светло как днем. Едва мы вышли из блиндажа, как совсем рядом разорвалась бомба. Мы растянулись на земле. Над головами проносятся легкие снаряды и рвутся невдалеке. На окопы льется свинцовый дождь пуль, посылаемый множеством винтовок и пулеметов. Мы

поползли вдоль окопов, то и дело останавливаясь, вжимаясь в землю. Не было никакой возможности поднять голову. Грохнул взрыв. Воздушной волной меня отбросило на несколько шагов в сторону. Падая, я сильно стукнулся о твердую землю. Меня оглушило. Руки и ноги обессилели, одеревенели. Сознание помутилось. Свет прожекторов и ракет теперь потускнел. Уши ничего не слышат. Стреляют ли, нет ли, может, и войну всю поглотила земля? Ничего теперь я не понимаю. Кто-то тянет меня за руку. Но я не знаю, кто это и зачем он тянет. Затем меня втащили в траншею. Никак не могу разобраться, зачем волокут, куда тащат меня. Я лишь различаю тусклый свет. Чья-то голова склоняется ко мне... Я пристально вглядываюсь в лицо, но не узнаю его. Должно быть, это лицо Новикова. Мне видится, что он смотрит откуда-то издалека, сверху. Однако его взгляд ничего мне не говорит. Где мы с ним находимся? Почему я валяюсь тут? Вспомнить, как это произошло — никак не удается. Новиков влил мне в рот воды из фляги. Я проглотил ее. Почувствовал приятное в груди. Глотнул еще раз, затем еще... С каждым разом мне было все приятней и лучше. Зашумело в голове. Послышалось, что над моей головой заиграла музыка. Мне кажется, словно не замечая, множество ног топчет мое тело, я закрываю глаза, но тем сильнее звучит музыка. Этот звук доносится, как шум водопада. От него трудней становится сердцу, какая-то тяжесть давит тело. Откуда-то на мое лицо льется холодная вода. Не под водопадом ли я лежу? Вдруг я открыл глаза. Веки отяжелели. Смотрю. Вглядываюсь. Вижу, лицо

знакомое. Кто же он? Я знаю его. Видал этого человека. Только не могу припомнить, кто именно. Он держит меня за плечи и трясет, пытается прислонить к стене. Стараюсь понять, в чем дело, и заглядываю вверх. В небе бушует огонь. До моих ушей долетают теперь какие-то звуки. Я снова перевожу взгляд на знакомое лицо человека, который держит меня. Теперь я хорошо различаю это лицо. Но все еще не могу назвать его по имени. Тело горит огнем. В горле пересохло.

— Эй, эй, дай воды! — выговорил я. Он снова стал лить из фляги мне в рот. Я жадно пью. Он что-то говорит мне, но я не слышу. Я спрашиваю у него:

— Где я? Что со мной?..

Я не слышу своего голоса, так же как не различаю его голоса. Голова каменная... Рук и ног не чувствую, словно их вовсе и не было. Будто я всего-навсего мешок, заброшенный куда-то. Вот и валяюсь тут...

Вдруг затряслась земля. Перед глазами стало темно. Сверху посыпались комья земли. В это время я одним ухом начал различать звуки. Послышались грохот снарядов, свист пуль. Но я чувствую, что все это доносится откуда-то издалека. У самых наших ног упала ракета. Она, шипя и раскидывая по сторонам искры, догорела и быстро потухла. При свете других ракет было видно, как струйки дыма от потухшей ракеты ползут по земле. Только теперь вспомнил, где я. Я на войне, лежу под огнем. Но что со мной стряслось? Не могу понять. Вот и человека, что рядом со мной, тоже узнал. Это Новиков. Я спрашиваю у него:

— Что произошло?

Он рассказывает, жестикулирует, но я не слышу его голоса. Во рту сухо. Прошу воды. Он поит меня. Почему-то вода теперь кажется тяжелой. Она льется в горло, в живот холодным свинцом. Замораживает внутренности, я мотаю головой, отказываюсь пить. Над нами с воем проносятся снаряды. Обо что-то с треском бьются пули, теперь я отчетливо слышу все это. Однако ничего мне не страшно. Я не могу понять себя. Отчего я стал таким? Мысли ворочаются тяжелые, но поверхностные. Словно они придавлены и пробиваются сквозь толстую стену... Но все же ясно понимаю, что я нахожусь на войне, лежу под огнем.

Через некоторое время к нам подошел один солдат. Вдвоем с Новиковым они взяли меня под руки и потащили на четвереньках по траншее. Я пытаюсь встать на ноги. Они не позволяют, волочат по земле. При этом мне кажется, что ноги мои вытянулись, стали длинными...

Сейчас я нахожусь у себя в блиндаже. Я начинаю припоминать — сюда мы пришли только сегодня. Затем ушли отсюда с Новиковым в секрет. Остальное не знаю, что приключилось со мной — никак не вспомню.

Байгужа пристально смотрит на меня. Ощупывает мои ноги, руки, гладит по голове. Новиков что-то рассказывает им. Я не понимаю. Вскоре они ушли из блиндажа. Я остался один. После того, как они вышли, я перестал о чем-либо думать, напрягать сознание. На веки навалилась тяжесть. Я стал засыпать... Ночью меня разбудил Байгужа.

— Вставай!.. Вставай!.. Идем!.. — тормо-

шил он меня. Голос его, казалось, доносился до меня из-за стены.

— Что такое? — спросил я его. Он очень близко склонился к моему уху и сказал:

— Ты — контужен. Я поведу тебя в медпункт. Стрельба прекратилась. Рассвет скоро...

Я стал кое-как соображать, все прошедшее предстало перед глазами:

— Да, да, ведь ночью возле меня разорвался тяжелый снаряд... Значит, я потерял сознание...

Я поднялся на ноги. Шатаюсь, словно пьяный, вот-вот упаду. Не могу держаться ровно. Голова трещит, в ушах звенит. Байгужа берет меня под руку. В другой руке у него — ранец. Мы выходим из блиндажа. Изредка постреливают. Без конца взмывают ракеты, шарят в ночи прожекторы.

По ходу сообщения мы двинулись в тыл. Под ногами валяются убитые солдаты. Порой я спотыкаюсь о них и падаю.

— Ты, наверное, полежишь с месяц в лазарете, — говорит Байгужа. Но его слова не производят на меня особого впечатления.

— Не знаю, — отвечаю ему коротко и замолкаю. Шли мы долго. Глядя на меня, он тоже молчит. Идем тихо. В голове у меня — ни одной мысли. Все шагаем и шагаем.

Глава двенадцатая

В перевязочном пункте меня осмотрел доктор и сказал:

— Ничего страшного, дня через три вернешься обратно в полк. А пока отдыхай!

Он даже не распорядился, чтобы меня положили на койку. Велел отправить в барак для легкораненых. Направляясь туда, вспомнил слова Байгужи, которые он говорил мне по дороге в медпункт, и рассердился на него. «Да, жди от них, так и положат тебя на месяц в лазарет», — в сердцах подумал я про себя.

Барак вполовину врыт в землю. По обеим стенам тянутся нары. На них валяются солдаты. Одни из них страдают желудком, другие — легко ранены, а третьи, как и я, попали сюда по контузии. Среди них есть и такие, что чувствуют себя очень плохо. Почему-то их не отправляют в лазарет.

Утомившийся в дороге, я не стал долго приглядываться. Отыскал себе в одном углу место и пристроился спать, подложив под голову котомку.

Не знаю, сколько прошло времени, я проснулся, услышав крик санитара, который прошел по бараку. Оказалось, что он будит на обед. Вставать мне не хочется. Да и есть нет никакой охоты. В теле чувствуется жар. Санитар, подойдя, пнул мне в ногу.

— Ты что, думаешь, отдельный обед тебе будут готовить? — грубо сказал он. — А ну, вставай, бери свой котелок и ложку!

В груди у меня закипал гнев. Я внезапно соскочил с нар и уставился на санитара.

— Может, и лежать тут нельзя?

Он долго смотрел на меня. И я еще больше разозлился. В этот миг я был готов растерзать его. Чувствовал, как дергаются у меня губы и дрожат колени. Санитар молча отошел от меня. Я долго еще простоял на том же месте. Посмотрел вокруг. Против меня на нарах

лежит еще один солдат. Он стонет. На себя он накинул шинель, из-под нее высунулись ноги, брюки порваны, в прореху виднеется грязное колено. На одной ноге у него — обмотка, на другой — нет. Пока я стоял, глядя на него, в барак вошли два санитара и положили солдата на носилки. В это время он хриплым голосом заговорил:

— Куда же вы меня несете? Лежал бы тут!..

Санитары молча подняли носилки и вынесли солдата из барака. Захватив с собой котелок и ложку, я вышел за ними на улицу. В бараке было темно, при резком солнечном свете зарябило в глазах. Я даже качнулся, словно пьяный. Воздух свеж и чист. Земля помолодела, деревья распустили зеленые листья. Удивительно просторным воспринимался мир. Мне казалось, что это какой-то другой мир, которого я еще не видывал. Недалеко от меня, около большой палатки, стоят солдаты с котелками в руках. Я пошел к ним. В голове у меня никакой мысли. Машинально шагаю туда, куда мне велел санитар.

При приближении к палатке меня обдало запахом кислых щей. Запах казался тяжелым, несмотря на это, почему-то было приятно ощущать его. Хотелось все нюхать, подойти ближе к тому месту, откуда он исходит.

За палаткой — походная кухня, у которой вытянулась очередь. Все стоящие в очереди выглядят печальными. Нет того шума и гама, которые возникают обычно, когда собираются солдаты. Некоторые сидят на земле. Я подошел и встал в очередь, в это время кто-то схватил меня за руку, глянул: Буранбай.

— Ты почему здесь? — спросил он. Вместо ответа я задал ему тот же вопрос:

— Ты почему здесь?

Мы оба удивились неожиданной встрече. Буранбай был легко ранен и отправлен в лазарет, а я совсем забыл об этом. Я рассказал ему о том, как опять вернулся на фронт и получил контузию. Он увел меня из очереди и сказал:

— У нас есть что покушать. Я хорошо знаком с поваром. Достал жирные куски.

Он привел меня на лужайку, где три солдата, усевшись на зеленой травке, ели из котелков. У одного забинтована голова, у другого — рука, у третьего перевязки что-то не заметно. Я поздоровался с ними и, ничего больше не говоря, последовал примеру Буранбая, — достав свою ложку, потянулся к котелку. Суп показался жирным, наваристым. Но, взяв в рот, почувствовал привкус не то мочалы, не то железа. Глотаю, но никак не проглочу, застревает комом в горле. Хлебнул ложки две и затошнило. Я осторожно положил ложку на траву. Буранбай в недоумении смотрел на меня:

— Что не ешь?

Я опустил глаза вниз и тихо сказал:

— Не хочется.

Те три солдата поглощены своим делом — ни слов моих не слышат, ни внимания на меня не обращают, усердно опоражнивают свои котелки.

У меня пересохло в горле, захотелось пить.

— Чайку бы вскипятить! — сказал я.

Буранбай тотчас же притащил откуда-то кипяток. Мы вернулись в барак и заварили плиточный чай. Чай тоже отдает песком. Но

все же я пью. На лбу выступает холодный пот. Буранбай расспрашивает меня о делах на фронте.

— Подожди малость, — говорю я ему, — еще успеем наговориться. Что-то настроения нет.

Самочувствие и в самом деле скверное. Во всем теле какое-то бессилие. Хочется лечь. Подкладываю под голову котомку и укладываюсь. Закрываю глаза и сразу мной овладевает такое ощущение, будто я лечу куда-то вниз. Тотчас же открываю глаза. Рядом сидит Буранбай.

— Кажется, хвораю... — говорю ему, словно оправдываясь. Он почему-то молчит. Я снова закрываю глаза, снова лечу вниз. Похоже на то, что барак, где я лежу, раскачивается. Солдаты громко переговариваются. Хочется, чтобы они замолчали. Голоса их звучат громко, сильно бьют по ушам. Просто раздирают уши.

— Как там на воздухе, тепло? — обратился к Буранбаю. — Полежу-ка я на траве.

Выходим на солнце. Здесь привольно, хорошо. Только немного холодновато. Буранбай укрывает меня своей шинелью. Под ее тяжестью я погружаюсь в дрему...

Третий день я лежу в этом бараке. Температура все время держалась на уровне 38—39 градусов. Сегодня с утра она кажется нормальной. Хотя в голове все еще чувствуется какой-то туман. Но уши ясно различают звуки. Однако по временам то и дело звенит в ушах. Этот звон так неприятен, что мутится сознание.

Буранбаю завтра предстоит идти в окопы. Осколочная рана на его руке не совсем еще зарубцевалась, но все-таки посылают. Обо мне пока нет никаких слухов. Видимо, меня спасает на время температура.

Сегодня мы с Буранбаем вдвоем очень долго бродили по лесу. Прекрасно стало здесь. Осины распустили свежие зеленые листья. Темные сосны, попадаясь между осин, несколько портят общий светло-зеленый фон. Я поведал Буранбаю о пережитом и увиденном. Он слушает меня спокойно, на его лице ничего не отражается. Видно, он занят своими мыслями. Он погружен в свои думы. Всецело живет ими. Я все продолжаю рассказывать о своем. Мы опустились на землю и уселись на траве. Буранбай заглядывает в небо, смотрит вокруг и говорит, глядя прямо перед собой:

— Наверно, и у нас теперь начинают сеять. Сказывали, до весеннего сева кончится. Где там, жди — кончится!.. Ничего не слыхать. Война все идет, ни конца ей, ни края...

Мне почему-то не хотелось говорить о войне. Когда он напомнил о деревне, я спросил:

— Получаешь ли письма из дому?

— Вообще-то получаю, но ничего путного не пишут. Отец с матерью уже старые. А жена уехала к себе в деревню, к своим родителям. Старикам моим теперь, конечно, туго приходится. Вряд ли сумеют посеять нынче...

Лицо Буранбая выражало глубокую скорбь. Он принялся насвистывать. Разговор между нами оборвался. Я тоже стал насвистывать мотив протяжной песни. В этот миг у меня зазвенело в ушах. Я уткнулся головой в землю и зажал уши. Буранбай вскочил на ноги.

— Скоро обед, вставай, идем! — заторопил он. Мы молча зашагали к баракам.

Глава тринадцатая

Уже пятый день продолжается артиллерийская канонада. Пушки бьют с обеих сторон. В небе беспрерывно летают аэропланы. К нам подошло пополнение: несколько стрелковых полков и артиллерийских дивизионов. Ожидается большое сражение, ни кухни не бывает на передовой линии, ни продуктов не доставляют. Питаемся лишь сухарями и запасными консервами. Днем изнываем без воды. Ночами, несмотря на сильный артиллерийский огонь, ходим за водой за полкилометра в тыл. Много солдат погибает на этой дороге. Однако наши товарищи каким-то чудом возвращаются целыми и невредимыми.

Новобранцы погибают десятками, они не умеют держать себя в окопах. Как начнут падать в окопы тяжелые снаряды, они сбиваются в кучу, впадают в панику. От страха выбегают из окопа и попадают под немецкие пули. Некоторые из новобранцев, попав на фронт, глупеют, становятся несообразительными, перестают есть, пить. Если кто и заговорит с ними, они не понимают ничего. Подобно помешанному тупо глядят на собеседника в упор выпученными глазами.

Услышав голос обращающегося к ним, они откликаются однообразно:

— А-а-а..., — и, постояв немного, в ответ говорят совершенно о другом. Никто на них не обращает внимания. Я как-то с одним из

новобранцев побывал в секрете. Он не смотрел в сторону противника, уткнулся головой в стенку окопа и сидел, уставившись вниз. Словно его осудили сидеть так. Ни чувств, ни воли своей не проявлял. Ходил бессознательно и жизнь его протекала стихийно. Несколько часов подряд мы пробыли с ним в секрете. Он все сидел, не изменяя первоначальной позы, и ни слова не проронил. Когда увидел солдат, прибывших нам на смену, он вдруг ожил. Схватил винтовку и пустился по траншее назад, побежал, словно чего-то сильно испугавшись.

Непрерывным градом сыплются сегодня на наши окопы снаряды, шрапнель. Заграждения из колючей проволоки впереди окопов при мощных взрывах взлетают в воздух и падают в окопы. Передвигаться по окопу невозможно. Здесь ежеминутно, ежесекундно подстерегает смерть. В окопах полным-полно убитых и раненых. Раненые стонут, — кто зажав ногу, кто руку, кто живот, — кричат, взывают о помощи. Никто не перевязывает им раны, не оказывает помощи. Каждый занят собой, каждому дорога собственная голова.

Большинство новобранцев сидит в блиндаже, плотно прижавшись к стене. Порой снаряды падают близко, блиндаж вздрагивает, сквозь накат сыплется земля. Блиндаж наполняется пылью. Новобранцы не выдерживают этого ужаса, выбегают из блиндажа и в поисках укрытия носятся по окопам. Но снаряды падают один за другим, в воздухе рвется шрапнель, укрыться в открытой местности невозможно. Ошалелые, они выпрыгивают из окопов и по голому полю бегут назад.

Ранило нашего старого солдата Тараса. Пуля вошла ему в правый глаз и вышла, раздробив висок. Байгужа повел его за руку в блиндаж. Он ранен простой пулей, рана не смертельная. Мы быстренько забинтовали его. Напоили водой. Уложили в углу блиндажа. Он стонет и говорит про себя:

— Я уж помру. Как утихнет перестрелка, вы уж меня поскорее отведите в тыл. Вряд ли утихнет, где там...

Мы успокаиваем его, утешаем, а он волнуется все больше. Хватает нас за руки, прижимает к своей груди.

— Записуйте мий адрес, умру — відпишите жинке. Мабуть, хтось зостанится. Напишить ей письмо...

Буранбай достает из его кармана тетрадь и прячет в свой карман. Сунув тетрадь подальше, он говорит про себя:

— Тут не знаю, выживу ли сам, а еще чужой адрес беру.

Он сидит склонившись над Тарасом. Тарас продолжает говорить о своем.

— Діти ще малі, діти... Вже ж міни не вдаться вижити...

В это время в блиндаж торопливо вбежал Индрил. Дышал он прерывисто, лицо его было бледное. Он хочет что-то сказать, но не может никак выговорить.

— Чуть-чуть не угробили, — выдохнул он, наконец, — наш блиндаж телефонистов... раскидало снарядом... Я был снаружи, проверял линию. Вряд ли кто остался живой в блиндаже. Уф!.. Уф!..

Слова Индрила особого впечатления на нас не произвели. Мы слушали его молча.

Блиндажи так часто рушились, обваливались, люди так часто умирали, что мы привыкли к этому, для нас это было явлением обыкновенным. Индрил остался жив, и этого для нас было достаточно.

Стемнело. Стрельба все усиливалась. Днем пулеметные очереди слышались редко. Теперь же с обеих сторон пулеметы застрочили сильнее. В блиндаж торопливо вошел командир отделения:

— Скоро будет команда, быть готовым! — сказал он.

Мы схватили свои винтовки и подались к выходу.

К нашему блиндажу подошел командир батальона капитан Корягин. Он осведомился о подпоручике Васильеве. «Его здесь нет!» — ответили ему. Он повернулся, чтобы куда-то пойти. В этот миг в воздухе над нами разорвалась шрапнель. Капитан Корягин тотчас же выпрыгнул из окопа и побежал. Мы восприняли это как недостойный поступок. Высунувшись из блиндажа, мы следили за убегающим капитаном. Пробежав с десяток шагов, он, как подкошенный, рухнул лицом вниз. Прибежал командир отделения.

— Капитану в голову ударило шрапнелью! — проговорил он волнуясь. Мы отошли от выхода глубже в блиндаж. Никто о происшедшем не обмолвился словом.

Подали команду. Выбравшись из блиндажа, мы рассредоточились по окопам. Невозможно поднять головы. Немцы осыпают пулями, бомбами, снарядами. Наши перенесли огонь с передней линии немцев глубже в тыл. Это верный знак того, что близка атака.

Передали приказ — вылезть из окопов и занять позицию вдоль линии проволочных заграждений. В наши окопы набились солдаты другого полка. Едва мы успели вылезть из окопов, с правого фланга донеслись крики «ура!» .Немцы усилили огонь. Крики заглохли. Мы ползком передвигаемся вперед. Над головой со свистом проносятся пули. Теперь уж нам немецкие снаряды не опасны. Лишь бомба и шрапнель, ежесекундно разрывающиеся над нами, нагоняют страх.

Ползущие вперед солдаты при свете ракет кажутся передвигающимися серыми кочками. Преодолели расстояние саженей двадцать пять, и дела намного улучшились. Железная дорога, проходившая между окопами сторон, убитые, валяющиеся вдоль дороги, и воронки — все это дало возможность укрыться от пуль, сыплющихся беспрерывным дождем, и я переполз через полотно дороги и укрылся в канаве. Ко мне подползло несколько солдат. Не разобрать — кто они и откуда. Лежим, уткнувшись в землю, прикрыв головы железной лопатой.

Невдалеке позади нас рвутся бомбы. От грохота снарядов, падающих беспрерывно на наши окопы, дрожит земля, туманом заволакивает сознание. Никакой команды не слышно, идти ли вперед или оставаться тут, никто не знает об этом. Кружится голова, теряется ориентировка. Где наши окопы — впереди или сзади — не узнать.

Громко колотится сердце, сохнет во рту, а воды нет. Душа ушла в пятки. Страшно ожидание гибели. В голове сверлит единственная мысль о смерти. Сознание работает лихора-

дочно. Но тело безжизненно, оно давно и безвозвратно брошено в бездну смерти. Оно теперь бессильно, безвольно, подавлено чудовищными взрывами снарядов и осуждено быть уничтоженным, прекратить существование. Тела солдат, приникших к земле, — это лишь ненужные куски, выброшенные жизнью. Это хлам, сор, сметенные разрывной волной... Вот-вот нахлынет мощный вал, силой прибоя смоет все и швырнет в морскую пучину. И они будут поглощены ею навсегда, безвозвратно. Оттуда невозможно вырваться, нет пути назад. Единственный путь впереди — в эту пучину.

Солдаты ползком продвигаются вперед. Отступают ли они или двигаются в сторону противника — понять невозможно. Кто-то подползает ко мне.

— Куда мы идем? — спрашивает он, — а команда была?

В ответ я мотаю головой, что не знаю. Около нас стали скапливаться солдаты. Словно пытаясь спасти себя, ползем вперед. Вот очутились среди пушистых кустарников чилиги. Сзади подполз командир взвода. Он зашептал мне в уши:

— Вы получили команду по цепи?

Я заглядываю ему в лицо. Он весь дрожит, наш командир взвода, заикается.

— Нет! — говорю я ему и машу рукой.

Он остался возле нас.

— Впереди, наверно, больше нет наших солдат, — заговорил он снова. — Сколько полков подошло, и все перемешалось. — Его голос тревожно захрипел. — До немецких окопов теперь рукой подать, возможно, у них есть проволочные заграждения с электрическим током.

Была команда заранее узнать об этом. Дотронешься до такой проволоки — значит пропал.

Он ползком двинулся вперед. Мы ползем то ли среди пучков чилиги, то ли это просто полынь. Пули и бомбы перелетают через нас. Подул холодный ветер. Приятно освежил голову. Даже показалось, что люди стали видны отчетливей. Я взглянул на небо. Оно синело ясностью, высоко-высоко над нами перемигивалось бесчисленное множество звезд. До них не долететь ни пулям, ни снарядам, ни бомбам. Почему-то казалось, что купол неба с разбросанными на нем звездами опрокинулся не над нами, а над другим миром. Звезды эти не наши, они кажутся чужими, незнакомыми...

Вдруг по цепи прокатилось громкое «ура!». Солдаты вскочили и бросились вперед. Мы тоже поднялись, но не успели пробежать сажени две, как впереди открыли огонь. Громко затрещали винтовки, застрекотали пулеметы. Град пуль несся навстречу нам. Спасаясь от пуль, мы попадали на землю. Снова стали рваться гранаты. Яркие вспышки бомбовых разрывов и свет ракет освещают поле. С жутким воем проносятся над нами легкие снаряды. Звуки «ура!» смолкли. Их заглушили треск винтовочных и пулеметных выстрелов, грохот бомб и снарядов. Через некоторое время стрельба из винтовок и пулеметов внезапно прекратилась. И гранаты стали рваться реже. Участились разрывы снарядов, падающих сзади нас. Командир взвода толкнул меня в бок:

— Немцы пойдут в атаку. Вот-вот начнут, надо быть начеку! — предупредил он.

Не успел он проговорить это, как справа от нас раздались незнакомые голоса, поднялся

шум. Мы повернули головы в ту сторону, в это время перед нами выросли фигуры нескольких немецких солдат, они стояли, нацелившись на нас штыками. Они были ясно видны нам. Мы поднялись на ноги. Немцы жестами приказали бросить винтовки наземь. Мы сложили на землю винтовки и гранаты.

В это время уже начинало светать. Впереди, близко от нас, стали различимы проволочные заграждения немцев. Слева от нас — полотно железной дороги. Немецкие солдаты обезоруживают наших и собирают в одну группу. Только теперь мы поняли, что взяты в плен. Вражеские снаряды все еще проносятся с воем над головами и падают в наши окопы. Винтовки и пулеметы с обеих сторон замолкли. На передовой воцарилась тишина. Немцы продолжают сгонять наших солдат в одно место, без всякого стеснения обшаривать с ног до головы, чтобы пленные не припрятали у себя гранаты. Становилось светлее. Наши солдаты тихонько перешептываются.

— Слава богу, живыми, здоровыми попали в плен, хоть вырвемся из этой войны.

— В плену, сказывают, очень трудно, есть нечего, кормят, говорят, одними суррогатами. Везде — одна смерть.

Среди нас немало раненых. Сзади доносятся стоны умирающих от тяжелых ран. Раненых русских солдат на правом фланге заставили подобрать нашим. Мы с солдатом Сергеевым вдвоем находимся на самом конце левого фланга, у железнодорожного полотна. Очередь до нас еще не дошла. Сергеев, подмигнув, говорит мне:

— Удобная штука — железная дорога. Давай убежим!

Я быстренько глянул вперед, бросил взгляд назад. Уже рассвело. Теперь кругом все ясно видно. Справа, позади нас, немецкие солдаты и санитары заняты перевязкой наших раненых. Мы все еще стоим на одном месте, чуть шевельнешься или вздумаешь шагнуть в сторону — немцы грозят пальцем, показывают на штыки. Прикладывая к плечам винтовки, дают понять, что в случае чего будут стрелять.

Мысли забегают вперед. Россия теперь осталась позади. Она где-то далеко, будто находится за тридевять земель, Сейчас уж мы покинем окопы и направимся в глубь Германии. Рассказывают, Германия — страна высокой культуры. Интересно было бы увидеть ее незнакомые, чужие города, села, леса и поля. К тому времени, может, даже наступит мир. А там уж мы домой поедем... Но ни одна из этих мыслей не кажется сбыточной. Впереди ждут неизвестные темные дни. Над головами все еще проносятся немецкие и наши снаряды, от их пронзительного воя страх закрадывается в душу.

Наших солдат с правого фланга вместе с ранеными мало-помалу направляют в немецкие окопы. Два немецких солдата, отобрав несколько наших солдат с левого фланга, повели их назад по железнодорожному полотну. Там лежат наши раненые. Среди них много и убитых; находящихся при смерти брать не велят, отбирают лишь легкораненых. Отыскивая их, двигаемся все дальше в тыл. Мы уже разбрелись по полю. Воспользовавшись этим моментом, Сергеев решил убежать, вдруг неожидан-

но он толкнул меня в бок, сам бегом перемахнул через железную дорогу и очутился за насыпью. Ничего не думая, я тоже вслед за ним перебежал за линию. В это время он уже бежал по канаве вдоль дороги. Со страху я оглянулся назад. За мной гнался немецкий солдат. В этот миг я споткнулся и кувырком скатился в канаву. Сзади хлопнул выстрел. Я вскочил на ноги и пустился наутек. Послышались крики. Над нашими головами засвистели пули, потом стрельба как-то внезапно прекратилась. Я догнал Сергеева. Он сбрасывает с себя сумку и шинель. Я тоже пытаюсь облегчить себе ношу. Но никак не могу сбросить котомку, расстегнуть шинель. Дышится тяжело. Градом льет пот. Дрожат колени, громко стучит сердце, нет возможности говорить, во рту пересохло. Добрались до железнодорожного моста, около которого небольшим озером разлилась вода. Не разобрать, проточная она или нет. Мы ждем, что немецкие солдаты с минуты на минуту догонят нас. Кажется, вот-вот настигнут и тут же расстреляют. До наших окопов далеко, их все еще не видать, нам нужно пройти через озеро. Растянувшись на берегу, напились воды. Пробираясь ползком сквозь осоку и камыши, стали искать конца озера.

— Откуда взялась эта вода? — недоумевает Сергеев. — Ведь не было ее, когда мы шли сюда!..

— Убежать-то убежали, — говорю я, — как бы нам снова не попасть к немцам в окопы.

Уже стало совсем светло, на горизонте показалось солнце. Не знаем, в каком направлении нам идти. Если бы выйти к железной дороге, все стало бы ясно, но это невозможно.

Лежа на земле, прислушиваемся к ружейным выстрелам, смотрим вверх, когда со свистом пролетают снаряды. Легкие снаряды, однако, незаметны. А тяжелые снаряды различить можно — проносятся по небу едва уловимой черной тенью. Они пролетают несколько в стороне от нас. Была бы ночь, ориентироваться помогли бы ракеты. У немцев они светят ярко и долго висят, раскачиваясь в воздухе. Наши ракеты с шумом взлетают вверх, с треском лопаются, разбрызгивая красные искры, рассеиваются и быстро гаснут. Можно бы узнать и по прожекторам. К сожалению, их нет, занимается день. Медленно ползем вдоль берега. Сергеев не выдерживает:

— Наверно, озеро одним концом уходит к немцам, — высказывает он догадку, — давай-ка лучше разденемся и переплывем. На той стороне должны быть наши.

Озеро не широкое, но, сдается, очень глубокое. Перестрелка уже смолкла. Тихо. Мы раздеваемся. Утро прохладное — зябко, по телу пробегает дрожь, вдобавок к тому же одолевает страх. Сняв с ног французские ботинки, один за другим забросили их на другой берег. Но одежду не перебросишь. Хотя бы перекинуть гимнастерки и брюки. Переплыли бы на ту сторону и оделись бы там. Но чувствуем, что до другого берега не докинуть. В кармане у меня часы, которые достались от одного пленного немецкого офицера. Я вел его под конвоем в штаб; за то, что обошелся с ним по-человечески, он отдал мне эти часы и вручил мне тогда же какую-то записку. Может быть, там записан адрес или его фамилия — сам я не смог прочесть. Другие тоже не суме-

ли. А часы были замечательные. Корпус серебряный, разукрашен золотом и драгоценными камнями. Я бережно носил их, боялся потерять. Снимая брюки, я достал из кармана часы и встревожился не на шутку. Между солдатами в окопах ходили толки, что, мол, если кто возьмет у мертвого какую-либо вещь, тот тоже не минует смерти, с фронта живым не вырвется. Хотя часы взяты не у убитого, но предстоит переплыть озеро, и на душе как-то неспокойно. Кажется, что эти часы потянут на дно и мне не удастся выбраться на тот берег. Но не хотелось долго оставаться в плену у этих тревожных дум. Я тут же швырнул часы в озеро, раздался плеск, и они пошли на дно. На поверхности воды мелкими морщинками разошлись круги.

— Что ты бросил? — удивленно спросил Сергеев.

Я улыбнулся, довольный только что совершенным, и сказал:

— Часы.

— Дурак! — только и сказал Сергеев. Он сунул ногу в воду и тут же поспешно отдернул.

— Холодная! — проговорил он недовольно и, посмотрев на меня, предложил:

— А ну, кто первый?

Я был занят тем, что наматывал на шею гимнастерку, брюки и рубашку. В этот миг перед моими глазами встали казахские степи. Во время своего странствования среди казахов как-то я поспорил с казахами и переплыл реку Илик на самом широком месте. Шириной она была саженей шестьдесят-семьдесят, а о глубине никто и не ведал. Боясь глубины, ни-

кто из казахов даже не осмеливался купаться в тех местах. Тогда я переплыл на другой берег реки, без отдыха вернулся обратно и выспорил пари. Я не стал препираться с Сергеевым, решил рискнуть и войти в воду первым. Ширина-то тут не больше пяти саженей. Но на другой стороне выход на берег, кажется, неудобный, заболочен. Не успел я шагнуть в озеро, как мигом пошел вниз. Вода сомкнулась над моей головой. Еле-еле выбрался наверх. Плыть тяжело, тянет на дно. После нескольких взмахов я очутился у другого берега. Однако ноги не достают дна, их засасывает под берег. Камыши, за которые я цепляюсь, прогибаются, уходят вниз, под воду. Тем старательнее я хватаюсь за корни камышей. Но каждый раз они погружаются в воду и увлекают за собой меня. Я выбился из сил. Стало темнеть перед глазами, я все больше теряюсь, выхожу из себя, тянусь к камышам, терзаюсь. Сергеев что-то кричит, но я его не слышу, наконец я дотянулся до ивы и обеими руками ухватился за нее. Она тоже постепенно гнется, тело отяжелело, подтянуться не удается. Нужна постороняя помощь. Держась за иву, я некоторое время находился без движения.

— Ива тоже уходит под воду, — кричит Сергеев хриплым голосом, — быстрее выбирайся на берег!..

Его крик будто влил в меня силы. Я изо всех сил обнял иву, подтянувшись, лег грудью у ее корня. Это дало мне опору. Но бо́льшая половина тела все еще на воде, ноги тянутся ко дну. Опоры для них нет. Я измучился. И вот правая рука наткнулась на твердый корень ивы. Схватившись за него, я подался впе-

ред и выплыл наверх. Почувствовал себя легче. В это время уже опирался коленями о корень ивы. Я попытался было ступить на этот корень и вылезти на сушу, но снова ноги увязли в болоте. Быстро лег грудью на кочку и ползком выбрался на берег. Почувствовав под собой твердую землю и убедившись, что она удержит меня, я встал на ноги. А ноги вконец ослабли и как-то сами собой подогнулись. Я сел на землю. В груди тесно, дышится с трудом. Перед глазами туман, окружающие предметы еле различимы, в ушах стоит шум. Что-то подкатывается к горлу. По всему телу дрожь, словно при лихорадке, ноги и руки стягивает судорогой. Сергеев с другого берега приглушенно кричит:

— Что с тобой, что случилось? Как мне быть?

У меня нет сил ответить ему. Не могу вымолвить слова. Все же я собрал все силы и постарался крикнуть:

— Постой! Малость погоди!

Из горла льется какая-то противная, мутная жидкость. Судорогой сводит скулы, колет в ушах, я продолжаю лежать ничком. Еще более сильная дрожь охватила тело. Я поднялся с земли. Сидя, дрыгаю ногами. Пытаюсь двигать руками, они так тяжелы, словно к ним подвешены гири. Сергеев кричит умоляющим голосом:

— Видать, ты замерз, одевайся быстрее!

Я пытаюсь размотать узелок одежды на шее. Дрожат руки, они стали непослушными. Одежда к тому же от воды разбухла и отяжелела. А руки, как только я возьмусь за узел, выходят из повиновения, дрожат. Возился я

долго, наконец развязал узел и развернул одежду. Нижнее белье сухое, намокли лишь брюки. Надел рубашку и сразу почувствовал, что стало теплее. Но дрожь все еще не унималась. На рубашке проступила кровь, глянул на грудь и увидел — кожа содрана полосками и сочится кровью. Вся грудь и ноги в крови. Я, словно пытаясь скрыть это, быстро надел гимнастерку. Натянув кальсоны, закатал их, а брюки бросил на траву. Ноги посинели, синими ручейками вздулись кровеносные сосуды. Одевшись, я немного согрелся. Звон в ушах стих. Только скулы все сводит судорогой и зубы выбивают дробь. Я приблизился к воде. Посмотрел на Сергеева.

— Ну, как же ты будешь перебираться? — спросил я.

— Плавать я не умею, — говорит он. — Для меня это гиблое дело!

Сам весь дрожит, лицо бледное, сморщенное, глаза неестественно блестят. Я пытаюсь утешить его:

— Не трусь, Сергеев, не трусь!

Однако я не чувствую уверенности, что он сумеет переплыть. Да и сам он тоже не надеется на это. Теперь уже взошло солнце. Над озером поднялись жидкие клубы тумана. Это нам на руку. На фронте затихло. Перестрелки не слышно. Но Сергеев продолжает пребывать в полной безнадежности. Мне его жалко. Я почувствовал себя почему-то более сильным. Это придало мне бодрости и я быстро согрелся. Стал размышлять над тем, как бы спасти Сергеева. «Эх! — подумал я, — была бы хоть доска или бревно какое-нибудь!» Я быстро побежал назад. Тут возле воды обязательно

должны найтись доски, бревна или что-нибудь в этом роде. Я направился к мосту. Подбежав, заметил саженях в ста — ста пятидесяти от моста окоп. Меня мигом осенило, что это окопы немцев, от которых мы недавно убежали. А железная дорога, оказывается, тянется вдоль линии окопов. Выходит, мы правильно держали курс. Перемахнули на эту сторону железной дороги, туда, где находились наши окопы. Под мостом я заметил толстые бревна и доски, но они на той стороне, где Сергеев. Туда мне, конечно, перебраться не удастся. Вскоре я сделал еще одно открытие. Озеро тянулось за мостом не очень уж далеко, виден его конец, заросший камышами. Если бы нам огибать озеро с этого конца, тогда незачем было бы переплывать. Я быстро вернулся к Сергееву и обрадовал его:

— Сразу два выхода нашел для тебя. На том берегу под мостом много досок. Сбегай за ними и переплывешь на досках; другой выход — обойти озеро с того конца за мостом. Правда, там видны окопы немцев. Могут подстрелить.

Лицо Сергеева просветлело.

— Как же быть? — заторопился он, — где удобнее?

— Прикинь сам, где тебе удобнее. Только пошевеливайся быстрее!

Но выбор показался трудным, он долго стоял, не зная, что делать. Наконец он признался:

— Нет, я и на досках не смогу переплыть. Лучше обойду озеро!

Он решил пройти на конец озера, я остался ждать его на месте. Когда он ушел, я отыскал

свои ботинки. Надел брюки, обулся. Разогрелся, ласковое солнце греет мою спину. В этот миг почувствовал, как сильно я проголодался. Чтобы подавить голод, лег ничком на землю. В голове ни одной мысли. Жду, когда прибежит Сергеев. Прислушиваюсь к воющему звуку снарядов над головой. С восходом солнца высоко в небе появились немецкие аэропланы. Вдруг раздался дружный залп из винтовок. Пули, просвистев, застучали у моста.

«Это, наверное, по Сергееву стреляют?» — мелькнула догадка. Я быстро пополз по направлению к мосту. Донеслось оханье. То был голос Сергеева. Слышно отчетливо. Он ругается. Но его самого за камышами не видно. Я тихонько окликнул его. Он не откликается. Я вползаю в камыши, подбираюсь к берегу. Там заболочено, ноги увязают. Я заметил доску. Кто-то приволок ее к берегу и, ступив на нее, набрал воды. На ней видны грязные следы ног. Я уцепился за доску и начал ее тянуть к себе. Тяжелая, но все же поддается. Вытянув доску на сушу, я снова стал прислушиваться к голосу Сергеева. Но его не слышно.

«Может, убили?» — подумал я. Затем быстро вернулся к тому месту, где я выбрался на этот берег. Сергеев сидит на том берегу, обеими руками обхватив голову. На руках кровь, за левым ухом и по левой щеке струилась кровь...

— Что с тобой, Сергеев?

— Стреляли, поранили. Я сильно напугался, но ничего страшного, лишь чуточку задели тут, за ушами..

— Ну, а что будем делать?

— Нет уж, ничего не выйдет. Не смог добраться до конца озера, да и доски не удалось захватить. Под мостом — все открыто. Простреливается немцами. Пожалуй, придется до ночи тут остаться.

Я сказал ему, что нашел доску, он отнял руки от головы:

— Вправду? Нашел, да? — обрадовался он.

Затем подошел к самому берегу и стал умолять:

— Ну что ж, давай свою доску! Будь что будет, попытаюсь переплыть.

Я сбегал быстро за доской, спустил ее одним концом в воду и сильно оттолкнул. Доска, переплыв озеро, уткнулась в другой берег. Сергеев схватил ее, и мы стали строить план переправы. Договорились, что он грудью ляжет поперек доски, а когда доберется до берега, то перейдет на один конец доски, а другой конец ее подаст мне. Я должен вытянуть доску на сушу и облегчить тем Сергееву выход на берег. А Сергеев обязан подплыть к корню той ивы, у которой я вылезал на сушу. Таков был наш план. Но Сергеев долго еще стоял, не решаясь спуститься в воду. Тем временем он смыл с лица кровь, каждый раз, когда нагибался к воде, восклицал:

— Ой, страшно!.. Ой, как страшно!.. Лучше от пули погибнуть, чем утонуть здесь...

Я торопил его. Пытался помочь ему избавиться от страха. Под конец он перекрестился, трагически воскликнув:

— Ладно, если утону, прощай! — вошел в воду.

Он немало помаялся, прежде чем смог поудобнее устроиться на доске. Но вот он лег грудью на доску и начал грести руками. Все вышло так, как мы предусмотрели. Выйдя на этот берег, он крепко обнял меня и поцеловал. Я спорол пакет с бинтом, пришитый к своей гимнастерке, и перевязал рану на голове Сергеева. Чтобы белый бинт не бросался в глаза, фуражку он надел пониже. Теперь мы оба были на этом берегу озера недалеко от расположения наших окопов. Солнце поднялось довольно высоко. Шагать в рост к своим окопам невозможно. Решили ползти по канаве вдоль железной дороги.

Нам хорошо известно: путь вдоль полотна до наших окопов будет долгим. К тому же не так-то уж можно довериться железнодорожной линии: возьмет и завернет где-нибудь к немецким окопам. Если бы подняться на какую-нибудь высотку, то можно было бы понять что к чему. Но в данной обстановке такой возможности нет.

Солнце поднялось высоко, стало жарко. В канаве душно, но мы продолжаем ползти. С лица льется пот. Руки почернели от пыли. То и дело попадаются мелкие камни, от них заболели руки и колени. Хочется есть, пить хочется. А мы у воды забыли напиться воды. Теперь раскаиваемся.

Ползли мы очень долго. Время, примерно, около девяти утра. Началась артиллерийская канонада, пушки бьют с обеих сторон. По пушечным выстрелам мы определили расположение своих окопов. Немецкие снаряды рвутся близко. Наши снаряды падают довольно

далеко. Железная дорога не подвела нас и, видимо, вывела близко к нашим окопам, но их не видно. Как добраться до них? У нас два плана: или сидеть до ночи здесь, или на свой страх и риск ползти дальше. Ни на одном из них окончательно не можем остановиться. Но все же решили под конец ползти вдоль железной дороги. Впереди показались заросли полыни, а за ними — траншеи. Это придало нам силы. Мы торопливо двинулись вперед, вылезли из канавы и забрались в полынь. Видим — впереди выкопана яма, от нее отходит траншея. Куда она ведет? Должно быть, к нашим окопам. Но траншея эта на возвышении, самое меньшее в двадцати пяти саженях от нас. Сергеев приподнялся и заглянул вперед. Глаза его округлились, словно шары:

— Впереди проволочные заграждения! — воскликнул он. — Ей-богу, это наши окопы!

От радости он схватил меня за ворот и стал трясти. Оба мы загорелись желанием во что бы то ни стало двигаться туда, к той яме!

Мы стали приводить себя в порядок. Заново переобулись. Перемотали тщательно обмотки, разгладили складки на брюках и гимнастерках, туго затянули ремни. Приготовились пробежать это расстояние саженей в пятнадцать. Сергеев еще раз перекрестился. Я тоже про себя призвал на помощь бога. Случиться могло всякое — не разобравшись, свои же могли взять нас на мушку, а также и немцы могли открыть огонь. Сергеев резко вскочил на ноги и побежал, за ним последовал и я. Сергеев бежит и кричит во все горло:

— Свои! Не стреляйте, свои!

Небольшое расстояние показалось нам очень длинным. Когда мы были у самой ямы, не то наши, не то немцы открыли огонь из винтовок. Но мы уже успели спрыгнуть в яму. Стрельба прекратилась. После небольшой передышки мы на четвереньках поползли вперед по траншее. Подошли к проволочным заграждениям. За заграждениями траншея кончается. Чтобы попасть в окопы, необходимо выбраться на поверхность. Мы стали кричать своим:

— Из плена идем, не стреляйте! Не стреляйте!

В это время из окопа высунулись две головы. То были русские солдаты. Один из них крикнул:

— Что испугались, а ну, прыгайте в окоп!

Его слова с молниеносной быстротой сорвали нас с места, и не прошло нескольких секунд, как мы уже спрыгнули в окоп. Нас окружили солдаты.

— Наконец-то свои окопы! — проговорил Сергеев, тяжело вздохнув. — Слава богу!..

Наше возвращение никакого впечатления на солдат не произвело. Они восприняли это как самое обыкновенное событие. Один из солдат даже сказал с укоризной:

— Дураки! Ну кто это убегает из плена обратно в пекло войны? Видно, им война еще не надоела!

И отошел от нас в сторону. В этих окопах располагалась не наша часть. Никто здесь не знал о нашем полку. Мы направились в тыл на поиски своего полка. Возвращение к своим ни радости, ни горя теперь не вызывало. Но все же мы чувствовали себя свободно.

Глава четырнадцатая

Рана на голове Сергеева вначале казалась легкой, но пока мы добрались до штаба Сибирской дивизии, веки и лицо совсем распухли. Его положили в лазарет. Мне выдали шинель, продукты и отправили обратно в полк. Говорят, штаб нашей дивизии находится верстах в двадцати отсюда. Я вышел на дорогу и отправился по указанному маршруту.

Чудесны луга, хороши и леса, одетые густой зеленой листвой. Ярко-зелеными волнами колышутся озимые хлеба. Солнце палит. Дорога идет через лес, здесь душно, ни дуновения ветерка. Пройдя версты две, я ложусь под дерево и отдыхаю. Все теперь в моей воле. Хочу — иду, хочу — лежу. Если кто вздумает придраться — в кармане направление. В пути попадаются войсковые обозы, повозки Красного Креста. Ко мне они никакого отношения не имеют. Некоторых я останавливаю, прошу закурить. Так вот и шагаю я по своей дороге. Мне хочется сделать ее как можно более длинной, растянуть дольше. В дороге встречаются польские крестьяне. Я спрашиваю у них о деревнях, указанных в маршруте, но они ничего не знают. Однако это меня особенно не беспокоит, меня подгоняет лишь желание быстрее узнать о судьбе своих товарищей. Что с ними, может быть, попали в плен или убиты? Хочется скорее услышать о них какую-нибудь весть.

Солнце склонилось к горизонту. На дорогу легли длинные тени от деревьев. Воздух заметно посвежел. Подул легкий ветерок. Я уже

прошел немало. Впереди виднеется большое польское село. У меня нет охоты заходить туда. Хочется остаться на лугу, на воле.

У опушки леса я растянулся на траве. Скрутил последнюю цигарку из табака, который мне дали в дороге солдаты, и закурил. Кругом тишина. К вечеру издалека стал доноситься гром пушек. Где-то в вышине рокочет мотор аэроплана. Над деревней стелется синий дымок. Видно, там хозяйки готовят ужин. Мысли о войне вылетели из головы, перед глазами предстают картины родной деревни. Вспоминаются дни и годы жизни в отчем краю. Два моих старших брата тоже на войне, из нашей семьи — я здесь третий. Дома остались старик-отец да мать-старушка. Перед тем как попасть на фронт, я получил от них письмо. «Слава богу, живем хорошо, — писали они с явным намерением утешить, успокоить меня.— Получаем за вас пособие, нам его вполне хватает». Но я-то хорошо понимаю. Жизнь для них трудна. Посеять хлеб они не могут; должно быть, все горюют о нас, переживают. Что бы они ни делали — все их мысли и заботы о нас, о сыновьях своих... Когда закончится война? Когда мы вернемся домой? Когда же, наконец, доставим им радость?.. Тяжело думать об этом. Как подумаешь, так сердце сжимается от боли.

Я стараюсь не думать о родной деревне. К вечеру появилось много комаров. Они назойливы. Я отгоняю, отмахиваюсь от них. Но эта возня с комарами снова напоминает мне деревню. Когда я еще был маленьким, бывало, с отцом ходил на рыбалку, у реки на меня роем накидывались комары. Случалось, они

одолевали меня, я не выдерживал, прибегал к отцу и просил:

— Папа, намажь меня своим маслом!

Отец всегда носил с собой средство против комаров — гвоздичное масло. Намажешься им, комары перестают беспокоить. Если же попадалось мне в руки гвоздичное масло, я мазал им лицо, руки, ноги, даже рубашку. Иногда возвращал отцу пустой флакончик. В таких случаях он обычно сердился:

— С тобой придешь сюда, не флакон масла, а целое ведро нужно брать. Это же дорогая вещь, а сам ты и гривенника не стоишь.

Частенько отец старался не брать меня с собой, то ли ему гвоздичного масла было жалко, то ли ему хотелось избежать лишней возни со мной. Если я начинал капризничать, то отец пытался утешить, успокоить.

— Ты, сынок, на сегодня останься дома,— говорил он мягко, — я иду далеко. Там и комаров ужасно много. Тамошние комары такие крупные, такие сердитые, даже масла гвоздичного не боятся. Укусят, так аж шишки вспухают.

Я верил его словам и оставался дома. Далекая, счастливая пора!.. Вернуться бы домой, походить по тем местам. Сесть бы на берегу реки и удить серебристую плотву. Искупаться бы, играя как рыба, в тех водах, забыв все на свете, плавать, нырять, резвиться... Тяжело думать обо всем этом, как вспомнишь, так защемит сердце.

На хорошем сивом коне по дороге проскакал какой-то солдат. Видно, это ординарец чей-то спешил со срочным пакетом. Конь под ним такой резвый, так легко скачет, что мигом

скрылся из глаз, оставив на дороге ленту серой пыли, поднятой копытами... Пыль долго еще стояла над дорогой, не оседая в вечерней тишине. Я смотрел на эту пыль и завидовал счастью проскакавшего по дороге солдата. Вскочить бы на лихого скакуна и полететь в те края, куда зовет сердце. Но это всего лишь мечта, окутанная оседающей на дорогу пылью. Я, бывало, в деревне на летних скачках не раз вырывал первенство. Однажды даже был побит отцом за то, что участвовал на скачках на буланом скакуне Гаяза бая. Отец ненавидел не только самого Гаяза бая, но и всю его родню. Никогда за свою жизнь отец не общался с ними. И в гости к ним не хаживал.

— Зазнайки, хвастунишки! — говорил отец о них.

Как-то однажды, когда я возвращался с поля, встретился враг моего отца — Гаяз и остановил меня. Он приветливо поздоровался со мной и сказал:

— Булат-кустым[1], у меня к тебе очень большая просьба. Мой буланый не терпит на своей спине мальчишек, скидывает с себя да и только. Ты бы, кустым, попытался как-то сесть на него. Я очень хорошо знаю, он никому не даст обогнать себя. Если ты сумеешь прискакать первым, то я в долгу перед тобой не останусь. В деревне Исянбаево будут большие скачки. Говорят, очень резвых скакунов приведут туда. Если ты согласен скакать на моем коне, то его приз я отдам тебе, хорошо?

---

[1] Кустым — братец, обращение к мужчине моложе себя.

Предложение Гаяза бая и щедрость его меня очень обрадовали.

— Ладно! — ответил я, твердо обещав скакать на его коне.

Настал день скачек. Ничего не говоря отцу, я вышел на окраину деревни, сел на тарантас Гаяза бая и поехал в Исянбаево. Всю дорогу я не отводил глаз от буланого скакуна, привязанного сбоку к оглобле. Он красив, словно вылитый из бронзы. Хвост у него длинный, грудь широкая, глаза большие, выпуклые. Губы тонкие, круп широк и блестящ.

Ездить верхом на лошади я мастер. Бывало, скакал не только сидя, но и стоя на спине лошади. Но на этом буланом скакуне мне ни разу еще не приходилось сидеть. Пока ехали, сердце мое не было спокойным. Всю дорогу оно билось, подогреваемое интересом к предстоящим состязаниям.

Скачки будут большие. Скакунов очень много. Есть тут знаменитые скакуны из Оренбурга, с казахских степей. Заметив их, Гаяз бай, кажется, даже растерялся.

— Уж не знаю, кустым, каково нам придется, — сказал он волнуясь, — никто не ждал, что такие знатные скакуны прибудут. Ты уж постарайся сидеть крепко. Пусть даже наш буланый окажется в хвосте, просто испытаем, каков скакун. Ведь он еще не бывал на скачках, если и последним придет, не будет стыдно.

Вот я вскочил на коня. Он ведет себя игриво, резвится. Хорошо, весело сидеть на таком коне! И мысли такой не приходит в голову, что буланый может сбросить меня.

Дистанция скачек — пятнадцать верст. День слегка ветреный. К тому же и маршрут скачек проходит по возвышению, вдоль хребта. Скакать по такой местности очень удобно. Около тридцати верховых направились к старту. По дороге мальчики нахваливают своих коней. Больше всех хвастался мальчик-казах:

— Мой гнедой вот уже три года как участвует на больших скачках. Никогда не уступал первенства!

Нас выстроили в ряд. Сердце вырывается из груди. Мой буланый неспокоен, приплясывает на месте, трудно усидеть на нем. Я вывел его назад. Распорядитель начал громко отсчитывать: «раз... два...», он не успел крикнуть «три!», как скакуны уже сорвались с места. Буланый подо мной вдруг прыгнул вверх, я скатился на круп. Спина моего коня оказалась очень гладкой, но вскоре я приспособился и быстро понял норов коня. Отвернув глаза от ветра, я отпустил поводья. Скакуна, как правило, не нужно сразу торопить, он может упариться и задохнуться, а с молодым конем такое может случиться очень легко. В буланом чувствовался большой задор. Нисколько не отстает, скачет свободно, мало-помалу догоняет передних коней. Когда проскакали половину дистанции, передо мной уже было меньше соперников. Впереди гнедой казаха, рыжий конь из Оренбурга, знаменитый серый скакун из Сурени, да еще два-три коня, которых я не знаю совсем. Я скачу шестым. Но мой буланый даже не вспотел как следует. Я его не тороплю, не подгоняю. Поняв, что дела не так уже плохи, я приободрился. Еще ниже пригнулся к гриве коня, легонько тронул по

крупу кнутом и отпустил поводья. Буланый резко рванул и стрелой помчался вперед. Через каких-либо полверсты мой буланый достал гнедого коня казаха, рыжего скакуна из Оренбурга, и между нами разгорелась борьба за первенство. Другие кони остались позади. Это еще сильнее воодушевило меня. Я снова хлопнул буланого кнутом, стал подбадривать его. Мальчик-казах начал сворачивать своего коня, пытаясь преградить мне путь вперед. Я очень хорошо знаю эту хитрость. Так обычно сбивают стремительность коня соперника. В этот миг я с силой ударил кнутом коня казахского мальчика. Своего буланого отвернул левее и тоже огрел кнутом. Мой скакун будто обрел крылья. Он вышел на обочину дороги и с еще большей скоростью устремился вперед. Конь казахского мальчика и оренбургский скакун уже остались позади. Вот показалась площадь, полная народу, здесь финиш, до него осталось около пяти верст. Теперь дорога пошла под уклон. Я снова хлопнул кнутом по боку своего коня, пригнул еще ниже голову и, подбадривая скакуна, мчался вперед. Буланый поскакал быстрее. На подходе к финишу он еще более ускорил бег. Между тем я все подбадривал его. Впереди пестрое море людей, сощуренным от ветра глазам все это виднеется, как в тумане. Перед тем, как достичь площади, я нарочно крепко стегнул коня. Буланый метнулся вперед и стрелой влетел в коридор, образованный людьми, сбившимися по обеим сторонам дороги. На скачках я не имею привычки останавливать коня, чтобы получить приз. И на этот раз я не стал осаживать скакуна, на полном ходу пронесся че-

рез площадь и направил буланого к лугам. Только, проскакав еще версты две, когда уже совсем скрылся от людских глаз, несколько сбавил ход коня. Это обычно подогревает любопытство народа. Всем хочется увидеть скакуна, примчавшегося первым, а его нет. «Проскакал и скрылся с глаз, даже приз не стал брать...» — начинают шептаться люди. Другие участники скачки останавливаются на площади, привязывают к шее коней доставшийся приз и любят хвастливо разъезжать по площади, давая возможность разглядывать своего скакуна.

Вскоре на луга прискакал Гаяз бай. Увидев меня, он от радости даже заплакал.

— Это вправду ты? Неужели ты оставил на полверсты сзади казахского коня? Ведь первый приз выдали нам. Все еще не верю своим глазам. Вот ведь как, кустым, буланый летит, что птица, а ты сидишь на нем играючи, рубашка вздулась и трепещет. Вот, кустым, как оно было, у меня просто нет больше слов! — он прервал свою несвязную речь и снова заплакал. Он слез со своей лошади, подошел к буланому, поцеловал его в глаза, погладил гриву. Затем он принялся расхваливать меня.

— Ну и молодчина! Даже на площади не остановился. Народ взволновался, каждому хотелось посмотреть на буланого. А тебя нет и нет, я даже начал бояться, думал, не упал ли ты с коня. А ты тут разъезжаешь беззаботно. Это тоже хорошо. Теперь уже ты не показывайся народу. Я пришлю сюда кого-нибудь из мальчиков за конем. А ты отдыхай. — И он поскакал в сторону площади.

Слава буланого скакуна разнеслась по округе. Гаяз бай ходил словно именинник. На радостях он отдал мне приз, выигранный скакуном — восемь аршин дорогого сукна. Вдобавок дал еще двадцать пять рублей денег. Для меня это было неожиданным богатством. Я тоже был обрадован не меньше самого Гаяза бая. Но когда пришел домой, все пошло прахом. Сукно оказалось выброшенным за порог. Ладно еще деньги успел отдать матери. Плетка, которой я погонял буланого коня, прошлась по моей спине.

— Нет в тебе чести! Ты продался ему за какой-то несчастный кусок! Стыда в тебе нет! Иди к Гаязу баю, будь ему сыном! — кричал отец, стегая меня, и выгнал за дверь. После этого случая я больше не ходил к Гаязу баю. Встречаясь со мной, Гаяз бай здоровался теперь, как со взрослым человеком. Но я в таких случаях прятал глаза, потупя взор...

...Я лежу на опушке леса. Жизнь, прожитая в деревне, отдельными чудесными картинами проходит перед глазами. Но от этих воспоминаний на душе становится все тяжелее. От дум болит голова, больно сердцу. А ведь в настоящее время и Гаяз бай и его дети преспокойно живут в деревне. Вихрь войны их не коснулся. А мы, все три брата, находимся на фронте. Дряхлый старик-отец один мытарит в деревне, у себя в хозяйстве. Да, конечно, у отца были все основания бить меня за мой легкомысленный поступок...

Солнце скрылось за лесом, я зашагал к деревне. Большинство домов в деревне закрыто на замок или просто пустуют. На улице видны солдаты, кажется, здесь расположилась

какая-то команда. Я остановился возле одной полячки, которая в это время полола картофель у себя в огороде.

— У вас нельзя будет переночевать? — обратился я к ней.

— Можно-можно, добро пожаловать, — ответила она. — Теперь ведь лето, спать можно где угодно. — Сама она все продолжала работать. Я зашел в дом, оставил там свою шинель, котомку с продуктами и, выйдя на огород, присел около хозяйки.

— А где ваша семья? — спросил я у нее, — или еще не вернулись с поля?

Она перестала полоть, подошла ко мне и заговорила, опершись на мотыгу:

— Муж мой на войне. Был сын десяти лет, он ушел в город. Поступил на фабрику, на работу. Живем теперь вдвоем со стариком-свекром. — Она посмотрела на дорогу. — Его тоже нет дома. Третьего дня пошел в соседнюю деревню к дочери и все еще не возвращается. Дочь его осталась вдовой, муж погиб на фронте. Детей много. Видно, старик взялся помогать им.

— А вы не боитесь войны?

— Бойся не бойся, что же делать-то? — сказала она и громко засмеялась. Но смех этот походил на рыдание. Так хохочут обычно сумасшедшие или осужденные на смерть с всхлипом, с горькой душевной болью. Я не мог смеяться, лишь улыбнулся слегка. Потому что в ее словах не было ничего смешного, не от полноты чувств она смеялась, а над судьбой своей несчастной. Ее смех оказал на меня подавляющее впечатление, я отвернулся от нее и хотел перевести разговор на что-либо дру-

гое. Но вдруг ее смеющееся лицо приняло совсем иное выражение, и она начала говорить со странной торопливостью:

— Куда же пойдешь? Убежала бы, как другие, да спасать нечего, нет у нас никакого богатства. У кого было что, те убежали. А у нас ни коня, ни денег нет. Чем погибать на чужбине, лучше умру на родной земле. Даст бог, может, еще живы останемся, не будет на то божьей воли, умрем. — Я смотрел на ее лицо. Над ее головой, на северном краю горизонта, видна багровая полоса неба. Нет, то не отсвет вечерней зари. Там линия фронта: горизонт пламенеет от вспышек пушечных выстрелов, света ракет и прожекторов. Здесь живут под страхом багрового отсвета войны, который падает на деревню. Жители видят близость смерти, находясь под смертельной опасностью, смеются над своей судьбой.

Мне как-то стало неудобно сидеть так. Я обратился к хозяйке:

— Удастся ли найти в деревне табаку?

Она встрепенулась.

— Табаку? Ты говоришь, табаку? — переспросила она. — Найдется. У нас солдаты целый ящик табаку оставили. Айда, кури в свое удовольствие, — и она направилась к дому.

Я поспешил за ней, очень хотелось курить.

Глава пятнадцатая

Через три дня я отыскал свой полк. Все мои товарищи оказались живыми и здоровыми. Как-то не верится этому, я подробно расспрашивал, что тут произошло за время моего

отсутствия. Мне казалось, что я потерял их, а вышло наоборот, они считали, что потерялся я. Убедившись, что я вернулся живой и здоровый, они шумно принялись угощать и засыпали вопросами — что было со мной и где я плутал?

В последнем бою наш полк понес очень большие потери. От полка, насчитывавшего в своем составе свыше трех тысяч человек, осталось не более пятисот человек. В нашей роте всего пятнадцать человек. В связи с этим не только наш полк, но и всю дивизию отвели в тыл, на отдых. Ходят слухи, что пока не подойдет пополнение и не переформируют заново, нас никуда не будут посылать. Для солдат это радостная весть. А Новиков совсем по-иному ставит вопрос:

— Нет уж, товарищи, — говорит он решительно, — хватит, воевать больше нельзя. Один раз я вас спас. Не будет всегда такой удачи.

Оказывается, в этом бою Новиков спас товарищей от гибели. Во время наступления все телефонные линии были порваны, связи со штабом не стало, решили послать Новикова, чтобы проверить линии и помочь телефонистам. Воспользовавшись этим, Новиков увел всех товарищей с собой в тыл. Таким образом, пока я, потеряв ориентировку, попал в плен и, убежав от немцев, искал свою часть, мои товарищи, благодаря находчивости Новикова, сидели в тыловом блиндаже. По этому поводу Новикова даже успели наградить кличкой «христа-спасителя». Теперь Новиков чувствует себя среди товарищей вожаком. Поэтому он сейчас частенько любит поучать

других, вразумлять, но и мы, в свою очередь, слушаемся его беспрекословно.

Нам удалось отдохнуть всего одну неделю. Прибыло пополнение. Оно состояло из старых ополченцев, новобранцев, фронтовиков, вышедших после легкого ранения из лазарета, кадровых унтер-офицеров, которые, обучая новобранцев, находились до сих пор в тыловых городах. С их прибытием спокойная жизнь для нас кончилась. Вместе с ними нас каждый день стали выгонять на строевые занятия. Попавшим сюда после лазарета фронтовикам эти занятия пришлись не по нутру. Вновь прибывшие унтер-офицеры пытаются насаждать такую же твердую дисциплину, как и среди новобранцев. Чуть что возразишь, жалуются командиру роты, наказывают за нарушение дисциплины, требуют, чтобы им отдавали честь. Все это чуждая, давно забытая сказка.

Этот спор между нами и вновь прибывшими унтер-офицерами не прошел без последствий. Схватка старого солдата Андреева, вернувшегося на фронт после ранения, с одним унтер-офицером закончилась смертью Андреева.

Андреев два дня не выходил на занятия. Новичок унтер-офицер придрался и дал ему наряд вне очереди. Доложил о нем командиру роты. Как-то однажды, улучив момент, Андреев поймал того унтер-офицера в укромном местечке и избил его до крови. На помощь к Андрееву подошли и другие солдаты. Хотели всыпать и другому унтеру, который попал под горячую руку. Но он спасся бегством и сообщил командиру. Поступку Андреева придали

политическую окраску, обвинили его в том, что он, якобы, пытался среди солдат организовать восстание, и передали дело в полевой суд. Полевой суд вынес приговор — расстрелять Андреева. Этот приговор вызвал у солдат возмущение. Несколько взводов отказалось стрелять и привести приговор в исполнение. Впоследствии были вызваны люди из казачьего эскадрона, они и расстреляли Андреева. После случая с Андреевым, нас, старых солдат, из строя перебросили на рубку леса, ремонт дорог и мостов. Но невозможно было только этими мерами потушить вспыхнувшую вражду между старыми солдатами и унтер-офицерами. Однажды в лесу убили двух унтер-офицеров. Однако почему-то ни следствия, ни допроса по этому поводу не было. Похоронили их без всякого шума.

Если бы немецкие войска не прорвали фронта и не началось отступление наших, то борьба между солдатами и унтер-офицерами продолжалась бы еще долго. Но обстановка вдруг изменилась. Всех нас распределили по ротам, по батальонам, вручили каждому косы и разогнали по полям. Чтобы урожай на корню не достался противнику, нам приказали скосить зреющие хлеба здешних крестьян. Перед лицом солдат, у которых теперь в руках были косы, унтер-офицеры вели себя мягче, перестали повышать голос. Они стали тише воды, ниже травы. Потому что солдаты неохотно шли косить хлеба крестьян. Да и косили нехотя. Выкосят один ряд и начинают уговаривать друг друга:

— Здесь не будем косить, пусть эта часть достанется хозяину.

А Байгужа с Буранбаем ни одного ряда даже не выкосили. Устроились в тени, лежали там и курили себе. Новиков же снова оседлал своего любимого конька и целый день ругался. Досталось от него и войне, и царю, и польским крестьянам заодно.

— Паршивые овцы — эти поляки. Хоть бы один осмелился выйти в поле с дубиной. Да где там! Сидят себе дома и распустили нюни. Выйди они все вместе, ей-богу, победили бы. Ни один солдат не стал бы сопротивляться. Ведь мы губим хлеба своих же отцов. Этими вот косами сами себе перерезаем горло. А вы знаете об этом, товарищи?

Бывалые солдаты поддерживают Новикова. Новобранцы слушают его внимательно, унтер-офицеры прикидываются, что не слышат, — когда среди солдат возникают разговоры, они отходят в сторону, тихо покуривают.

Вечером мы вернулись в деревню на ночлег. На завалинке одного дома сидел старый поляк. Козырьком приставив руки ко лбу, он смотрел на солдат. Глядя на косы на наших плечах, он сказал:

— Неужели ничего не оставите нам на еду? Все и скосите? — голос его дрожал. Он отнял руки от лба и вопросительно смотрел на нас, ожидая ответа. Новиков остановился возле него, скрутил цигарку и заговорил с улыбкой, глядя на старика:

— Уничтожим все. Теперь вот пришли косить вас самих.

— Правду говоришь, солдат, — откликнулся старик тихим голосом. — Раз так, нас самих тоже надо рубить под корень. Чем погибать с голоду, так будет легче умереть. —

Он встал и, пошатываясь, побрел к себе домой. Все тело его подрагивало и раскачивалось из стороны в сторону, старик плакал.

В ту ночь Байгужа, Буранбай и я — втроем — ночевали в одной избе. Всю ночь Байгужа ломал себе голову над вопросом о скошенных хлебах.

— В самом деле, — говорил он с глубоким сочувствием в голосе, — правду сказал старик... Лучше самого крестьянина под корень, чем скосить его хлеб. Боятся, что хлеб достанется немцам — ну и пусть! Мужики ведь тоже останутся здесь. Разве они виноваты. Воюет царь, — так мужики должны умирать с голоду, что ли? Ни черта не хотят офицеры и генералы понимать положения крестьян. Не согласен я с таким приказом. Объединиться нам, солдатам, да и выкосить бы под корень всех сволочей. Счастье его, что сегодня не подошел к нам тот унтер. Попробовал бы придратся, ей-богу, смахнул бы с него голову косой. Что бояться — все равно один конец, погибать так с музыкой...

Обычно Байгужа немногословен, предпочитает слушать других, а сегодня осмелел, разгорячился. Все говорит, никак не остановишь, он долго еще не умолкал и тогда, когда мы уже улеглись спать. Только было задремали, он поднял нас и предложил закурить. Это был лишь повод, слово за слово, он снова начал. Проклинал всех и вся на свете — и жизнь, и войну, и офицеров, и генералов. Когда уж, наконец, настроились спать, он долго еще охал и переворачивался с боку на бок.

Я крепко уснул. Меня разбудил Байгужа:

— Вставай-ка, Булат!

— Что ты будишь опять? Что это сегодня с тобой?

— Я должен что-то сказать, только тебе, понимаешь?

— Успеешь сказать завтра, не мешай спать!

Я повернулся на другой бок и укрылся шинелью. Но он перевернул меня лицом к себе, прикурил цигарку и сунул мне в рот:

— Кури, сон как рукой снимет... Говорю же, есть у меня что-то сказать только для тебя.

— Ну, что там еще у тебя? Рассказывай!..

Я нехотя и с трудом поднялся и сел перед ним. Отяжеленные сном веки смыкаются сами собой, чтобы отогнать сон, я стал усиленно затягиваться табачным дымом. Байгужа скручивает себе цигарку и тихо говорит:

— Не знаю, поверишь или нет, но я такое наделал.

— Ну что ты сделал?

— Да уж не говори... Все как-то получилось нежданно-негаданно. До сих пор никому о том я ничего не говорил. Тебе одному рассказываю впервые.

— Да говори же!.. Что ты там сделал?

Байгужа оглянулся по сторонам. Склонился к моему уху и с особым волнением зашептал:

— Знаешь, я ведь человека убил.

— Человека убил?

Байгужа ладонью прикрыл мне рот и крепко сжал мне руку.

— Тсс! Не кричи!

После слов Байгужи сон мгновенно покинул меня. Я несколько раз крепко затянулся,

затем, отбросив окурок на пол, приготовился слушать Байгужу:

— Кого? Когда?

— Тех унтер-офицеров.

— С кем?

— Один.

— Один? Не может быть!

— Говорю же, ей-богу, один.

— Обоих?

— Да, да, обоих, ей-богу, обоих.

— Нет, не верю. Не во сне ли ты видел все это? Может, просто бредишь?

— Так и знал, что не поверят мне. Раз на то пошло, я расскажу тебе все по порядку. Да, так оно уж получилось...

В эту минуту мне показалось, что Байгужа вне себя, просто ненормальный. Я впервые вижу его таким. Он сегодня говорит непомерно много, притом рассказывает о невероятных вещах. Я задумываюсь: «Чем, интересно, закончится его рассказ?» Может, он болен, мелькает догадка, — и я как бы невзначай ощупываю его руки, жара нет, температура кажется нормальной, лишь руки дрожат. Эта дрожь — признак сильного волнения. Он тяжело вздохнул и заговорил:

— Я и сам не думал об этом. Все как-то вышло неожиданно. В тот вечер я шел домой с топором в руках, уже темнело, унтер-офицеры сидели вдвоем на опушке леса и разговаривали о чем-то. Увидев их, я остановился, держа топор на плече, они не заметили меня. А разговор они вели о расстрелянном Андрееве. Услышал я их слова и злоба взяла меня. Я вспомнил предсмертные слова Андреева. «А что, если я их убью?» — вдруг пришла мне в

голову мысль. Если я и пройду мимо них с топором на плече, подумал я, они заподозрят меня в недобрых намерениях. Я продолжал стоять на одном месте. А унтер-офицеры нехорошо поминают Андреева. Гнев подступил к горлу, горячей ненавистью сжалось сердце. «Все равно пропадать, — подумал я, — так уж лучше убью их». Стукнул одного топором по голове. Он только охнул раз и бесшумно повалился на землю. Не успел другой двинуться с места — рубанул его по затылку. Он уткнулся лицом в траву. Оба не издают ни единого звука. Сомнение закралось в душу: не прикидываются ли они мертвыми, — подумал я. Затем сильно стукнул их обоих обухом и побежал назад в лес. Я долго лежал в лесу, прислушиваясь. Но кругом было тихо. Тогда я вернулся к своим, ни слова никому не говоря, лег спать. Да какой там сон, — до самого рассвета не сомкнул глаз. Наутро, когда прошел слух об убийстве унтер-офицеров, я с минуты на минуту ждал, что вот придут и арестуют меня. Признаться перед вами тоже не осмелился. Несколько успокоился лишь после того, когда их схоронили. Про себя думал: «Кажется, не заметили», но тревога в душе не утихала. И сегодня вот, когда косили хлеб, я нарочно не стал работать, хотел сцепиться с унтерами. Их счастье, что никто не придрался. А то, ей-богу, решил было смахнуть одного косой и хотел тут же признаться, что и тех двух убил я. Разъяришься, ничто не удержит человека. А ведь я и мухи, считай, не убивал до сих пор!

Он поспешно закурил снова и, прервав свой рассказ, жадно стал затягиваться табач-

ным дымом. Видно, он ждал, что я сейчас выскажу свое мнение по поводу его поступка, но я не торопился, сидел молча, перед глазами вставала картина убийства Байгужой унтерофицеров. Между тем Байгужа, прервав молчание, заметил хриплым голосом:

— Да, все получилось как-то неожиданно...

Он оторвал бумагу на закрутку и протянул ее мне. Я выпалил, почти не задумываясь:

— А что, очень хорошо сделал. Из-за этого ведь нас от занятий освободили.

Видя, что я так легко смотрю на его поступок, Байгужа будто стряхнул с сердца тяжесть и как-то нехотя усмехнулся, затем принялся ругаться про себя. Слушая его, я молча скручивал цигарку. Свою гневную ругань Байгужа закончил так:

— Ведь они нас тысячами убивают. Вот бы застрелить хоть одного полковника, тогда я умер бы со спокойной совестью. А что же нам остается, все равно помирать! Не так ли?

Я был озадачен такой крутой переменой в характере Байгужи. Меня особенно поразило то, что тихий, скромный, робкий Байгужа смог совершить такое, и то, что все обошлось так благополучно. Изумленный, я снова забросал его вопросами:

— Байгужа, а ты говоришь правду? Неужели в самом деле так и было? И все это сделал ты один?

Он как-то прерывисто засмеялся и сказал:

— Не думаешь ли ты, что вот среди ночи разбудил тебя и рассказываю сказки? Рассказал тебе как самому близкому товарищу. Вот тут спит Буранбай, я и ему ничего не гово-

рил, — закончил Байгужа с нотками обиды в голосе.

Мне захотелось подбодрить его:

— Дай руку! — сказал я ему. — Молодец! Если это ты их прикончил! Я и сам был зол на них!

Я пожал ему руку. Байгужа как будто только и ждал этого, сразу приободрился.

— Да уж вот так, — сказал он воодушевляясь, — такое натворил, что в Сибирь могли бы сослать, да... Я и сам страшно боялся, хорошо, что на след не напали. А знаешь, я ведь топор закопал тогда в землю, — и он засмеялся. Взял свои свернутые брюки и стал одеваться, затем потянулся за сапогами.

— Ты куда? — удивился я.

— Я заметил в одном месте кое-что вкусное, — заговорил он неторопливо. — Завтра снова пойдем косить хлеб. Попотчую-ка я вас вволю. Нужно сходить, пока не рассвело.

Он разбудил Буранбая, тот спросонья потягивался, что-то бурчал себе под нос. Байгужа не стал церемониться, поднял его, дернув за ногу.

— Ну что еще там? — буркнул Буранбай недовольно, протирая глаза, и поднялся с постели. — Зачем разбудил?

Байгужа не стал объяснять.

— Светает, быстрее пошевеливайся! — сказал он в ответ.

Буранбай покорно начал одеваться. Видимо, о своих ночных планах они договорились еще днем, я тоже не стал допытываться, и вскоре они ушли. Оставшись наедине, я долго думал о Байгуже. Но вскоре меня одолел сон, и я заснул.

Когда я проснулся, солнце уже стояло довольно высоко. Новиков, Индрил, Байгужа — втроем — о чем-то разговаривали и курили. Заметив, что я проснулся, они шутливо обратились ко мне:

— Барин, завтрак готов, извольте, пожалуйста, одеться! — и сами засмеялись. Стали шутить. Поставили передо мной ночной горшок, чтобы я облегчился. Байгужа подошел с кружкой воды, полотенцем и мылом в руках. Индрил стал пятерней расчесывать мне волосы. Новиков принялся чистить мои сапоги и шинель. Каждый преподносил свои сюрпризы. Все это исполнялось по плану, задуманному ими, пока я спал. Я сначала стал было сопротивляться, но они не позволили, пришлось отдать себя в их распоряжение. Беспрекословно выполнял все, что они мне приказывали. Когда я умылся и оделся, они повели меня под руку в сарай. Там дымил костер, вкусно пахло варевом, возле костра, засучив рукава, хлопотал Буранбай. Когда мы вошли в сарай, Новиков заговорил возвышенно, с ораторским пафосом в голосе:

— Все это делается ради тебя. Ради того, чтобы ты выбрался с войны живым и здоровым, мы оказываем тебе эту небольшую почесть.

Товарищи мои крикнули «ура!» и громко засмеялись, затем схватили меня и принялись подбрасывать вверх. Хотя все это делалось в шутку, но мне было очень приятно, я чувствовал себя среди близких для меня людей. Новиков подвел меня к ведру, в котором бурно кипело какое-то варево. Вытащив из-за голенища большую ложку, он склонился над ведром, зацепил ложкой большой кусок мяса,

затем курицу и показал их мне. Рядом с ведром подвешены два котелка, в одном из них на свином сале варится каша, в другом на свином же сале жарится картофель. Обследовав эти котелки, Новиков сказал:

— Сегодня мы пообедаем по-офицерски. Все это дело рук Байгужи и Буранбая. А это вот — моя работа! — и он вытащил из-за ящика, стоящего у стены, целую четверть красного вина. Я сильно удивился. Продукты доставлены без меня, даже ни слова мне об этом не сказали. Заметив мое удивление, товарищи громко засмеялись, затем подробно рассказали, где и при каких обстоятельствах взяты были продукты и вино. Байгужа с Буранбаем проникли в склад, где хранились продукты для офицерской кухни и стянули оттуда полбарана, одну курицу, крупу, консервы и свиное сало. Склад находился в сарае одного крестьянина, Буранбай и Байгужа спустились туда с крыши. Все, что принесли, было пущено в ход, некоторую часть оставили в запас для другого раза. А Новиков побывал среди евреев и каким-то образом достал четверть красного вина. У Индрила, оказывается, имелся флакон одеколона, и это пошло в употребление. Чтобы красное вино стало крепче, одеколон влили в бутыль.

Наш батальон сегодня на работу не вышел. Прошел слух, что нашу дивизию хотят перебросить на другой фронт. Все были рады воспользоваться этим поводом.

В этот день мы забыли все на свете. Напились до чертиков. Всю закуску поели. Сарай для нас стал тесным. С песнями, в обнимку, ходили по полям, в лесу погуляли, кляли на

чем свет стоит свою жизнь. Затем сходили в деревню, привели оттуда гармониста. Поплясали под гармошку. На шум и звуки гармони потянулись солдаты, из деревни подошли мужики, парни и девчата. Пошли песни, пляски. Затеянная нами гульба превратилась в общее гулянье, в общее веселье. В тот вечер мы не помнили, где и как свалились с ног, а на другое утро, проснувшись, обнаружили, что все лежим в одежде, на соломе; в сарае. Мы долго бы еще валялись здесь, но поступил приказ прибыть нашему батальону к штабу дивизии. Голова трещала от боли, тело, словно побитое, тоже ныло, мы с трудом поднялись на ноги, молча собрались и направились в строй. Светлые воспоминания о вчерашнем веселье из головы выветрились, они были оттеснены тяжелым похмельем.

Глава шестнадцатая

Перед тем как двинуться всей дивизией в поход, Новиков прибежал из штаба с письмом в руках. Рот растянут до ушей, сам дышит тяжело:

— Булат! — закричал он, подбежав к нам, — Булат, спляши, давай, ей-богу, спляши! Не спляшешь, ей-богу, изобью, слово даю, ей-богу, побью! — он схватил меня за руку и закружил вокруг себя. Индрил завел плясовые частушки, я прошелся пару кругов, приплясывая. Затем уставился в рот Новикова, нетерпеливо ожидая, что же он скажет. Он взял меня за руку, притянул к себе и показал надорванный конверт:

— Видишь письмо, знаешь, откуда оно? От Жени и Ирочки. Спляши, черт бы тебя побрал! Не забыли ведь, а? — Он увел меня в сторону. Мы остановились на зеленой лужайке и стали читать письмо. Новиков читает, я слушаю, затаив дыхание. Он прочитает одно предложение и обращается ко мне:

— Слышишь, что пишут, а! — и многозначительно поднимает палец и смеется. Письмо мы прочитали несколько раз подряд. С каждым разом все радостней становилось на душе. Мы пожимали друг другу руки. Но конец письма для нас был печальным. В связи с приближением фронта приют готовится к эвакуации, по этой причине они не могут указать своего адреса и считают, что ответа пока не нужно писать. Как только устроятся на новом месте, напишут письмо с новым адресом. Но это нас мало утешает. Письмо прежде поступило в адрес интендантства, затем его переслали в штаб нашего полка. Кто знает, попадет ли в следующий раз их письмо благополучно к нам в руки. Не будут же всегда писать только они. Мы задумываемся и решаем поскорее написать, хотя бы с тем, чтобы им стал известен адрес нашего полка. Но ума не можем приложить, как написать. Ответ на такое прекрасное письмо должен быть таким же хорошим. У Новикова — грамота средняя, я же толком не знаю русского языка, но и то, что знаю, не умею правильно написать. Мы стали ломать головы над ответным письмом. В конце пришли к заключению попросить написать Индрила. Новиков снова углубляется в письмо и, прочитав, радостно говорит:

— Голубушки мои, как красиво пишут. От-

куда только они отыскали такие красивые слова? Хотя, что и говорить, культура, брат, культура...

В самом деле, письмо было написано красиво, читаешь и не начитаешься.

«Наши милые Сережа и Булат! — так начиналось это письмо. — Может быть, вы думаете, что мы забыли ту ночь, которую провели вместе с вами? Нет, не забыли. Мы живем воспоминаниями, думаем о ней, поем в песнях, льем слезы по ней. Мы думаем про себя, что у тех, кто родился под несчастливой звездой, должно быть, и любовь кончается несчастливо. Мы ждали вас, надеялись, что вы вернетесь. Но напрасными оказались наши ожидания. Ждали писем, но вспомнив, что забыли вам дать свой адрес, перестали ждать. Вот сегодня вдвоем пишем вам со слезами письмо. Дойдет ли оно до вас или нет, надеяться на удачу трудно. Все же, начав писать, мы почувствовали, что сердца наши несколько успокоились, появилась надежда — может быть, и дойдет до вас наше письмо, и вы прочитаете его. О, если бы мы узнали, что вы прочитали наше письмо, как бы мы радовались этому! Если бы в ответ пришло ваше письмо, то мы заплясали бы от радости. Мы часто видим вас во сне всегда печальными, безрадостными. Когда мы утром просыпаемся, спрашиваем друг у друга: «Может быть, их убило?» Мы страшимся своих слов и, чтоб не слышать их, затыкаем уши. «Нет, нет, они живы и здоровы!» — говорим мы, утешая себя. О, если бы вы знали, что мы сделали для вас! Мы обе, призвав на помощь все свое мастерство, сшили вам красивые кисеты, красивыми узорами

вышили носовые платки. По одной рубашке вам сшили, украсив воротник, полы и рукава чудесными узорами, мы храним их как самые дорогие подарки для вас. Мы вышивали с особым старанием каждый узор, тщательно подбирали материал, нитку, цвет, стараясь отразить в них нежность и красоту ваших сердец. Заодно мы и для приюта дали хорошие вышивки, среди девушек заняли первое место. Пока вас нет, они лежат без пользы. Мы смотрим на них, вспоминаем вас и обливаемся слезами. Мечтаем видеть вас одетыми в эти рубашки. А вы находитесь где-то далеко, шагаете по кровавым дорогам. Думая о вас, мы проклинаем войну, ругаем царей, которые начали ее. Призываем на их головы смерть. Дошло до того, что за это мы получили даже выговор от своего начальства. Нас вызвали к начальству и заставили покаяться. О, если бы вы знали, чего только тут не было. На уроке географии мы показали по карте границу России по линии, которую теперь занимают воюющие стороны. За это нас учитель так сильно распек, чуть было волосы нам не выдрал. Мы прикинулись, что не знали ничего и попросили прощения. До сих пор еще подруги посмеиваются над нами. Так вот и проходят наши дни. Без вас скучно, очень скучно!.. Когда же закончится война! Когда же мы увидим вас живых-здоровых! Мы живем одним этим желанием...»

Письмо прочитали несколько раз. Новиков опустился на траву, лег навзничь и, уставившись в небо, долго пролежал в задумчивости. На меня письмо оказало глубокое впечатление, я сидел, охватив колени руками, глядя

перед собой вдаль, и перебирал в памяти только что прочитанное. Вдруг Новиков вскочил с места и встал на колени.

— Все правильно! — заговорил он, по-ораторски размахивая руками. — Война и жизнь — непримиримы, она начата, чтобы поубивать нас. Чуешь, наши ангелочки очень правильно понимают это? Зачем нам проливать кровь? Зачем гибнуть в такие молодые годы? На кой черт это нужно? Мы стремимся к жизни, а они гонят нас на убой. Раз погибнем, так к чему война? На черта мне эта земля, которую поливаем кровью? Ее нам одного аршина достаточно. Нет, нет, надо жить, а не умирать!.. Нельзя воевать!.. Зачем?..

Слова эти вырвались из души, согретые пламенем искренности. Новиков встал на ноги и письмо сунул в карман.

— А, ну, пойдем! — позвал он. меня. Мы подошли к своим товарищам. В это время они принесли из кухни обед и ждали нашего возвращения. Мы молча сели есть. Поев, Индрил вытер ложку, засунул ее в голенище и начал подсмеиваться надо мной и Новиковым:

— Кажется, вам очень трудно далось чтение письма? Чувствуется, тяжело переживаете? Оба такими серьезными стали. Как они там, смеялись, когда писали, или плакали?

Он приподнял фуражку Новикова и заглянул ему в глаза. Новиков усмехнулся, было заметно, что он сдерживает внутреннее волнение. Вдруг он посерьезнел:

— Я знаю, что делать. Нужно бросить воевать! — Индрил снова засмеялся:

— До войны ли тут, когда девушки зовут к себе? Правду говоришь, Новиков, правду!..—

и хлопнул его по спине. Новикову, видно, не понравилось, что его серьезные слова связывают с получением письма и обращают в шутку. Он повернул речь на другое:

— Мы выступаем в поход. Что будем делать с теми продуктами? Где их будем варить? — он взглянул на Байгужу. Тот начал свое, припомнил, у кого, где и что находится, показал каждому, каким образом их хранить. А что касается варки, то это дело берет на себя Индрил. Потому что он любит сидеть, глядя на пламя костра и на то, как кипит в посуде вода. Сидя у костра, он забывает все на свете. Даже после того, когда пища уже сварится, он обычно сгребает в кучу недогоревшие головешки и следит до тех пор, пока они сгорят. Когда прикурит, он даже и спичку бросает не сразу, а ждет, пока она обуглится совсем, лишь тогда швырнет на землю. Поэтому мы прозвали его «богом огня». Но мысли мои все еще заняты подробностями письма девушек. Новиков, конечно, охвачен теми же чувствами, что и я. Мне без слов ясно, что Новиков заговорил о хозяйственных делах лишь потому, чтобы отвлечься от насмешливых слов Индрила. К тому же и откровение Байгужи, которое для других все еще остается тайной, не дает мне покоя. Теперь Байгужа для меня стал казаться чуть ли не сказочным героем... Я всматриваюсь в его неподвижное, кроткое лицо и удивляюсь, как это он решился на такое опасное дело. Душа моя теперь, освободившись от всего прочего, пребывает под впечатлением лишь этих двух событий. Письмо девушек и случай с Байгужой — оба они — трагические эпизоды, порожденные кровавой

войной, оба они — проявление от сердца идущего протеста против кровавой войны...

К вечеру наша дивизия тронулась в поход. Днем на фронте передвижение крупных войск невозможно, обычно такие переходы совершаются по ночам. Вечерний воздух тих. Идем мы не очень быстро. Над нами чистое небо, справа из-за леса выплывает луна, с наступлением темноты появляются первые звезды. Если шагаешь глядя на них, то и усталости в ногах не чувствуешь. Мысли в голове ясные и строгие. Я шагаю несколько поотстав от своих товарищей, мне не хочется с ними говорить, чтобы не нарушить ход своих мыслей. Я шагаю занятый этими мыслями, увлеченный ими...

Глава семнадцатая

Мы расположились под Варшавой. Позиции еще не заняли. Передовые части мало-помалу отступают. Мы как бы служим опорой для них, ремонтируем дороги, мосты и тоже медленно катимся назад. Наконец мы вышли к берегам Вислы. Принялись наводить понтонные мосты через Вислу. Они понадобятся для отступающих частей. Ходят слухи, что в ближайшие дни, вероятно, сдадим и Варшаву. Потому что фронт подошел очень близко. Тяжелая артиллерия обстреливает крепости. Ни единой вести не слышно о том, чтобы где-либо мы одерживали победу, наоборот, всюду говорят об отступлении, дни и ночи готовятся к отступлению.

Одному нашему батальону приказали окопаться на берегу Вислы. Наши солдаты смеются:

— Крепостям покоя не дают немецкие пушки, так и жди, что спасуют перед этими окопами!.. Все это напрасный труд!..

С самого рассвета над нашими головами в небе появляются немецкие самолеты и летают беспрепятственно, как над своей собственной территорией. Прежде по немецким аэропланам постреливали из пушек. Теперь никто не стреляет. В этих краях и аэростатов наших на небе не видно, лишь одни немецкие аэростаты висят каждый день в нескольких местах. Оттуда ведут наблюдения за нашими войсками. Весь фронт теперь живет настроением отступления, предчувствием разгрома. Однако солдаты не очень-то огорчаются этим, отступление им кажется легче сражения на передовой линии. Чем дальше отступаешь, тем больше приближаешься к родным краям. Некоторые солдаты открыто признаются:

— Я буду отступать только до родной деревни, дальше не пойду, останусь дома. Война для меня там кончится совсем.

Другие рассуждают иначе:

— Ну и пусть побеждают немцы, тогда, по крайней мере, хоть война скорее кончится. Нам-то все едино, — что русский царь, что германский, — хрен редьки не слаще. Кто раньше кончит войну, тому и покоримся.

А для нашей группы берега Вислы обернулись почти курортом. Наши товарищи пока не ломают себе головы рассуждениями о войне. Больше всего они заботятся о том, как бы достать еду и питье. Буранбай с Байгужой каждое утро уходят в соседнюю польскую деревню. То на хлеб, то на что-либо другое вы-

менивают яйца, кур, соленые огурцы или яблоки. А Индрил, как всегда, возится у костра. Мы вдвоем с Новиковым охраняем строительные материалы для моста.

После расстрела Андреева и убийства унтер-офицеров новые унтеры в нашей роте со старыми фронтовиками ведут себя довольно осторожно. Чтобы не ввязываться в споры, они стали поручать нам такие работы, исполнение которых изолировало нас от других. Солдаты нашей роты ходят строить мост, копать окопы, а нас отделили от них, дали другой наряд. Вот уж неделя прошла, как мы находимся на охране строительных материалов для моста. На берегу соорудили для себя шалаш, смастерили даже койки. Одним словом, начали тут обзаводиться хозяйством. В течение суток мы стоим на посту, а на следующие сутки нас сменяют другие. А в это время наше звено на целые сутки выходит на отдых. Вволю спим, гуляем, веселимся, ходим в деревню. Служба в нашем звене по договоренности между собой распределена по-своему. Кому в какое время хочется стать на пост, тот и становится. Старшим среди нас Новиков. Сам он стоять в карауле не обязан. Но если кому-нибудь из товарищей нужно сходить куда-то, Новиков сам остается за него в карауле. Индрил у нас на особом положении. Он готовит пищу, затем забирает удочки и уходит на Вислу рыбачить. Нельзя сказать, что он рыбачит удачно, в большинстве случаев Индрил любит сидеть на берегу и смотреть в воду. Если придешь к нему на рыбалку, то застанешь его сидящим одиноко в стороне, там, где река течет быстро и стремительно. Взгляд его бывает

прикован к этой стремнине. А удилища торчат воткнутые в берег в другом месте.

— Зачем сидишь здесь? — если обратишься к нему с таким вопросом, то он с особым душевным волнением начинает живописать течение реки:

— Вот, посмотри-ка туда, видишь, бурлит, какие удивительные фигуры выделывает. Одна не походит на другую. То закручиваются колесом, всплывают волнистым лошадиным хвостом и растягиваются длинной волной. Иной раз увидишь улыбающееся человеческое лицо, и тут же оно исчезает. Вдруг волна обернется красивой вазой и уплывет, кружась воронками. Какие только фигуры не намалюет эта вода! Я люблю смотреть, как бурлит река. Гляжу и забываю все на свете. И кажется, что столько воли в этом течении, вода может нарисовать любые фигуры, она без усилия творит все, что хочет. Вот и мне хочется плыть, как эти волны. И так же легко превращать в действительность все свои мечты... Вот вы посмотрите-ка, ведь и в самом деле есть здесь своя красота. Пусть неосознанная, но все же есть в волнах особая сила, неукротимая воля. Это волнует меня, заставляет сильнее биться сердце. Вот так же я, бывало, смотрел на морские волны. Мне очень хотелось стать матросом. Но не взяли, сказали — не годишься...

В такие моменты Индрил становится чрезвычайно словоохотливым, ласковым и душевным. Он готов раскрыть свое сердце, поделиться сокровенными мыслями и желаниями. Непосредственный, как ребенок, он принимается рассказывать о своем прошлом, о своих планах на будущее. В такие минуты он

предстает искренним и чистосердечным. Обычно он не словоохотлив, если и говорит, то только о деле, а когда бывает в настроении, случается шутит с кем-нибудь из товарищей, подсмеивается над ним. Мы все хорошо знаем характер и духовный склад Индрила. Как только замечаем, что он не в духе, то начинаем переговариваться между собой:

— Огонь бы надо развести! А Индрила нужно послать на рыбалку!

Индрил на это не сердится, лишь замечает, несмело усмехнувшись, пытаясь оправдать свою слабость:

— Что же поделаешь, у каждого своя слабость.

А иногда бывает и так: Индрил долго сидит, задумавшись о чем-то своем, затем начинает тихо напевать мелодию какой-нибудь песни или принимается вдохновенно декламировать стихи. В большинстве случаев он любит с особым душевным подъемом читать «Песню о Буревестнике» Максима Горького. Заключительное «Пусть сильнее грянет буря!» он произносит с пафосом. На берегах Вислы Индрил все чаще пребывал в возбужденном состоянии. В подобных случаях мы стараемся не мешать ему. Он резвится в свое удовольствие, бесится, шумит, затем заводит знакомую всем солдатскую песню.

— А ну, подхватите, поддержите! — обращается он к нам и продолжает подтягивать своим густым басом. Мы подхватываем песню. Спев ее, охваченные одним настроением, начинаем курить.

Так вот и коротаем мы свои дни на берегах Вислы. Между тем фронт подкатывает ближе.

Наши войска отступают, немцы прижимают нас к Варшаве. Наш полк поспешно снялся с места и занял позиции в ближайшем тылу. Перед нами еще много наших отступающих частей, но мы в полной боевой готовности ждем появления немцев. Дальнобойные немецкие пушки, установленные на железнодорожных рельсах, ведут обстрел укреплений и мостов через Вислу. Снаряды с характерным шумом летят издалека, с грохотом падают верстах в четырех-пяти от нас и вздымают огромные фонтаны земли. При прямом попадании укрепления, словно щепки, взлетают в воздух.

По всему фронту создалась тревожная обстановка, войска начали беспорядочно отступать. Невозможно разобрать, куда и какая часть держит путь. Где проходит линия фронта, где находятся немецкие войска — никому неведомо. Телефонная связь всюду порвалась. Ни с передних позиций, ни из штабов в тылу не удается получить достоверных сведений о порядке отступления наших частей, все обратилось в бегство...

Наступила ночь. Отступающие войска обстреливают все польские селения подряд. На протяжении сотен километров над деревнями заплясали красные языки пламени. Багровое зарево огненным морем заколыхалось в небе. Яркие вспышки взлетающих вверх ракет, лучи прожекторов, полосующих воздух, сполохи орудийных выстрелов — все это придает глубоко трагическую окраску событиям, происходящим в эту огненную ночь. Сердца охвачены страхом, как будто этот бушующий огонь сожжет, испепелит весь мир и ни единой душе

при том выжить не удастся. Спасаясь от смерти, от огня, крестьяне убегают на восток — иные в повозках со своими пожитками, другие пешком, сплошным потоком заполнили дороги. Никто не разговаривает, каждый устремлен вперед, лишь изредка раздаются голоса плачущих детей, слышны слова матерей, успокаивающих ребят, но в другой миг все это тонет, заглушаемое громом взрывов.

Обозы, санитарные повозки, артиллерийские упряжки беспрерывной лентой тянутся по шоссе. По обочинам шагает колонна каких-то солдат. Позади них низко над дорогой плывет аэростат, привязанный к батарейной повозке. Возле этой повозки много шума, солдаты вскоре спустили аэростат, уложили его в повозку и двинулись дальше. Дела на нашей позиции ухудшились. Через наши окопы проходят воинские части, и каждый раз кто-нибудь из них язвительно замечает:

— Что же вы тут охраняете? Не с нами ли собрались воевать? Вылезайте, продвигайтесь туда, ближе!

Нашим стыдно слышать такие слова. Солдаты сердятся и гневно переговариваются между собой:

— Какого черта мы лежим здесь?..

Оказалось, наши расшумелись напрасно. Вскоре мы тоже получили приказ об отступлении. Предписывалось отходить, соблюдая боевой порядок, но никто не принял это во внимание. Мы двинулись колонной рядом с потоком обозов, спешащих по Варшавскому тракту. Впереди, где-то недалеко от Варшавы, в трех местах вспыхнули пожары, вызван-

ные взрывами снарядов дальнобойной артиллерии немцев. Пламя пожаров навевает страх. Каждый шаг отступления усиливает тревогу. Легкая артиллерия немцев редко бьет теперь по отступающим колоннам. Временами стрельба из винтовок и пулеметов совсем прекращается, в такие минуты наши войска ответного огня тоже не ведут. Но немцы беспрерывно стреляют из дальнобойных пушек, тяжелые снаряды, пролетая над нашими колоннами, рвутся далеко впереди. А мы теперь движемся в том направлении, где грохают взрывы.

Неожиданно немецкие снаряды стали падать на шоссе, по которому мы отступали. Один снаряд взорвался рядом с артиллерийской упряжкой, запряженной тройкой. Взрывной волной лошадей швырнуло на обочину дороги. Гнедая с распоротым животом лошадь ошалело кинулась снова к пушке и, дико заржав, забилась на станине.

Мы быстро рассыпались в цепь. Отбежав подальше от дороги, спрятались в воронках, канаве, колосящейся ржи. Всех охватила паника. Обозы, артиллерийские упряжки метнулись в сторону от шоссе и помчались во весь опор. Всюду началась неразбериха, суматоха. Беженцы с заплечными мешками, женщины с детьми на руках во весь рост бежали по ржи, туда, куда их несли ноги в этот миг. «Спрячьтесь в канаве!» — кричали им солдаты, но ошалелые от страха крестьяне и женщины не слышали этих криков, бежали не останавливаясь. А один мужик ответил солдатам так:

— Как же нам оставаться здесь, без оружия. Спасаться нам надо, вот что!

В одной воронке солдаты перевязывают крестьянина, раненного осколком снаряда. Он плачет навзрыд, рассказывает о своем горе:

— Что ж теперь будет с моими детьми, с женой! Куда же они подадутся! Пошевеливайтесь! Перевязывайте скорее! Я их отыщу, я найду их!..

Солдаты утешают, пытаются объяснить ему, что чем больше крови он потеряет, тем хуже будет для него. Мужик не слушает солдат, не умолкая повторяет свое и громко ревет.

К утру немцы прекратили артиллерийский обстрел. Лишь изредка где-то вдали за зловещими факелами огня завязывалась винтовочно-пулеметная перестрелка и снова стихала. Мы тронулись в путь. Направились к Варшаве. Наш полк идет по железнодорожному полотну. Шагаем по шпалам, по рельсам. Поезда здесь не ходят, всякое движение на железной дороге заглохло. Только иногда попадаются железнодорожные рабочие с фонарями в руках.

Мы уже вступили в Варшаву, у самого вокзала навстречу нам вырвался бронепоезд. Рассыпавшись по сторонам, мы пропустили его и снова зашагали по шпалам.

Рассвет застал нас в Варшаве. Когда мы проходили по большому мосту — Николай II», перекинутому через Вислу внутри города, уже рассвело. Остановив в одной из узеньких улиц, нас поставили в строй. Приказали не шуметь, никого по этой улице не пропускать. Мы закурили, уселись тут же на мостовой отдыхать и стали дожидаться нового распоряжения. Несмотря на то, что было приказано не расхо-

диться, солдаты поодиночке разбрелись по мелким лавочкам, уже начавшим торговать в этот ранний час, и возвращались с покупками. Несли папиросы, печенье, колбасу, сушеную воблу.

Летнее солнце еще не выглянуло из-за горизонта, а городской люд уже проснулся. Кто знает, может быть, они, узнав о приближении немецких войск, не спали всю ночь, провели ее в тревоге. Во многих домах виден электрический свет. Окна часто растворяются и снова захлопываются... На улицах безлюдно, за окнами лихорадочно мечутся люди.

А мелким торговцам нет никакого дела до того, что еще такая рань и город переживает тревогу. Они, подобно ночным клопам, вылезшим из своих щелей, мелькают за воротами, высовываются из окон подвалов, из-за крохотных дверей и предлагают солдатам свои товары. Иные даже, одевшись в шинель, с припрятанными под полой и в карманах товарами проникают в солдатскую толпу и бойко торгуют своим добром. Вскоре принесли теплые пирожки, вафли, пирожные. Однако торговцы съедобным прогадали. Солдаты мигом окружили их и быстро опростали корзины, и торговцы, не зная, с кого потребовать денег, растерянно бегали от одного к другому и, огорченные неудачей, убежали обратно в дома.

Взошло солнце и заметно поднялось над горизонтом. Патрулей на улицах убрали. Город ожил, началось движение. Государственные учреждения давно уже покинули город, здесь остались лишь воинские части. Некоторые гражданские лица — торговцы, чиновники

с семьями — стали уходить из города. Иные горожане, не обращая внимания ни на войну, ни на близкий приход немцев, жили обычной жизнью. Торговцы возились в своих магазинах. Это привлекло солдат, они устремились в открытые двери лавок и магазинов. Ничто, даже строгий приказ «не расходиться!», не возымело действия. Все смешалось, полк разошелся. Люди оказались во власти анархии, солдаты начали грабить магазины. Командование растерялось. Был отдан грозный приказ о том, что мародеры будут расстреляны, но и это не могло остановить начавшийся произвол. Наша рота накинулась на магазин воинского обмундирования и начала грабить его. Солдаты выходят из магазина, прихватив офицерские сапоги, гимнастерки, брюки, шинели и фуражки. Заплечные ранцы набивают дорогими папиросами, сигарами. Наконец грабеж прекратился, и к полудню солдаты стали сходиться к месту сбора. Но явились еще не все. Несмотря на это, нас выстроили и повели по центру города, по широким улицам. Ведут нас очень быстро, нигде не останавливают. Колонну нагнали верховые жандармы, и мы шли дальше в их сопровождении. На улице жарко, душно, солдаты тяжело нагружены, но никто не бросает награбленное добро... Кто несет за плечами, кто — под мышкой или на руках. С лиц градом льет пот, на спинах взмокли гимнастерки; все шагают молча. Когда мы вышли за пределы города, конные жандармы отстали, а колонна двинулась дальше. За городом повеяло прохладой. Заметно легче стало дышать. В строю стали раздаваться голоса:

— Дайте хоть передохнуть чуть-чуть!
— В штаны, что ли, нам оправляться!
— До смерти хотите нас загнать?
— Два дня не ели, нужно хоть перекусить!
— Остановитесь! Дальше не пойдем!

Возмущение усиливалось, и вскоре поднялся такой галдеж, что слова даже невозможно стало разобрать, началась настоящая ярмарка. Командир полка верхом проскакал вдоль колонны туда и обратно, он кричал какую-то команду, но никто его не слушал. Наконец колонна остановилась. Солдаты рассыпались по обеим сторонам дороги, чтобы облегчиться. Иные разлеглись, словно разморенные бараны, тут же на обочине. Над всей колонной заструился табачный дым.

Солдаты поспешно увязывают вещи, захваченные в Варшаве, до отказа набивают котомки, выбрасывают старые, поношенные ботинки, обуваются в новые сапоги. Кое-кто снимает протертые старые брюки, натягивает новые. Наши Байгужа и Буранбай тоже набрали разного добра вдоволь. И ножницы тут, и ножи, бритвы, шинель офицерская, кожаная тужурка, даже прихватили с витрины гимнастерку с погонами. Своими богатыми трофеями они поделились и с нами. Тех вещей, что мы несли теперь на себе впятером, хватило бы на целое отделение.

Подали команду трогаться. А солдаты ни с места. Все еще заняты своими узлами, увязывают, укладывают вещи, командир полка сам проскакал вдоль колонны и повторил команду. Только после этого медленно и беспорядочно стали подниматься с места.

Пройдя от Варшавы верст двадцать, в одной деревне мы остановились на привал. Там для нас был приготовлен обед. Солдаты стали переговариваться между собой:

— Говорят, солдат здесь будут обыскивать. Если найдут у кого награбленное, сказывают, того отдадут в полевой суд!..

Этот слух всполошил солдат, создал панику. Начали шуметь. Стали срывать кокарды с офицерских фуражек, а с шинелей — отдирать погоны. Некоторые поверх новых брюк и гимнастерок принялись надевать старое. Каждый стремился спрятать захваченное или придать ему иной вид. Кое-кто, намочив водой новые сапоги или брюки, мазал их грязью, мял, старался, чтобы они выглядели поношенными. Многие просто выбросили офицерские фуражки. Выброшенное никто не брал, не хотел подбирать. Польские крестьяне тоже боялись взять, все так и лежало на земле нетронутым.

В следующий миг пронесся слух:

— В Варшаву ворвались немцы, а наши войска покинули город!

Поступил приказ: «В пятнадцать минут покончить с обедом!» Солдаты сгрудились у кухни. Опять поднялся галдеж, началась сумятица. Некоторые части уходили из деревни. Получив с кухни обед, стоя похлебали второпях несколько ложек и взвалив на плечи свои вещи, двинулись в путь. Солдаты кинулись за брошенными вещами, снова принялись набивать ими свои сумки.

Небо ясное, печет солнце. Высоко над нами летают немецкие самолеты. Сзади доносятся разрывы тяжелых снарядов. Наши войска уже не держат фронта, все катятся и катятся на-

зад. Из уст в уста передается тревожная весть:

— Немецкие части зажали нас с двух флангов, хотят взять в кольцо...

Достоверны ли эти слухи — солдатам неизвестно. Между тем поступило распоряжение — отступать со скоростью пятьдесят верст в сутки. По выложенному булыжником шоссе мы шагаем на восток — идем день, идем целую ночь. Где нас остановят — не знаем.

Глава восемнадцатая

Вот уже пятые сутки как мы идем безостановочно. Есть по-человечески не удается и отдыхать по-человечески не приходится. Многие солдаты, в кровь натерев ноги, отстают от колонны. Их подбирают санитарные обозы. Но не всем хватает места. Медицинская помощь не оказывается. Солдаты изголодались. Запас продуктов иссяк. Ничего не найдешь, все подчистую вымели части, которые проходили раньше нас. Солдаты сбивают и жуют едва наметившиеся плоды с яблонь и груш или едят сырую незрелую картошку. А иногда и этого не бывает. Тогда напьются воды и дальше шагают. Нет числа солдатам, которые, скорчившись от боли в животе, оставались лежать по краям дороги.

По вечерам небо окрашивается зарницами пожаров, горят позади нас подожженные деревни. Часто случается так, что деревни поджигают части, прошедшие впереди нас. Как-то вечером, когда проходили через одну деревню, мы стали свидетелями тягостного события.

Два верховых казака подъехали к дому одного крестьянина и принялись поджигать крышу. Увидев это, хозяин выбежал на улицу со всем семейством, все они, крестясь и ползая на коленях, умоляли казаков не палить их дом. А казаки ухом даже не ведут, занимаются своим делом. Крестьянин, видно, не выдержал, схватил коня одного казака под уздцы и стал тянуть его в сторону. А другой казак набросился на крестьянина и начал хлестать его нагайкой. Солдаты, проходившие мимо, не выдержали, побежали к месту стычки. Наш Новиков, весь багровый от гнева, заругался последними словами и накинулся на казаков с вопросом:

— Почему запалили дом, зачем бьете мужика?

Один из казаков лениво усмехнулся и хладнокровно ответил:

— Слушай, солдат, не лезь не в свое дело. Есть приказ. Так надо, раз ночью отступаем, а вам нечего соваться сюда, уходите, ступайте своей дорогой!

Между тем огонь охватил всю крышу. Жена и дети крестьянина плача катались по земле, ногтями рвали траву, поднялся истошный крик. Солдатские сердца закипали гневом. Солдаты окружили казаков. Стали на них замахиваться штыками. А казаки, отбиваясь нагайками, начали отступать. Наехали на одного солдата. Это еще больше разозлило солдат. Они открыли огонь по скачущим лошадям. Поранили одну лошадь. Казак бросил ее, пересел к своему товарищу. Они ускакали вдвоем на одной лошади и скрылись в темноте. Огонь усилился, перекинулся на соседние до-

ма, потому что казаки подожгли дом с наветренной стороны. Солдаты ничем не могли противостоять огненной стихии. Деревня вся воем выла, охваченная зловещим пламенем пожара. Мы пошли своей дорогой и вскоре догнали свой полк, когда он расположился на отдых.

Случай на дороге произвел на солдат тяжелое впечатление. Всю дорогу они ругали казаков. Некоторые даже высказывали свое решение застрелить первого же казака, что встретится на дороге. Воспользовавшись случаем, наш Байгужа раскрыл перед товарищами свою тайну, — рассказал о том, как он убил унтер-офицеров. Новиков с Индрилом за героический поступок подняли Байгужу на руки, целовали его, попеременно жали ему руку.

— Что же ты до сих пор не говорил нам?— набросились на него. — Вот так чудеса. Кто бы мог ждать такого! Недаром сказано — в тихом омуте черти водятся. Вот так тихоня тебе, а...

В этот день Байгужа вырос в глазах товарищей, он стал героем дня. Товарищи с особым почтением смотрели на него. Новиков же совсем вышел из себя, то и дело хлопал Байгужу по спине и приговаривал:

— С такими друзьями можно делать дела. У меня родилась одна думка, — шептал он каждому из нас в уши. — Только подождите, я продумаю ее как следует и обязательно тогда всем скажу!..

Индрил сильно притомился в дороге. Он едва тащил себя. Но бодрость товарищей заразила и его. Он улыбнулся, голову поднял выше и шагал теперь, насвистывая какую-то мелодию.

Пройдя пять-шесть верст, мы удостоились привала. Во время отдыха нас осенил чудесный план. Все товарищи одобрили его и поддержали. Пользуясь темнотой, мы должны вырваться вперед. Если будет возможность, то уходить в сторону от дороги, побывать в деревнях, куда не заходили солдаты, достать там продукты, хорошенько подкормиться...

Как только полк тронулся в путь, мы свернули с дороги и ускорили шаги. Сплоченные единой целью, мы впятером бодро зашагали в ночь. Самый терпеливый, самый крепкий и закаленный среди нас — Буранбай, мы пустили его вперед. Несколько пригнув склоненную вправо голову, он молча двигался широкими шагами. Кажется, что он шагает не спеша, однако идет весьма быстро. Мы все стараемся не отстать от него, пытаемся делать такие же шаги, как и он. Спустя час примерно мы уже были далеко впереди полка. Привалы не устраивали. Десять минут, положенные на привал, мы использовали, чтобы уйти подальше. Впереди много войск, бесчисленные обозы тянутся по дороге. Всех их обогнать невозможно. Кажется, план наш не удастся. Однако раз решились на это, то, не останавливаясь, стремимся вперед. Уже много воинских частей осталось позади. Но все еще нет им ни конца, ни края. Пока мы шли так, заалела заря. От усталости клонило ко сну. Хотелось сесть на траву, отдохнуть, вздремнуть на время. Товарищи говорят друг другу:

— Отдыхать нельзя, уснем и не сможем проснуться. Отстанешь тогда от полка, к немцам в плен угодишь...

Сильно проголодались. В каждом встречном обозе спрашивали поесть. Предлагали хорошее обмундирование, прихваченное в Варшаве. Но никте не хотел брать наш товар в обмен на еду. Мы рвем зеленую траву и пытаемся жевать. Но от нее мало пользы. Во рту ощущаешь неприятный вкус, рвет какой-то черной водой... От нее становится еще противнее, скулы сводит судорогой.

Солнце поднялось довольно высоко. Войска впереди заметно поредели. Вдруг Индрил, среди нас самый длинный, крикнул:

— Вон, недалеко слева видна деревня!

Мы все глянули туда. В стороне от дороги, примерно верстах в двух-трех, за лесом, на возвышении, раскинулась деревня. Нас это обрадовало.

— Войска здесь, наверно, не были, пожрать обязательно найдется, — заговорили мы. — Давайте свернем туда!

По первой проселочной дороге, ведшей в лес, мы повернули влево.

В лесу дороги расходятся в разные стороны. Мы останавливаемся у развилки и, определив место нахождения деревни, направляемся без дороги прямо по лесу. Ничто нас не останавливает — ни овраги, ни густые заросли — все идем и идем вперед по взятому направлению. Хотя на первый взгляд деревня была близко, но на самом деле она оказалась расположенной довольно далеко. Или показалось так потому, что, идя туда, мы буквально сгорали от нетерпения. Но как бы там ни было, наконец мы достигли деревни.

Войск в деревне нет, и народу что-то не видно. Бросаются в глаза большие дома бо-

гачей. Но и возле них не видать ни души, они кажутся заброшенными. Мы встретили одного мужика, попросили у него хлеба. Он долго стоял, почесывая затылок, затем заговорил:

— Намедни много войск побывало у нас. Все подмели подчистую. Богачей тут было много, может, у них бы нашлось что. Да вот беда, и они сегодня ночью уехали из деревни.

Мужик ушел к себе в избу. Присев у крыльца, мы закурили. Индрил оглядывается по сторонам:

— Поесть тут, пожалуй, найдется, должно быть, у мужика есть кое-что, — говорит он и бросает окурок на землю. Курить не хочется, скорее бы поесть. Он опускает голову вниз и сидит поплевывая. В это время в дверях показался мужик, он держал в одной руке кусок хлеба, в другой — горшок. Подошел к нам. В горшке — кислое молоко. Новиков поднялся навстречу и заговорил не дожидаясь, что скажет мужик:

— Дорого ли просишь, хозяин? Сколько дать? — он взял хлеб и горшок с кислым молоком. Мужик ответил неторопливо:

— Какая же тут еще цена? Подкрепляйтесь чем бог послал. Ешьте на здоровье!

Мы молча переглянулись между собой. Байгужа взял из рук Новикова хлеб и, достав из кармана складной нож, стал нарезать его равными кусками. Остальные вынули свои ложки из голенищ и приготовились есть. Мужик не стал задерживаться, снова ушел в избу. Байгужа, чтобы дележ был справедливым и равным, собрав крошки, разложил их по тем кускам, которые на его взгляд казались меньшими.

— Ну, что ж, берите, — сказал он, кончив нарезать.

Когда каждый взял по куску и ложки уже готовы были устремиться к горшку за кислым молоком, Индрил внес предложение:

— Товарищи, молока мало, чтобы досталось поровну, будем брать по порядку — съедим по ложке, потом будем брать еще.

Товарищи согласились. В это время каждый уже жевал свой хлеб. Установленный порядок выдержали. Молока хватило не надолго. Горшок последним облизал Байгужа. Этого, конечно, было далеко не достаточно для желудка, около недели довольствовавшегося весьма скудной пищей. Все еще хотелось есть. Товарищи в завершение принялись подбирать упавшие на землю крошки и отправлять их в рот. Кое-кто, словно что-то отыскивая, смотрел по сторонам. Индрил, как бы утешая всех, многозначительно заметил:

— Голодному нельзя сразу наедаться, а то плохо будет... Поспать бы вот малость, — он сильно потянулся и зевнул, широко раскрыв рот.

— Да, не мешало бы, — поддержали товарищи Индрила.

Тело, утомленное, разбитое дорогой, вот-вот готово рассыпаться. Нужен был сон, отдых. Новиков, в свою очередь, к предложению Индрила внес дополнение:

— Нам нельзя долго спать. Если я лягу, то так и знай, просплю двое суток. А тут всякое может случиться. Нужно сказать хозяину, чтобы часа через три-четыре разбудил нас.

Взяв горшок, Новиков отправился к хозяину в дом. А мы пока стали скручивать папиро-

сы. Буранбай оторвал бумагу для закрутки, сунул руку в карман за махоркой и так сидя захрапел, застигнутый сном. Хозяин, выйдя на крыльцо, направил нас в сарай.

— Там солома, — предупредил он, — смотрите, чтобы не курил никто.

Закрученные цигарки не стали прикуривать. К сараю мы шли уже полусонные. Не помним, как свалились на душистую солому и как сомкнулись отяжелевшие веки.

Сквозь сон я слышал чей-то голос, кто-то разговаривал. Но голос доносился издалека и очень смутно... Кто-то грубо наступил мне на ноги, толкнул в бок. Я ощущал все это. Затем крепко зажали мне нос, я повернулся лицом вниз. Чья-то твердая рука снова приподняла мою голову и еще крепче вцепилась в нос. Наконец, я просто вынужден был открыть глаза и услышал громкий крик:

— Вставайте все, поднимайтесь!..

Это был тот хозяин, который накормил нас и уложил спать в сарае. Я не понимал, зачем он разбудил меня. Увидев спящих рядом товарищей, мне вновь захотелось завалиться в солому. Хозяин потянул меня за руку:

— Нет, нет, — возразил он, — ложиться сейчас нельзя. Буди своих товарищей. Просили поднять через четыре часа, теперь, считай, прошло семь с лишним. Близится вечер, вставайте, вставайте! — он пнул меня по ногам.

Я немного пришел в себя. Поднявшись, принялся растирать одеревеневшие ноги. Несколько поразмялся и, пошатываясь, вышел во двор. От яркого света я ослеп, перед глазами поплыли темные круги, закружилась голова, на глаза навернулись слезы. Я долго простоял,

прикрыв глаза и глядя вниз. Только затем посмотрел на небо. Солнце уже склонилось к западу. Но несмотря на это, все еще было жарко. Греясь на солнце, я прикинул, сколько же времени мы проспали. Спать легли примерно в девять часов утра, а теперь около пяти вечера, может быть, даже больше. Я снова вернулся в сарай и стал будить товарищей. Я умолял, кричал во все горло, расталкивал спящих, но это никакого воздействия на них не оказало. Никто и не думал проснуться, все спят как убитые. Я решил применить тот способ, которым разбудил меня хозяин. Я начал с Индрила, обычно он спал чутко. Переворачивал его с боку на бок, зажимал нос. «Ммм...», — мычал Индрил и, вырвав свой нос, снова укладывался спать. Под конец я схватил его за ноги, выволок из сарая и больно наступил ему на ногу. Он поднялся, открыл глаза и дикими глазами уставился на меня. Веки опухли, белки глаз налились кровью и нисколько не были похожи на глаза Индрила, взгляд его был страшным. Он пробормотал что-то невнятное и опять повернул в сарай. Я схватил его за воротник, твердо стиснул ему шею и принялся таскать его волоком по двору. Мотая головой из стороны в сторону, он все тянулся к земле. Напрягая все силы, я боролся, чтобы он не смог коснуться головой земли. Сам кричал ему в ухо всякую небылицу: «Немцы настигают, в плен попадем!» Но это не производило на него никакого впечатления. Тогда я принялся кричать: «Пожар, горим!» Индрил вдруг открыл глаза.

— А?.. А?.. — недоумевал он, — пожар? — и попытался встать на ноги. Мы сполоснули

лица холодной водой. Затем принялись будить своих товарищей, что стоило нам немалых трудов. Больше всего пришлось повозиться с Буранбаем. Мы его выволокли из сарая. Плеснули в лицо холодной водой. Только после этого он проснулся. Пока мы встали и приводили себя в порядок, времени было уже около восьми вечера. Солнце вот-вот было готово скатиться за лес.

Мы сидели раздумывая, как бы разжиться продуктами и двинуться дальше в путь. Из дома вышел хозяин. Он держал в руках большую чашку и шел по направлению к нам. Удивленно переглянувшись, мы зашептались:

— Неужели это он несет нам?

Между тем хозяин уже подошел и поставил чашку перед нами.

— Вот, подкрепляйтесь, — сказал он спокойно, — я наказал жене наварить похлебки побольше. Правда, без мяса, только картошка, капуста да гороху немного.

Его пояснения для нас были лишними. Новиков вскочил на ноги и пожал хозяину руку.

— Солдатское спасибо вам, — сказал он.

Мы снова вынули из голенищ ложки. На этот раз уже не торопились. Горячая похлебка разогрела желудки, как-то стало легко во всем теле. Окончательно опомнились и почувствовали себя людьми. Наевшись, стали совещаться, чем бы отблагодарить хозяина. Решили отдать ему пару солдатского белья и суконную несколько поношенную гимнастерку. Добродушный белорус отказался от наших подарков. «Оставьте, ради бога!» — отмахивался он от нас. Но мы и не думали отсту-

пать от задуманного, оставили свои дары, пожав ему на прощанье руку, вышли на улицу.

— Где бы найти еды на дорогу?

С этими думами мы двинулись по улице. Решили, что нет необходимости ходить всем вместе. Разбившись на две группы, пошли по обеим сторонам улицы. Я пошел с Новиковым. Мы оба не имели опыта в подобных делах. Индрил пожелал пойти с группой Байгужи. Он посмеивался над нами:

— Толку от вас не будет, ладно уж, идите вдвоем.

Мы с Новиковым прошли мимо многих домов. Ни в один из них войти и попросить хлеба не осмелились. В окне одного добротного дома увидели старушку. Вошли в этот дом. Поздоровались со старушкой. Новиков перекрестился. Старуха долго смотрела на нас испытующе. Затем заговорила добрым, ласковым голосом:

— Божьи странники, откуда идете? Аль дело у вас какое ко мне?

— Бабушка, — обратился Новиков к ней вежливо, почти жалостливо, — с фронта мы идем. Сильно проголодались. Нельзя ли у вас купить немного хлеба?

Старуха шагнула к двери:

— Продать-то хлеба не будет, а так, чтобы поесть, найдется. Пока посидите, — и она вышла в сени. — Дуня! Дуня! — кричала она кому-то. Новиков покачал головой:

— Напрасно я крестился, толку от этой старухи, пожалуй, не выйдет. Мало пользы, что мы поедим, нам бы в дорогу прихватить!

Он начал обшаривать глазами все в доме, комната убрана по-городскому, обстановка

богатая. Новиков подошел к двери, в которую вышла хозяйка, и выглянул наружу. Затем подбежал к буфету, что был напротив нас, заглянул в него и радостно воскликнул:

— Вот жратвы-то где!..

На нижней полке буфета лежало три буханки белого хлеба. В большой стеклянной банке — варенье. Глаза разбежались, мы заметались, не зная, что предпринять. Новиков предлагает:

— Пока вернется старуха, захватим все и удерем! — он снова подбежал к двери, — никого нет. Давай забирай!..

Он сунул мне в руки банку с вареньем и буханку хлеба. Сам схватил другую буханку. Я достал суконную гимнастерку, привязанную к скатке, и завернул в нее свой трофей. Все совершалось с молниеносной быстротой. Мы закрыли дверцы буфета и, снова присев, стали дожидаться возвращения старушки. А хозяйки все нет и нет. Уйти без нее как-то неудобно. Все же решились оставить дом. У крыльца нам встретилась старушка, она объяснила причину своей задержки:

— Дуняша там в огороде, за ней бегала, сейчас вернется, — проговорила она.

— Спасибо, бабушка, — сказал Новиков,— у нас нет времени ждать, иначе отстанем от своей части. Приходится идти, так надо.

Старуха осталась стоять на ступеньках крыльца. Мы зашагали прочь. Все вышло удивительно гладко. Чтобы запутать следы, мы проулочком пробрались за деревню и спешно двинулись дальше.

Отойдя от деревни, вышли на проселочную

дорогу, ведущую к шоссе. Тут заговорил Новиков:

— Куда спешим? Думаешь, старуха погонится за нами? Пока ее Дуняша не вернется, она и не узнает, что пропал хлеб.

Мы вздохнули облегченно. Растянулись на зеленой траве в канаве и решили ждать своих. Радостный Новиков достал из сумки дорогие папиросы, прихваченные в Варшаве, и предложил мне. Мы закурили, лелея в душе мысль, что наши товарищи страшно удивятся нашей удаче. Были несколько обеспокоены лишь одним — уже солнце село, а наших все еще не было.

Они вернулись, когда окончательно стемнело. Принесли немного картошки и полбуханки черного хлеба. Наша добыча показалась им сверхудачной. Охваченные победным настроением, мы весело двинулись в путь.

Глава девятнадцатая

Проснувшись, я узнал, что мы лежим в деревенском сарае, а у ворот стоял вооруженный часовой. Кроме нас в сарае было еще несколько незнакомых солдат. Они курят и громко переговариваются. Из наших товарищей Буранбай, Индрил и Новиков все еще спят. Вся их одежда, лица и руки измазаны грязью, словно они возились где-то в болоте. Байгужа тоже весь вымазан, а на полы моей шинели налипло грязи толщиной в палец. Руки выпачканы, грязь набилась под ногти, словно рылись где-то в земле. Я долго, внимательно

оглядел всех и лишь после этого обратился к Байгуже:

— Где мы, почему валяемся тут? И что это за грязь на всех?

Байгужа, как бы усмехаясь, еле заметно скривил губы:

— Черт его знает, я и сам ничего не понимаю. Вот и разбудил тебя.

Незнакомые солдаты, что сбились в кучу в другом углу, никакого внимания на нас не обращают, поглощены своими разговорами.

— Зачем стоит здесь тот солдат с ружьем?

— Я тоже не пойму, к чему бы это. Может, мы арестованы? Давай, разбудим своих.

Байгужа стал расталкивать товарищей. Вскоре они один за другим начали подниматься и недоумевающе оглядывались по сторонам. Удивленные, забросали нас вопросами. Мы разговорились и загалдели в своем углу. Из другой группы к нам обернулся один солдат:

— Успокойтесь, — сказал он, усмехнувшись, — ничего страшного. Только под стражей, правда, лежим. Но это ничего. Положение, как говорят, не хуже губернаторского. Не беспокойтесь, спите давайте!

Часовой засмеялся:

— Ну как ваши головы, — обратился он к нам, — не болят?

Нас озадачил его вопрос. Мы ничего не понимали. Индрил вскочил на ноги, подбежал к часовому и стал у него спрашивать, в чем дело.

— Братец, — говорил он, — скажи-ка нам, как мы очутились здесь? Где мы и что тут происходит?

Часовой, усмехнувшись, коротко ответил:

— Пока вы — арестанты.

Волосы у нас встали дыбом, все соскочили с места, подойдя к Индрилу, в один голос закричали:

— Арестованы?! За что?!

Солдат на часах снова улыбнулся и холодно пояснил:

— За то, что напились и отстали от своей части.

Странными показались эти слова, и еще более усилили наше недоумение, мы вопросительно переглянулись.

— Ну, скажу вам, братцы, — начал один солдат из другой группы, — вчера вы, должно, переложили изрядно. Привезли вас сюда на повозке. А были вы без сознания, только вот этот рослый товарищ долго не мог успокоиться, все ругался, — он показал на Индрила.

Мы стояли молча, будто набрали в рот воды, не знали, что и сказать. Новиков нервничал, видно, не верилось в то, о чем он только что узнал:

— Врете, — горячился он. — Говорите же правду.

Солдаты смеялись. Тот, кто заговорил первым, высказал догадку:

— Ничего не помните, знать, помногу досталось. Вправду, — продолжал он серьезней, — где это вы достали выпивку?

Новиков не ответил ему, мы начали говорить между собой, выяснять, что и к чему.

Вчера мы были в деревне, мужик-белорус накормил нас, пустил переночевать в сарай. Затем мы достали в деревне продукты и вышли в путь. Пройдя несколько верст, уселись

в стороне от дороги и поели варенье с белым хлебом. А после... дальнейшее никто не помнил. Правда, припоминается, как после варенья зашумело в голове и все почувствовали слабость в суставах. Да, тогда же еще говорили, что варенья помногу есть нельзя. А что было дальше, никому вспомнить не удалось. Куда затем пошли, где были, как попали сюда — все это покрыто мраком неизвестности. Индрил, наконец, решительно произнес:

— А подвело нас, я вам скажу, варенье. Ведь мы ничего другого не ели.

Мы пришли к одной мысли, поверили догадке Индрила. Потом принялись осматривать, проверять свои вещи. Вещи оказались на месте. Остались еще одна белая булка, картофель, полбуханки черного хлеба. Выходит, мы съели лишь булку с вареньем. Да, так оно и выходило. Все же чего-то еще не хватало, чего именно — никто не мог припомнить. Задумались, но так и не могли найти.

Вспомнил же Буранбай:

— Винтовок нет! — вскрикнул он. В самом деле, ни у кого не было винтовок. Вмешался в разговор часовой:

— Винтовки отобрали, — крикнул он. — Разве у арестованных оставляют оружие?

На душе у нас стало спокойней. Начали теперь счищать грязь с одежды. Перерыли свои ранцы, все привели в порядок. Приготовились поесть. Обратились к часовому за разрешением сходить за кипяченой водой. В нашем углу жизнь ожила, стала веселей. Никого не беспокоило то обстоятельство, что мы находились под арестом. Другая группа солдат тоже примкнула к нам. Они попали под арест

тоже при отступлении в разное время и в разных условиях. Наша дружная компания привлекла их к себе, и вот среди арестованных мы превратились в своего рода руководящий центр.

Нас накормили обедом, дали ужин. Вовремя уложили спать. Наш сарай пополнился новыми арестованными, которые принесли нам вести с воли. Никого не интересовало, когда нас будут допрашивать и когда выпустят на свободу. Жизнь под стражей текла своим чередом. О том, что происходит на фронте, мы знаем. Теперь наши войска отступать перестали, заняли позиции и, говорят, готовятся к контрнаступлению. Такое сообщение лишь пробудило в нас желание как можно дольше пробыть здесь. Чем воевать, рискуя головой, лучше уж лежать в сарае. Именно так рассуждают все арестованные.

— Лишь бы не расстреляли, а лежать тут можно, — говорят солдаты.

Новиков здесь развернулся вовсю. Он завладел всеобщим вниманием. Стал вожаком среди арестованных Даже иной раз решал споры среди солдат, творил суд над виновными. Если вдруг возникает какое-либо недоразумение, то обращаются к Новикову, его мнение помогает установлению истины.

Воспользовавшись своим авторитетом, Новиков принялся пропагандировать среди солдат антивоенные взгляды. Если он начинает говорить о войне, то не ограничивается двумя-тремя словами, а заведет надолго. Каждую свою мысль подкрепляет примерами, различными фактами. Рассказывает обо всем, не хладнокровно, а как заправский оратор, пла-

менно и вдохновенно, размахивает сжатыми кулаками, порой разгорячась, постукивает об стенку. Некоторые факты солдаты подтверждают сами, а Новиков растолковывает, что и к чему.

— Вот ведь ты сам говоришь, — обращался он к собеседнику, — отца твоего мобилизовали как старого солдата, тебя самого тоже забрили в новобранцы и погнали на войну. Ты же совсем еще дитя. О войне ли тебе помышлять в такую пору! Учиться бы тебе, готовиться человеком стать. А вдруг ты погибнешь и отца твоего убьют.

Что тогда? Мать останется вдовой с детишками мал-мала меньше. А вы — крестьяне малоземельные. Достатка никакого... Как же мать одна детишек на ноги поставит? Ты думаешь, государство их возьмет на свое попечение, потому что вас убило на войне? Как бы не так!.. Они пойдут по миру с сумой. И околеют под забором, как собаки. Так вот знай, для нас от этой войны пользы ни на грош. Мы лишь держим огонь в своих руках. То, что варится на этом огне, едят богачи. Нам же с тобой на долю — могила в пол-аршина! И после нас еще останутся нищие. Помнишь, до этого была японская война. И до нее наша Россия всю жизнь вела войны. Какую пользу они принесли нашему брату? Может, голодающих не стало? Или рабочие и крестьяне из бедности вырвались? Да нет же, не бывать этому никогда!..

Слушают Новикова внимательно, не перебивая. Когда он кончил говорить, все в один голос согласились с ним:

— Так оно уж повелось, — откликнулись солдаты, — ничего не скажешь, что правда, то правда!

Если Новиков отлучается — выходит на двор или спит, солдаты хвалят его:

— Видать, башковитый парень. Не иначе, как социалист, всегда режет правду-матку в глаза! О чем бы ни заговорили, на все дает правильный ответ...

Когда Новиков рядом, то относятся к нему с особым почтением и любезностью, разговора о нем не заводят. В те минуты, когда молчит Новиков, на арену выходит Индрил. Он заводит свои нескончаемые анекдоты и смешит ими солдат. Если солдаты настроены серьезно или погружены в свои размышления, то он принимается насвистывать протяжные мелодии или начинает декламировать «Песню о Буревестнике». Байгужа с Буранбаем в разговор почти не вмешиваются. Они любят слушать других. Если случится, что перестают говорить, то они начинают рыться в своих ранцах, уже в который раз перекладывают, перетасовывают вещи. Или же заводят между собой разговоры о деревне.

В тоскливые минуты Новиков, по обыкновению, достает из кармана письмо, которое прислали нам Женя с Ирочкой, и перечитывает его. И каждый раз он подзывает меня. Потому что нас связывает это письмо, а также общие воспоминания о проведенных вместе счастливых минутах. Мы понимаем сердечные тревоги друг друга, переживаем вместе. Прочитав письмо, Новиков говорит:

— Интересно, где они теперь? Так и не смогли увидеться. Черт бы побрал! Хоть бы

война скорее кончилась. Где их теперь найдешь? Кто знает, может, они остались у немцев!

Погорюет, попечалится Новиков и снова прячет письмо в нагрудный карман, заложив его между листками блокнота. Я ложусь возле него и тоже задумываюсь об Ирочке. Они теперь на недосягаемом расстоянии от нас. В мыслях и мечтах лишь можно добраться до них. А так в жизни, особенно в нашей, военной, найти их едва ли возможно.

Дни проходят за днями без особых перемен. Что ждет впереди, что нам готовит будущее? Ничего светлого оно не обещает, а если задумаешься, сердце наполняется лишь горечью.

Эта горечь оборачивается затем ненавистью ко всему окружающему миру, к кровавой войне. Ненависть с каждым днем растет, усиливается, перестает вмещаться в груди и в минуты, когда гнев доходит до предела и уже не знаешь, куда себя девать, — вырывается наружу. Она часто звучит в словах Новикова, он дает ей словесное выражение. Другие же переживают про себя, хранят в сердце. И потому, что устами Новикова выражаются накипевшие слова многих сердец, солдаты солидаризируются с ним:

— Да, все это правда... — говорят они, тяжело вздыхая.

Так проходили дни, и волнение в наших сердцах росло, усиливалось с каждым днем. В один из дней пришла весть — нашей группе явиться в штаб, на допрос.

Никого из нас это не застало врасплох, никто не дрогнул, — на допрос пошли спокой-

ные, даже между собой и разговора об этом не заводили.

Нас встретил молоденький капитан. К нему всех ввели вместе. Сначала он осведомился — из какого мы полка, каким образом заблудились и отстали от части. Новиков выступил вперед и рассказал обо всем по порядку. Мы подтвердили его слова. Капитан долго сидел молча, затем начал задавать отдельные вопросы:

— На фронте к ответственности не привлекались?

— Никак нет, ваше высокоблагородие!

— Алкоголь употребляете?

— Никак нет, ваше высокоблагородие!

— Есть ли среди вас женатые?

— Никак нет, ваше высокоблагородие!

— Давно ли на фронте?

— Два года, ваше высокоблагородие!

Он снова оглядел нас одного за другим. О чем-то задумался. Походил по комнате. Мы стояли озадаченные. Затем он снова задал вопрос:

— В свою часть хотите вернуться?

— Так точно, ваше высокоблагородие!

— Ладно, тогда зайдите в канцелярию, дадут вам путевку и маршрут. Одного среди вас поставим старшим. Сегодня же отправляйтесь в свой полк!

Мы вышли за дверь. В канцелярии записали наши фамилии. Винтовки, однако, не выдали. Сказали, что материалы о нас будут посланы в штаб полка, а в руки дадут только путевку и маршрут. Ни слова не говоря, мы взяли в руки то, что нам дали.

Обрадованные тем, что все обошлось так благополучно, мы вышли из канцелярии. На улице Новиков остановил всех:

— Какая неожиданность, — сказал он. — На руках бумага. А об остальном позаботимся сами.

Когда мы вернулись в сарай, солдаты накинулись с вопросами:

— Ну, что там? Чем кончилось?

— Прощайте, братцы! — ответили мы бодро. — Мы уходим!

Солдаты приуныли, мы же быстро собрав вещи, направились к выходу. Остающиеся солдаты провожали нас шумно, махали нам руками, фуражками, кричали напутствия. Как обычно, пустив вперед Буранбая, мы зашагали вслед за ним.

Глава двадцатая

Теперь мы — вольные птицы. Под предлогом поисков своего полка, вот уже десятый день колесим по полям Белоруссии. В любом пункте нас кормят, пускают ночевать, дают продукты. И снова мы по путевке уходим по своей дороге. Мы уже потеряли маршрут, собственно, о нем уже перестали даже говорить.

Наш маршрут теперь — в голове у Новикова. Каждый день он предлагает на наше рассмотрение направление дальнейшего пути, мы обсуждаем его, вносим поправки, только после этого выходим на дорогу. Иной раз, если во время движения становится известным более удобный вариант, тотчас же меняем маршрут. Хороша ли, плоха ли дорога, ведет ли вперед или назад — это нас не особенно беспоко-

ит, потому что главная наша цель — держаться избранного самими направления. На нашем пути войк должно быть мало, а села, которые попадутся, должны быть глухими и не разграбленными солдатами. К тому же с путевкой в руках мы можем также и в тыл завернуть. Одним словом, мы кружимся в прифронтовой полосе на расстоянии в 40—50 верст от фронта.

Время страдное. Пришла пора крестьянам жать и убирать хлеб. Из фруктов тоже кое-что поспело. В такое время в деревне обычно живут сытно. Мы довольно часто пользуемся преимуществами этой поры. Если при остановке на ночлег попадется добрый хозяин, то мы не сразу покидаем ту деревню. Предлагаем хозяину свои услуги. В таких здоровых и сильных, как мы, парнях остро нуждаются в деревнях. Нас пятеро крепких парней, как возьмемся дружно, так с полевыми работами справляемся быстро. За сутки мы наворочаем столько дел, что хватило бы самому хозяину дней на десять. Лишь бы погода стояла хорошая — и днями и ночами помогаем доброму хозяину, готовы горы свернуть. И, конечно, за все это нас от души благодарят, угощают; случается иной хозяин за труды немного денег даст и продуктами на дорогу обеспечит. В деревнях мы занимаемся и более значительными делами. Среди крестьян ведем агитацию против войны. Правда, из-за этого попадали и в неприятность.

Как-то в одной деревне мы довольно основательно помогли хозяину, у которого остановились, и собрались уходить. Но хозяин уговорил нас остаться еще на один день.

— Завтра воскресенье, у меня будут гости, — сказал он, — угощения приготовлено вдоволь. Оставайтесь, погостите!

Спешить нам некуда, остались.

Наутро наехало множество гостей. Между ними был и церковный староста. Новиков, как на грех, этого не знал. Подвыпили, захмелели, разговор коснулся войны. Разумеется, среди крестьян не было таких, кто бы одобрял войну.

— Быстрее бы кончилась война, что ли, — говорили крестьяне, — народ, почитай, разорился совсем.

Новиков подхватил эту мысль, начал ее раздувать. Разгоряченный вином, он со всей страстью принялся излагать свои мысли относительно войны. Закончив пламенную речь, он встал, чокнулся с соседями и крикнул:

— Выпьем за то, чтобы скорее кончилась война, долой войну! — опрокинул свой стакан в рот.

Гости поддержали Новикова и повторили его слова. Разговор принял характер митинга. Но вот взял слово гость, сидевший до сих пор молча, в углу, под иконами. Лицо у него было сухощавое, губы тонкие, нос острый, а борода с проседью. Он сидел, уставившись маленькими синими глазами на стакан перед собой, и говорил тонким голосом:

— В тяжкий грех впадаете, веру православную позорите и бога оскорбляете. Гласа божьего не слушаем, даем волю языку, с пути истинного сбиваемся. Ничто на земле не свершается без божьего благословения. Своими греховными словами ничего мы не можем изменить. Ничто земное не свершится, пока время



его не подошло. Ослабла вера в нашей священной России. Потому и послал бог в наказание людям войну на грешную землю, война — это кара божья. Мы должны молиться всевышнему и просить его, чтобы он снял с нас эту кару. Ежели мы так каждодневно грехи будем творить, то бог еще строже покарает нас.

Все слушали его молча. Никто против него и слова не сказал. Лишь одна старушка, глубоко вздохнув, прошепелявила:

— Ох, ох, грехи наши тяжкие прости, господи!

Видно, это рассердило Новикова. Он не выдержал, ляпнул:

— Что вы морочите чепухой головы?..

Человек в углу внезапно поднялся:

— Я — церковный староста, — сказал он строго. — Вы срамите меня. Почему это во время войны вы разгуливаете по деревням? Может быть, вы евреи или социалисты? Это их слова в ваших устах. Нет, вы не простые солдаты, нужно проверить ваши документы! Я все вижу. Вы агитируете против государя, против войны, крестьян подстрекаете...

Староста весь распалился, затрясся, угрожая Новикову, замахал кулаками; Новиков оторопел, побледнел и стал извиняться:

— Я не знал, что у вас такой горячий характер. Ей-богу, не знал, а то ничего бы не говорил, — сказал он, отступая назад. Хозяин подбежал к старосте и стал умолять его:

— Уж вы не примите всерьез солдатские слова. Люди они простые, — говорил хозяин и просил старосту, чтобы тот успокоился.

— Пусть они уйдут отсюда, — сказал староста решительно, — или я покину этот дом.

Лучшего в данный момент нельзя было придумать. Мы поднялись из-за стола и вышли на улицу. За нами вышел хозяин. Отозвав нас в сторону, он принялся объяснять суть происшедшего.

— У меня к вам нет никаких претензий. Спасибо, хорошо помогли. А этот наш церковный староста — человек очень злой. Он многих выдал властям. А я, черт бы меня побрал, забыл предупредить вас. Вы же, пока не случилось худа, уходите быстрее. Он у нас такой, что сказал, обязательно исполнит.

Хозяин торопил нас, чтобы мы скорей убрались отсюда. Закинув котомки за спину, мы поспешно пробрались через огород к задам и вышли на дорогу.

— Хорошо, что староста выдал себя, — говорит Новиков, шагая по дороге. — А то мог бы сидеть молча, слушал бы наши речи, мотал себе ус, а после пошел бы и донес куда надо. Плохо бы тогда нам пришлось. Мы просидели бы до конца угощения, а хозяин — хороший человек — сегодня нас не отпустил бы. Уговорил бы переночевать. Я знаю таких людей, как этот староста. Они способны наговорить такое, что греха не оберешься. А у нас на руках лишь путевка. Да и та просрочена. И за это бы еще попало. Обвинили бы нас как шайку злостных дезертиров, тогда уж стали бы судить по-другому. Хорошо, что на этот раз спаслись. Пусть этот случай на будущее послужит уроком!

В тот день мы долго шли без остановки, хотели уйти как можно дальше от той деревни, где произошло злополучное столкновение

с церковным старостой. Чем дальше, тем спокойней чувствовали себя.

«Обжегшийся на молоке дует на воду» — говорит пословица. Теперь в деревнях мы не выбирали, как прежде, лучшие дома для отдыха, опасаясь попасть на глаза деревенскому начальству, заходили в избы где-нибудь на краю села к беднякам или солдаткам. Правда, в таких домах живут не очень богато, но зато все говоришь и делаешь без оглядки, не опасаясь, что тебя выдаст кто-нибудь.

Однако и в таких домах нас поджидали неприятности. Однажды мы остановились у инвалида. Перед войной он работал у помещика и как-то наступил на ржавый гвоздь, после чего получилось заражение крови. Он мучился долго, и в конце концов ему ампутировали правую ногу. И теперь он немало терпит страданий, жалуется на боль в ноге. У него нет ни коня, ни коровы, держит одну свинью. Жена у него молодая, красивая, любит пошутить. Поет без конца веселые песни. Мы переночевали в этом доме, а проснувшись, удивились одному странному обстоятельству: на лбу у каждого был начертан сажей крест. Мы растерянно смотрели друг на друга, недоумевали, в конце рассмеялись и обратились к хозяину:

— Может, у вас принято рисовать кресты на лбу всех, кто здесь ночует?

Жена взглянула на мужа и гневно заговорила:

— Хромой черт! Разве так поступают с гостями?

Хозяин почувствовал себя неловко и, виновато усмехнувшись, сказал:

— Среди вас, оказывается, есть солдат хитрее меня. Ладно уж, пусть так и останется! — закончил он с обидой в голосе. Для нас все продолжало оставаться загадкой. Мы просили хозяина объяснить в чем дело, но он отказался говорить. Тайна крестов на лбах осталась нераскрытой.

В то утро мы, попрощавшись с хозяевами, ушли из деревни. Хозяин проводил нас холодно. Всю дорогу мы ломали голову о крестах, но объяснения найти не могли. Уже остановились на привал, а разговор шел о том же. Буранбай посмеивается. В разговор не вмешивается. Это показалось подозрительным.

— Почему смеешься? — спросили его. — Может, что-нибудь знаешь?

Он громко расхохотался. Его смех заинтриговал нас. Стали умолять, чтобы он рассказал быстрее и раскрыл тайну. Буранбай не заставил себя долго упрашивать.

— Я сидел один на улице, — заговорил он, — а хозяйка начала привязываться, стала мне поручать разные дела. Я послушался, исполнил все, что она просила. Но она все пристает да пристает, балуется, хватает за нос, гладит мне лицо, ну, просто сама лезет. И я, конечно, тоже малость заигрывал с ней. Она, видно, приняла это всерьез. Стала жаловаться на мужа. Говорит, инвалид он у меня, ни к чему не годен. Потом я с ней спустился в подпол за картошкой. Там она кинулась мне на шею, прижалась и крепко-крепко стала целовать меня в губы, кусать мне лицо. Я и не знал, что делать, как-то невзначай шепнул ей: «Когда же встретимся?» Она и говорит: «Муж страшно ревнует, следит за каждым шагом.

Ночью, если болит нога, он выходит на улицу, сидит прохлаждается. В это время и встретимся». Ночью я спал очень крепко. Проснулся оттого, что чья-то горячая рука гладила меня по лицу. Это была жена нашего хозяина. Я перебрался к ней. В это время в сенях заскрипела дверь, муж шел в избу. Она меня оттолкнула от себя, видно, муж услышал, как я метнулся к себе в постель, сердито заворчал на жену. Затем он подошел к нам и стал у наших ног. Я лежу, дрожа от страха, все же похрапываю, прикинувшись спящим. Мужик оказался хитрющим, начиная с края, принялся щупать пульс, а у меня сердце бьется, что у разгоряченного скакуна. Хозяин заругался, сходил к печке, оказывается, это он вымазал свои пальцы в саже. Затем вернулся ко мне, не торопясь, обстоятельно начертил у меня на лбу крест. «Погоди-ка, завтра я заставлю тебя покраснеть», — пробурчал он себе под нос и ушел к себе спать. Я обрадовался тому, что дело обошлось так легко. Ведь у ревнивцев скверный бывает характер, возьмет и шарахнет по башке топором, я сильно боялся этого. Лежал и думал, если увижу у него в руках что-нибудь, то обязательно разбужу вас. Сон отлетел прочь. Хозяин полежал, покряхтел немного и уснул, раздался его храп. Я лежал и думал о кресте на своем лбу. Вытрешь — все равно след останется, если встать и смыть — услышит. Я не знал, как быть, боялся пошевелиться. Вдруг меня осенила одна мысль. Начертить крест на лбу у всех, тогда хозяин не осмелится ни к кому придраться. Тихонько подобрался к печке, вымазал все пальцы в саже. Вернулся и нарисовал кресты на ваших лбах,

и руки ваши тоже перемазал в саже. Только после этого, немного успокоившись, лег спать. Вот и весь секрет, — закончил Буранбай свой рассказ. Мы все покатились со смеху. Удивились хитрости Буранбая.

— Ребята, — заговорил в конце Индрил, чуть посерьезнев в лице, — больше такого нельзя повторять. Сами знаете, в каком мы находимся положении, и так по краю пропасти ходим! Пусть этот случай будет первым и последним!

Все перестали смеяться. Буранбай чувствовал себя виноватым и, как бы оправдываясь, тихо сказал:

— Разве я один виноват! Я же не лез к ней, она сама пристала. Больше такого не будет, — он, отвернувшись в сторону, бросил взгляд вдаль. Раскаяние Буранбая снова нарушило установившуюся было серьезность, мы все посмотрели на Буранбая и засмеялись. В тот день всю дорогу Буранбай не сходил с языка, он стал героем дня.

В этот день мы набрели на деревню польских мусульман, под Витебском. В деревне собралось множество солдат-мусульман, среди которых попадались и офицеры-мусульмане. Они показались нам очень близкими. Мы заговорили с ними, стали выяснять, что тут происходит.

— Завтра здесь ураза гаит[1], нас поэтому отпустили с фронта, — говорили солдаты. Мы тоже решили остаться здесь. Правда, своих односельчан среди мусульманских солдат не

[1] Ураза гаит — торжественное богослужение после окончания поста (ураза).

встретили, но люди из наших краев, земляки попадались. Мы с ними разговорились и потом целый день дулись в «двадцать одно». Индрил показал себя искусным картежником, обчистил всех, кто сидел в нашем кругу. К вечеру приехал еще один офицер, один дивизионный и один полковой муллы. Чувствовалось, что у них немало денег. В игре с нашей стороны приняли участие Индрил и я. Остальные товарищи улеглись спать. Игра разгорелась вовсю. Ставки одна за другой переходили в карман Индрила. Самым азартным среди игроков оказался дивизионный мулла Халимов. При раздаче карт он, забыв себя, следит за руками банкомета, смотрит на карты игроков, словно пытается угадать, что им выпало. Свои карты он быстро берет со стола и заглядывает в них. При этом он заметно нервничает, разглядывая карты, он осторожно выдвигает вверх уголок новой карты, в это время руки его мелко дрожат. Если очков не хватает, с глубоким волнением просит:

— Дай еще одну! — сам он неотрывно смотрит на то, как банкомет вытаскивает из-под колоды новую карту. Набрав достаточное количество очков, он кладет карты на стол, плотно сомкнув губы, некоторое время посидит молча, глядя вниз, лишь затем с особым чувством говорит банкомету:

— Бери себе!

Каждую карту, что берет себе банкомет, он разглядывает, низко нагибаясь и близко подвинувшись. Если же у Халимова случается перебор, он глубоко вздыхает, раскрывает свои карты и говорит, сокрушенно качая головой:

— Лишнего набрал...

Когда при крупном банке набирает двадцать одно, то он громко кричит «очко!», кидает карты на стол и с какой-то восторженной жадностью набрасывается на деньги, растопыренными пальцами прикрывает их, загребает к себе и, скомкав в руках, сует в карманы. Во время игры ничто другое, кроме карт и очков, его не занимает. Другие игроки переговариваются между собой, встают и прохаживаются, чтобы поразмяться, а мулла Халимов обычно целыми ночами сидит как истукан, не сходя с места, двигаются у него лишь руки да голова. Все его внимание приковано к картам, он весь занят подсчитыванием очков и денег.

Деньги офицера и двух мулл со временем перебрались в наши карманы. Под конец Халимов поставил в банк свои ручные часы. Они тоже перешли к Индрилу. Мулла Халимов просидел бы еще долго, но уже взошло солнце и приближалось время торжественной молитвы. Народ начал собираться к молитве, мы тоже разошлись и улеглись спать.

Меня разбудил Байгужа, в это время народ уже начал расходиться после гаита.

— Вставай, — говорит Байгужа, — польские мусульмане там подарки раздают солдатам. А девок красивых и баб сколько собралось, айда быстрей, а то без доли останемся.

Мы с Байгужой пошли к мечети, где раздавали подарки. Площадь перед мечетью напоминала ярмарку, кишмя кишела народом.

От ограды мечети до самой дороги выстроились женщины и девушки. Среди них много девушек, одетых в гимназические фор-

мы. В руках они держали коробки и узелки. Это дочери польских мусульман, учащиеся гимназий и других учебных заведений. Старик, одетый в чиновничью форму, за столом принимает подарки, принесенные женщинами и девушками. С другого конца офицер по очереди пропускает к столу солдат, выстроенных в ряд, каждый солдат получает папиросы, спички, печенье, бумагу, конверты, карандаш и разную другую мелочь и выходит на улицу.

Из мечети вышел человек в шляпе, одетый в нечто вроде кафтана и уселся в тарантас. На груди у него блестели медали, подвешенные на лентах, длинные усы свисали вниз, а на подбородке торчала остренькая бородка. Рядом с ним сел такого же облика человек в военном. Проезжая ворота, они поздоровались с офицерами, стоявшими здесь. После их отъезда заговорили солдаты:

— Тот, что в шляпе, — мулла, а другой — мусульманский полковник.

Когда мы с Байгужой, получив подарки, вышли за ограду мечети, навстречу нам попался дивизионный мулла Халимов, с которым до самого солнца резались в карты. Он подозвал меня к себе:

— Один мусульманский бай пригласил нас в гости. Там будут несколько офицеров да мы. Ты тоже, кажется, человек образованный, пойдем с нами. Только уговор, товарищей своих не приводи!

Байгуже стало неудобно. Он отвернулся в сторону, прикинулся, что не слышит и закашлялся. Пытаясь как-то сгладить неловкость, я хотел отговориться.

— Мне, пожалуй, будет неудобно прийти

незваным гостем. К тому же и товарищи могут меня потерять.

Байгужа не дал Халимову рта раскрыть:

— Наши, наверное, еще спят, — сказал он, обратившись ко мне. — Пока мы приготовим ужин, ты мог бы сходить, увидишь, как празднуют в этих краях.

Слова Байгужи прозвучали как приказ.

— Ну, раз так, — повернулся я к Халимову, — пошли тогда.

Подарки свои я отдал Байгуже, сам последовал за Халимовым.

Большой дом. Вокруг него — сады с различными фруктовыми деревьями. На больших окнах — шелковые шторы. В открытые окна слышны звуки пианино. На подоконниках праздничным ароматом благоухают яркие цветы. Видно, понравилось все это благолепие мулле Халимову, он восторженным взором окинул раскинувшиеся рядом сады и мечтательно произнес:

— Вот бы в таком приходе служить муллой!

Между тем на крыльце появился солидный человек с большими усами и обратился к нам по-русски:

— Добро пожаловать, дорогие гости аллаха!

Мы вошли в дом. Здесь были офицер Ахметьянов, что вчера играл с нами в карты, полковой мулла Тупышов, еще один поручик и один подпоручик. Возле них вьются несколько празднично одетых женщин. Видно, все дожидались нас, хозяин вскоре пригласил гостей к накрытому столу. Когда уселись за стол, остальных гостей познакомили с Халимовым.

— Этот господин нам незнаком, — сказал хозяин, — пусть представится сам.

Я растерялся от неожиданности и, собравшись с духом, проговорил:

— Я — солдат, прибывший с фронта на праздник...

Все взоры остановились на мне. Потому что по одежде я не был похож на простого солдата. На ногах у меня хорошие сапоги, добытые в Варшаве, одет в диагоналевые брюки, аккуратно сшитая гимнастерка перехвачена в поясе добротным офицерским ремнем, на голове офицерская фуражка, лишь кокарда и погоны — солдатские. В честь праздника я был одет в новое обмундирование. Оно шло мне и сидело хорошо. Халимов на ломаном русском языке стал высказывать свои догадки:

— Этот господин сабсим не простой солдат, какой-нибудь штаб, наверно, работат.

Мне пришлось прибегнуть к небольшой лжи, не моргнув глазом, я сказал:

— Я служу телефонистом в штабе дивизии.

На этом разговор обо мне прекратился. Все принялись уплетать поданные на стол праздничные блюда. Хозяин высказал свои извинения:

— Сами знаете, праздник религиозный, так что для поднятия духа ничего не смог поставить. Добро пожаловать в другой раз, господа офицеры!

За столом беседа шла только на русском языке. Я и Халимов вмешиваться в разговор не пытались, были усиленно заняты блюдами, поданными хозяевами дома. Офицеры же

шумно переговаривались с гостями и девушками, громко смеялись.

Не знаю, по какому-то поводу разговор зашел о коране. Его, кажется, начал поручик. Хозяин прошел в угол к треугольному столу, накрытому шелковой скатертью, на котором лежал коран в плюшевом переплете. Он принес книгу к праздничному столу и положил рядом с ней белые перчатки, которые нужно было надеть, чтобы взяться за коран. Никто сразу не осмелился надеть перчатки и взять коран. Между тем поручик продолжал:

— У вас коран читают без макама[1], как простую книгу, у нас читают по разным макамам. Скажем, в последнее время есть макамы Египта и Мадины.

Хозяина звали Мустафой. Он попросил, чтобы мулла Халимов прочитал коран с макамом, положил перед ним белые перчатки. Пальцы у Халимова были толстые и крючковатые. Жестом, каким он забирал картежный выигрыш, Халимов сгреб к себе перчатки, попытался надеть их, перепутал левую с правой. Наблюдая за его возней, гости рассмеялись. Видно, Халимову ни разу в жизни не приходилось надевать подобные перчатки, все же он начал перелистывать пожелтевшие страницы корана, пробежал по ним глазами, проговорив:

— У нас коран вот как читают! — закрыл глаза. Дрожащим голосом, подражая чьему-то напеву, он растягивал слова, читал, издавая неприятные звуки. Его чтение вряд ли кому-либо понравилось. Поручик, распространяв-

[1] Макам — особый мотив чтения корана.

шийся о способах чтения корана, заметно покраснел и, пряча улыбку, склонил голову вниз. Халимов подрагивал, как больной лихорадкой, на его шее вздулись жилы, он выкрикивал высоким голосом. Женщины с удивлением смотрели на него. Казалось, он никогда не кончит чтения. Все тянул и тянул. Хозяин стоял у конца стола и слушал муллу, прижав руки к груди. Когда наконец Халимов кончил читать, на лбу его блестели капли пота, вытащив из кармана грязный носовой платок, он вытер им лицо. Затем он долго и шумно сморкался в тот же платок. Неприятными были манеры Халимова для собравшихся здесь гостей. Но Халимов был далек от того, чтобы понять это, наоборот, он держал себя весьма свободно, с увлечением принимал почет и внимание, оказываемые хозяином, даже откинувшись назад, коснулся головой спинки мягкого кресла и с удовольствием отрыгнул. Поручик чувствовал себя очень неловко, покраснел до ушей и, чтобы как-то сгладить неприятность, проговорил:

— То, что читал мулла-эфэнди, не походит на макам Египта и Мадины. В наших краях есть их знатоки, читают очень хорошо.

Хозяин молчал, как бы в подтверждение слов поручика покачивал головой. Всем хотелось как-то перевести разговор от корана на что-либо другое. Но беседа никак не клеилась.

Мне с этой компанией было совсем не весело. Хотелось вернуться к своим товарищам. Но как уйти, какой придумать предлог? Я стал ломать голову над этим вопросом. У других гостей не было таких забот. Мулла Халимов стакан за стаканом пил чай, даже вспотел

весь. Тупышов сидел, скромно подобравшись, и молча разглядывал женщин. Никто со мной не заводит разговора. Я наблюдаю за всеми, рассматриваю обстановку дома, одежду гостей. Дом весь убран по-городскому, и гости и хозяева тоже одеты как горожане; ни в убранстве дома, ни в одеждах, ни в обычаях не найдешь признаков, которые напоминали бы мусульман наших краев. Лишь коран, водруженный в углу на место иконы, свидетельствует о том, что здесь живут мусульмане. Но и коран положен не на полку, как у нас, а на шелковую скатерть, его берут, надев на руки белые перчатки. Есть ли у них здесь умеющие читать коран, — это для нас дело темное.

Хозяин Мустафа Карашайский, у которого мы были в гостях, служит в городе, в банке. Немного спустя он познакомил гостей со своей работой, после чего рассказ повел о житье-бытье, о семье, причем из его слов выходило, что он ратует за чистоту мусульманской семьи и веры.

— Мусульманам здесь трудновато в отношении семьи, — говорил он. — Растишь-растишь детей, они становятся людьми, образование получают, наши джигиты женятся на русских девушках, а дочери выходят замуж за русских офицеров. В какую семью попадут, ее же религию соблюдают. Меняют ислам на православную веру. Отцы и матери остаются одни при своих коранах. Вот вы, господа офицеры, пока здесь находитесь, — оживился хозяин, — женитесь на наших девушках, покажите, какие бывают настоящие мусульмане.

Женщины, сидевшие на другом краю стола, громко засмеялись, некоторые из них, за-

стыдившись, опустили головы вниз. Другие гости тоже усмехнулись. Однако Мустафа Карашайский не хотел, чтобы его серьезный разговор обратили в шутку:

— Нет ничего смешного, — сказал он. — Я правду говорю, — и он повернулся к офицеру. Но на слова хозяина никто не отозвался. Поддержать его было неудобно перед девушками. Однако Халимов не выдержал, отставив свой стакан с чаем, он громко заговорил:

— Мустафа-эфэнди правду говорит, раз девушки — мусульманки, пусть выходят за мусульманских джигитов. Гляньте, какие у нас красивые, образованные джигиты. Давайте будем сватать за них. Я готов обвенчать. Может, сейчас же и начнем? — закончил он и засмеялся с каким-то хрипом в горле. Халимов говорил на сильно ломаном русском языке, но все же основную нить его мысли поняли все. Гости весело засмеялись. Некоторые девушки, не выдержав, давясь от смеха, убежали в соседнюю комнату. Хозяину это не понравилось:

— Что за детство еще? — крикнул он со строго осуждающими нотками в голосе. Девушки, видно, побаиваются своего отца, они тотчас же вернулись к столу, пряча глаза вниз.

— Простите! Мы это только так, — говорили они, усаживаясь на свои места.

Гости давно уж перестали есть, лишь один Халимов, рассевшись, как у себя дома, обливаясь потом, усердно пил чай. Наконец он перестал пить, гости один за другим начали вылезать из-за стола. Хозяин закурил, и остальные тоже, словно этого и ждали, усев-

шись на диван, задымили папиросами. Как новый человек среди гостей, я присел несколько в стороне. Неожиданно ко мне подошла одна из дочерей Карашайского и, подавая мне руку, назвала свое имя:

— Марьям!

Застигнутый врасплох, я даже забыл назвать себя, пожал ее руку, чуть приподнявшись с места, и снова сел на диван. Она села рядом со мной.

— Вы, кажется, скучаете, — заметила она, — я давно смотрю на вас, не разговариваете, чувствуете себя очень стесненно.

Я не ждал от нее таких слов, совсем растерялся. Молчал, не зная, что и сказать.

— Я здесь новый человек, — вымолвил я наконец, — ни с кем не знаком.

Марьям сразу оживилась, на ее лице отразилось волнение.

— Зачем! Зачем!.. — запротестовала она,— разве можно так думать? Здешние господа — все наши новые знакомые. Давайте не будем такими скучными! Сегодня, — сказала она как-то доверительно, — в честь праздника у нас соберется вечер молодежи. Мы настоятельно просим вас прийти. Я думаю, из кавалеров здесь вы один, остальные, наверно, женаты.

Я покраснел, не мог вымолвить слова. Лишь немного погодя нашелся сказать:

— Если не уедем, может, и придем...

Марьям снова выразила удивление:

— Вам же всем дан отпуск на четыре дня, ведь так? Мне говорил папа. Мы всех своих знакомых известили об этом.

Она подсела еще ближе ко мне. Слово «ка-

валер», вырвавшееся из ее уст, и то, что Марьям подсела так близко, взволновали меня не на шутку. И вправду, среди гостей я был самым молодым. Халимову и Тупышову, должно быть, около тридцати лет, они оба — солдаты запаса, а поручик женат. Я заметил, как он показывал собеседникам фотокарточку жены и детей. Прапорщик Ахметьянов хотя и молод по летам, но у него выражение лица старческое. Весьма возможно, что он тоже женат. А мне только что минуло двадцать. По-своему она, конечно, была права, принимая меня за кавалера. Я теперь тоже понимал, что к чему.

— Если будет возможность, — сказал я нежно и с предупредительной ласковостью в голосе, — обязательно постараюсь прийти.

Марьям как-то быстро привыкла ко мне и теперь говорила со мной, как с давнишним знакомым.

— Может быть, вам квартира попалась нехорошая и вы хотите поискать другую? Я угадала, да? — стала она допытываться и вдруг предложила: — А вы, пожалуйста, переходите к нам! Дом у нас большой, отдельные есть комнаты. Захотите, можете спать в беседке. Там хорошо, воздух чудесный. К нам придут девушки — наши подружки, будет весело.

Душа у меня не на месте, я беспокоюсь о своих товарищах. Во что бы то ни стало мне нужно вернуться к ним. А вдруг они уже собрались уходить и ругаются, что меня так долго нет. Здесь же совсем не настроены отпустить меня так скоро. Дело принимает иной оборот. Предлагают прийти на вечер, перейти

к ним на квартиру!.. Я не могу переварить всего этого, усиленно думаю и курю папиросу за папиросой. На спине выступил пот. Чувствую, что за ушами будто тоже пробивается пот, но как назло у меня в кармане нет носового платка. Вытереть рукой неудобно. Рядом сидит такая образованная культурная девушка. На ней тонкое шелковое платье, икры ее обтягивают шелковые чулки, на ногах чудесные белые туфли. Аккуратно и красиво причесаны волосы. На груди — золотая брошка, на пальцах бриллиантовые перстни, в руке держит шелковый платок и веер. Она легонько обмахивает веером лицо, от нее исходит приятный запах дорогих духов, я заметил, что у нее два передних зуба — золотые. Ко всему прочему, и фигура у Марьям ладная и изящная. На маленьком круглом личике выделяются большие черные глаза, обрамленные длинными ресницами, и красивые тонкого росчерка черные брови. Острый нос, маленький рот с яркими, как цветы, алыми губами и щеки, напоминающие спелое яблоко, — все это, дополняя друг друга, придает Марьям особую прелесть и красоту. Не верится, что живое человеческое лицо может быть таким красивым, в воображении всплывают картины художников. Я не мог ничего поделать с собой, несколько раз впивался в это чудесное лицо восхищенными глазами. Но тотчас же спешил перевести взгляд от ее лица. А Марьям, ничего не подозревая, когда говорит, подвигается ближе, жмется ко мне и в упор смотрит мне в глаза. В такие моменты я, чтобы не встретиться с ней взглядом, отвожу глаза вниз. Мне не хочется, чтобы она видела мои

загрубелые, потрескавшиеся, с въевшейся в кожу грязью руки, я сую их в карман, а когда курю, под предлогом, чтобы дым не струился в ее сторону, руку с папиросой отодвигаю подальше за край дивана.

Марьям для меня становилась все более близкой и знакомой. Она окончила гимназию, учится на высших женских курсах, готовится стать педиатром — детским врачом. Все это я узнал из ее уст, она рассказала о своей сестре Саре, которая в будущем году окончит гимназию, сказала даже о том, что ей самой идет уже двадцать второй год. Об отце своем тоже рассказала, что характером он крут, истый мусульманин и хочет, чтобы и дети его воспитывались по мусульманским обычаям. Я видел, как Халимов, не отрывая глаз, с интересом следит за нашим разговором, несколько раз, когда мы встречались с ним глазами, он ободряюще подмигивал мне. Сверкая глазами и потирая руки, он улыбался какой-то озорной улыбкой.

А на душе у меня неспокойно, все мои мысли то и дело возвращаются к товарищам. Марьям меня ни о чем не расспрашивает. Отвечая на ее вопросы, я пытался держать себя с достоинством, говорил неестественно в нос, одним словом, хотел показать себя человеком образованным. За нами неотрывно наблюдала и мать Марьям, она вскоре подошла к нам, пожала мне руку и присела рядом со мной на диван.

— Смотрю я на вас, Марьям, — заговорила она, — и кажется мне, что вы с этим господином, видно, общий язык нашли. Разговор уж у вас идет больно веселый. Если не поме-

шаю, и мне разрешите посидеть с вами! — Она взглянула на меня и улыбнулась.

— Пожалуйста, пожалуйста! — поспешил я отодвинуться, уступая ей место.

— Да вы сидите, не беспокойтесь! — сказала она, взяв меня легонько за руку. Марьям искренне обрадовалась словам своей матери. Она по-детски лукаво посмотрела красивыми глазами на мать и схватила ее за руки.

— Спасибо, мам! — залепетала она, — да, разговор у нас тут действительно очень веселый. Беседа весьма приятная. Кстати, я только что пригласила нашего гостя прийти сегодня на вечер. На случай, если квартира у них не подходящая, предложила расположиться в одной из комнат у нас.

Хозяйка дома приложила руки к сердцу и искренне сказала:

— Милости просим! Пусть занимает, иначе и не может быть. Да и нам будет очень весело проводить праздник в такой приятной компании.

Взволнованная, она погладила меня по спине. Ее слова еще более обеспокоили меня. Так сильно овладело мной желание быстрее уйти отсюда, что если бы была возможность, птицей бы вылетел из дома. Оказавшись рядом с товарищами, я бы расцеловал их всех. Охваченный этими чувствами, я невольно кинул взгляд на потолок и на открытые окна.

Мои размышления прервал хозяин дома Мустафа, он попросил тишины и сказал:

— Что же это мы гостей угощаем одними разговорами. Господа, попросим, чтобы Марьям сыграла нам что-нибудь.

Кто-то захлопал в ладоши. Марьям легко поднялась со своего кресла, подошла к пианино и стала перебирать ноты. После ее ухода я почувствовал себя свободнее и облегченно вздохнул. Теперь уж я наблюдал ее со стороны, не чувствуя никакого стеснения. Очень красив ее стан: все на месте, нет ничего лишнего. Словно она для того и создана, чтобы смотреть на нее и восхищаться. Она кажется изящной бабочкой, которая только и должна летать да порхать. Я никак не мог теперь понять, как это она могла со мною говорить и душу свою, можно сказать, раскрыть передо мной. Она рылась в стопке с нотами и никак не могла найти нужные. Хозяйка извинилась и тоже ушла, оставив меня одного. Я почувствовал себя еще более свободным. Воспользовавшись моментом, я встал с дивана и, подойдя к окну, посмотрел на улицу. Мне стало не по себе, еще сильней затосковало сердце. Никак не могу придумать повода, чтобы отпроситься и уйти, мне кажется, что все, что ни скажу, получится неубедительно, неудобно. Так ничего и не решив, я подошел к Халимову и присел около него. Я не успел еще сесть, как он ткнул меня в бок, приник к моему уху и взволнованно зашептал:

— Ну, джигит, я тебе скажу, настоящего ангела зацепил! Присушил ты ее окончательно, смотри только не упусти! Да ты сам видишь, как и мать кружится вокруг тебя! К тому ж ведь и комнату предлагают. Будь на твоем месте я, и шагу бы отсюда не шагнул никуда, так и остался бы с этим ангелочком вместе.

Уши мои раздирало от этих слов Халимова. Гнев закипал в сердце и, наконец, я вынужден был отойти от него.

— Чего испугался? — шептал он мне вслед, — они же по-нашему ни черта не понимают!

Марьям начала играть на пианино. К ней подошел отец, чтобы перелистывать ей ноты. Все замолчали, захваченные чарующими звуками. Марьям играла какую-то бодрую, веселую мелодию, которая так легко проникала в душу и заставляла волноваться сердце. Она сидит за пианино, непринужденно и вольно ведет начатый мотив, раскачивается из стороны в сторону, ее тонкие красивые пальцы проносятся по клавишам, плывут над ними. И кажется, что музыка возникает не оттого, что она нажимает на клавиши, гармоничные звуки издает сама Марьям, они вырываются будто из ее пальцев.

Она сыграла несколько мелодий. Все слушали ее очень внимательно и с волнением следили за каждым ее движением. Когда она кончила играть, все принялись хвалить ее. Отец тоже не остался в стороне, рассказал кое-что о дочери.

— Наша Марьям с малых лет имела способности к музыке, — заметил он, не скрывая своей гордости, — учителя музыки говорили даже, что она сможет стать великим композитором. Но я не захотел, чтобы она пошла по этой дороге. Все же постарался, чтобы она получила достаточные знания по музыке. И теперь просят отпустить ее в консерваторию. Пока ничего еще не решили по этому делу. Она ведь учится у нас по медицине.

Через некоторое время поручик попросил у хозяина разрешения уйти. Хозяин еще не успел сказать ничего определенного, я тоже поднялся с места. Марьям, словно бабочка, мигом подлетела ко мне.

— А вы куда спешите? — забеспокоилась она. — Посидите еще! Папа, ну как это ты разрешаешь гостям уходить? Пусть останутся!

Поручик начал выкладывать свои доводы. Обещал вернуться. Мустафа обвел всех глазами и сказал:

— Господа! К восьми часам вечера все пожалуйте ко мне на ужин. Придут и другие гости. Компания будет небольшая, но веселая. Девушки, кажется, вечер затевают, кто пожелает, может пойти туда!

Все гости, пообещав прийти вечером, попрощались с хозяевами. Вышли на крыльцо, за нами последовала и Марьям, она подошла ко мне и взяла меня за руку:

— А я вас приглашаю лично сама. Не вздумайте не прийти. Я жду! Не то обижусь! — Она вышла со мной на улицу. Я лишь кивком головы выразил согласие прийти. А сам был готов немедленно полететь к своим друзьям. Мы зашагали по улице, а она все еще продолжала стоять у ворот. Я пытался держать себя прямо и шагать четко печатая шаг, как это делают офицеры. Халимов, не переставая, продолжал говорить о Марьям и обо мне. Когда мы завернули в переулок, я быстро попрощался с новыми знакомыми и со всех ног пустился бежать к своим товарищам. Бегу и чувствую себя виноватым, ду-

маю, как мне оправдаться перед товарищами...

Товарищи мои сидели притихшие. Новиков и Индрил явно были не в духе. Они молчали.

— Мы тебя ждали, а ты все не возвращался, — сказал Байгужа. — Ужин тебе оставили. — И он загремел котелками. Я чувствовал себя неловко. Подошел к Новикову:

— Задержался немного, — сказал я виновато. — Наверно, рассердились на меня? Если собрались уходить, можно сейчас же тронуться!

— Нет, никто не сердится, — ответил Новиков вяло. — Тут мы вот с Индрилом малость поцапались.

Индрил оживился и бодро заговорил:

— Новиков наш вздумал Наполеоном стать. А я говорю, нет, не быть тому. Не могли прийти к единому мнению, заспорили. — Он поднялся с места и стал расхаживать.

— Чудак,— сказал Новиков снисходительно усмехнувшись, — уперся на своем и все тут! Ладно уж, больше я не буду с тобой спорить. Вот вернулся Булат, выскажет свое мнение.

Между тем Байгужа поставил передо мной котелок с картофельным супом со свининой Суп показался очень вкусным. Никто не интересуется тем, где я был в гостях и что там видел. Я чувствовал себя неловко.

Позднее все стало ясно. Разговор между товарищами шел о нашей дальнейшей судьбе. Мысли Новикова и Индрила в этом вопросе разошлись, они оказались совершенно противоположными. Мысль Индрила сводилась к следующему:

— Шататься так без всякой цели надоело, — заявил он, — или нужно вернуться в полк, или снять с себя солдатскую форму и скрыться совсем и бежать из армии!

А Новиков отверг предложения Индрила и выдвинул свой план:

— Надо вести среди солдат агитацию против войны, — предложил он. — Нужно организовать вокруг себя таких же беглых солдат. Создав крепко сплоченное объединение, поднять где-нибудь восстание. К нам примкнут все крестьяне в прифронтовой полосе. Движение может принять широкий размах. А там можно и войне положить конец.

Оба эти предложения не легко претворить в жизнь. Мысль Новикова рассчитана на более широкий масштаб. Сможем ли мы ее осуществить? Трудно все это представить себе. Я не знал, к кому бы примкнуть. Буранбай с Байгужой без меня самостоятельно ничего не могут сказать, не знают, кого и поддержать. Буранбай все же высказывает свои сомнения:

— Новиков больно на большое замахивается. Нам ли под силу такое? Уж походим, пока ходится. Ведь еще можно так пошататься. А вдруг если зацапают, так опять же подержат под арестом и снова пошлют на фронт. Может, к тому времени и перемирие наступит...

Байгужа тоже встал на сторону Буранбая. Итак, теперь возникло три разных предложения. Что касается меня, то я, пожалуй, ничего другого не смог придумать. Все эти различные мысли подсказаны самой жизнью, порождены теми трудностями, невзгодами, которые мы

пережили на фронте. Теперь осталось выбрать из всех предложений самое лучшее, — и главное — в данных условиях осуществимое. В нашем положении рассчитывать на многое невозможно. Разве вспыхнет какое-либо восстание, тогда и мы примкнули бы к нему.

Да, на данном этапе перед нами встают большие трудности, а мы все шатаемся без определенной цели и дальше собираемся бродить в этих краях. Индрил, конечно, со своей стороны прав. Но как выйти из создавшегося положения, какой выбрать путь? — Вот о чем теперь следует думать. Этого требует обстановка. Несомненно, Новиков тоже ломал голову над всем этим и выдвинул задачу более широкую. Такое легко лишь представить себе, а осуществить гораздо труднее. Если вдруг народ поднимется стихийно, тогда можно было бы слиться с ним, начать агитацию — за что и как бороться. Может быть, на это и хватило бы наших сил.

В конце концов мы все же пришли к единому мнению. Решили продолжать свободно блуждать на прифронтовой полосе и держать курс на Украину, на юго-западный фронт. Решили двигаться по железной дороге, если задержат, то сказать, что ищем свою дивизию, которая отправлена туда.

На том фронте против наших воюют австрийские войска, по слухам, позиции намного слабее, чем здесь. Да и дезертиров там, говорят, довольно много. Железнодорожных линий в тех краях мало, селения встречаются редко, и поэтому, как мы слыхали, передвигаться там можно более свободно. Итак, мы решили податься туда. Индрил с Новиковым

ударили по рукам. Все были радостно возбуждены.

— У меня много денег, выигранных в карты, — обрадованно заметил Индрил, — сейчас же пойду в лавку. Накуплю всего, что попадется хорошего. Байгужа, вот тебе деньги, купи трех кур, свиного сала и картошки непременно. Село здесь богатое, так что ты легко сможешь найти нужное.

Он вынул из кармана деньги и подал Байгуже, сам оделся и тоже собрался идти:

— Сегодня справим мусульманский праздник, а завтра с утра — в путь! — весело заулыбался Индрил и подался в лавку. Новиков тоже был в хорошем настроении. Воспользовавшись моментом, я рассказал ему обо всем, что приключилось со мною в гостях. Он выслушал меня с большим интересом и вниманием.

— Вправду так и живут здесь мусульмане, как ты рассказываешь? — спросил он удивленно. Я уверил его в этом. Затем он, припомнив первоначальный разговор после моего возвращения из гостей, сказал, как бы успокаивая меня:

— Нет, ты не думай, мы нисколько не сердились на тебя. Просто нам было не по себе, ты ведь гостил так долго. Вот мы и сцепились с Индрилом. Слова такие наговорили друг другу, чуть было до кулаков не дошли. Тебя нет, а Байгужа с Буранбаем молчат, не знают, кого и поддержать. Стоило вернуться тебе, как все и разрешилось быстро. Теперь ты свободен. Если товарищи согласятся — можешь идти на вечер. Я сам лично не против, чтобы ты пошел.

Новиков говорил тепло, слова шли от чистого сердца. Байгужа тоже согласился с ним:

— Если пойдешь на вечер, я тебе дам хорошие погоны, — сказал он, роясь в своем ранце, — эмблемы вырезаны из жести.

Когда я нацепил новые погоны, все отметили, что я стал похожим на офицера. Новиков еще более оживился и напутствующе заметил:

— Праздничный ужин у баев должен быть роскошным. Хоть поешь однажды досыта. Дорога у нас длинная, так что хороший ужин не повредит тебе.

Итак, товарищи согласны меня отпустить, да и насчет завтрашнего дня пришли к единому решению, так что я со спокойной душой мог исполнить данное Марьям обещание. Тут же принялся готовиться к вечеру.

Спустя некоторое время вернулись Байгужа с Индрилом, неся на своих плечах изрядную ношу с продуктами. Хозяйка дома, где мы остановились, была полячкой. Она сама взялась приготовить нам еду. Индрил строго предупредил меня:

— Пока не поешь то, что нам приготовит хозяйка, никуда не пойдешь!

Перед ужином нашлось кое-что из выпивки, жаркое было очень вкусным. Мы угостили и хозяев. Настроение было приподнятое, обстановка в доме была праздничная. Индрил взялся за свои декламации. Веселились до восьми часов вечера, весь дом ходил ходуном.

На вечер я отправился принарядившись как настоящий кавалер. Мои товарищи всей гурьбой проводили меня до самого дома, где собирался вечер. Взглянув на окна, ярко ос-

вещенные изнутри светлыми газовыми лампами, Индрил восхищенно крикнул:

— Здесь аристократия!..

Новиков закрыл ему рот ладонью. Все мы после выпивки были заметно разгорячены. Наконец товарищи отпустили меня, и я твердыми шагами вошел в дом. Все гости уже были в сборе. Очень много было незнакомых людей. Пришло также много девушек и женщин. Меня встретила Марьям. Сгоряча я крепко пожал ее руку и сам же смутился своего поступка. Марьям представила меня гостям:

— Господин Булат приехал на праздник с фронта, он наш гость.

Затем она увела меня в другой зал. Там тоже были девушки и джигиты. Среди них было несколько военных, здесь же находился офицер и прапорщик Ахметьянов. Гости в зале кружились в танце.

Как только мы вошли в зал, Марьям предложила мне станцевать. В жизни никогда мне не приходилось танцевать, я ни разу не бывал в компании, где танцуют. Я растерялся, не знал, что и сказать.

— Извините, пожалуйста, я торопился, чтобы не опоздать, — сказал я ей, — разрешите малость передохнуть...

Марьям не стала настаивать. Вскоре она закружилась в танце с каким-то молоденьким пареньком. Я остался сидеть один среди старух и детей, которые наблюдали за танцующими. Мне было стыдно и неловко. Если бы я знал, что вечер обернется именно так, и шагу бы не ступил сюда. «Как теперь быть?» Я ломал голову над этим вопросом. Признаться, что не умею танцевать, нельзя, такие на

вечер не приходят. Сказать, что нет настроения — тоже неудобно. Наконец-то меня осенила спасительная мысль. Скажу, что был ранен в ногу. Рана еще не зажила, и врачи танцевать не разрешают. Но ведь могут спросить: «Как же тогда разрешают ходить?» Однако я все же решаюсь держаться этой версии. Вот уже музыканты перестали играть. Танцоры, переговариваясь, парами стали расхаживать по залу. Как только прекратилась музыка, Марьям подошла ко мне. Сейчас она одета совершенно по-иному. Белое платье, что было на ней днем, сменила на алое. На ее груди и в волосах сверкают драгоценные камни, они как бы делают ее более красивой, мне она представляется красавицей из волшебной сказки. Когда она села рядом со мной, я стал выжидать момента, чтобы сказать ей, почему не могу танцевать. Чувствовалось, что ей очень хочется потанцевать со мной, в этом она и сама призналась, когда приглашала меня на танцы. Мы перебросились парой незначительных фраз, и Марьям не преминула осведомиться о моем самочувствии:

— Вы, должно быть, уж отдохнули, не так ли? — спросила она, заглядывая мне в глаза.

— С удовольствием пошел бы с вами танцевать, — начал я тихим голосом, — но, к сожалению, нельзя!

У Марьям глаза вдруг сделались большими. Она схватила меня за руку и глубоко вздохнула, грудь ее заметно колыхнулась.

— Как! Почему нельзя?.. Может, вы не в настроении?

— Настроение-то ничего, да вот с ногой похуже.

— С ногой?!..

— Я был ранен. Осколки снаряда застряли в костях. Ступишь потверже, страшно ломит ногу, одно мучение.

Марьям схватилась за голову:

— Снарядные осколки остались, говорите? Ай-ай, наверное, вам было очень тяжело?.. Представить себе трудно, как вам было тяжело. Нет, нет, если так, вам ни за что нельзя танцевать. Извините меня, я ведь не знала этого, простите, пожалуйста!

Вдруг она поднялась с места и громко объявила публике:

— Я пригласила этого господина на танцы. У него, оказывается, нога ранена. Я не знала, простите меня, пожалуйста!

Многие обернулись ко мне. Я попытался придать страдальческое выражение своему лицу и в то же время правую ногу медленно вытянул вперед.

Марьям снова села рядом со мной. Снова зазвучал ее звонкий голос. Теперь уж я слушал ее со спокойной душой, потому что сейчас и о товарищах своих я не беспокоился и от танцев отговорился легко. Я теперь имею право сидеть и смотреть на танцующих.

Марьям ни с кем больше не танцевала. Все время она играла на пианино. В перерывах между танцами подходила ко мне и разговаривала со мной. Но вот и танцам пришел конец. Затеяли другие игры. В них я также принял участие. Затем придумали еще одно развлечение — каждый из присутствующих должен был что-нибудь рассказать, Можно говорить на любом языке, можно петь, декламировать, рассказывать анекдоты или же просто

рассказать какой-нибудь эпизод из своей жизни.

Опять непредвиденная трудность встала передо мной. В обычном разговоре с товарищами по-русски я говорю сносно, но выступать перед такой публикой довольно рискованно. Заговоришь по-башкирски — засмеют. Решил спеть башкирскую песню. Начал припоминать про себя знакомые мелодии. В деревне я пел хорошо. Вот уже два года прошло, как я не пел ни одной башкирской песни.

Гости один за другим рассказывали, пели, в зале часто раздавался смех. Вот и до меня дошла очередь. Отказываться не стал.

— Я спою башкирскую песню, которую никто из вас не слышал, — сказал я, вставая.

Первой захлопала в ладоши Марьям, ее поддержали все остальные. Это было неожиданностью, я растерялся, даже в пот меня ударило. От этого, казалось, и в горле стало несколько мягче. Я начал петь протяжную башкирскую песню «Буранбай». Песня лилась ровно, и на душе у меня как-то стало теплей, сердце почему-то забилось чаще. Голос мой звучал все громче и громче и мелодичней. Завершая пение, я долго тянул звучным голосом и красиво закончил песню.

Было похоже, что «Буранбай» оказал на всех сильное впечатление, мне долго аплодировали. Требовали, чтобы я спел еще. Марьям взяла меня за обе руки и крепко пожала их. Посмотрела мне в глаза и взволнованно призналась:

— Я впервые слышу башкирскую песню. Никак не могу опомниться. Какая глубокая, широкая мелодия. Вряд ли ее поймешь до са-

мого конца. Я очень хорошо понимаю музыку. Вашу песню тоже поняла. Но это для меня совершенно незнакомая мелодия. Пожалуйста, спойте еще раз.

Я не заставил себя упрашивать. Настроение у меня было прекрасное. И самому хотелось спеть еще разок. Я задумался о нашей сегодняшней судьбе, представил себе трудные дни, что ждут впереди, и как-то неожиданно расчувствовался, и почему-то люди, собравшиеся здесь, показались вдруг низкими, мелкими. Мне казалось, что мое взволнованное сердце может понять одна Марьям, поэтому я должен петь только для нее. Охваченный этими волнующими чувствами, я снова затянул «Буранбая». На этот раз я чувствовал себя не в доме у Марьям, а где-то в широкой, безлюдной степи. Из моей груди вырывались незнакомые мне, скрывавшиеся доселе сильные звуки, в эти моменты я чувствовал, как звенят кости на моих скулах, а по телу пробегает теплая волна, словно его обливают теплой водой. Я разгорячился и был крайне возбужден. Последние слова песни прозвучали сильно, взволнованно, словно вопль души.

На этот раз публика не аплодировала, все сидели опустив головы. У входа в зал столпились гости, вышедшие сюда из другой комнаты. Они тоже стояли притихшие. Марьям подбежала к своему отцу и горячо заговорила:

— Папа, ой-ой — поет удивительно. Песня такая мелодичная, печальная, даже за сердце хватает.

После ее слов гости, столпившиеся у двери, захлопали в ладоши. Их поддержали остальные. Я хотел пройти на свое место, но не

смог сразу сдвинуться. Тело напряглось во время пения, как натянутая струна. Сердце растревожилось. Наконец я, пошатываясь, поплелся на свое место. Марьям снова подбежала ко мне.

— Вам не очень тяжело было петь? — участливо спросила она, — смотрите, вспотели, — она помахала платком перед моим лицом.

После меня охотников петь не нашлось. К нам подошел Мустафа и пожал мне руку:

— В наших краях редко встретишь такой красивый голос. Когда вы начали петь, у нас там, в другом зале, все притихли. Дивились: «Чей это голос? Кто поет? Что за песня?» Я сам не утерпел, заглянул в дверь. А когда вы начали петь второй раз, всех гостей позвал сюда. Вы уж извините меня!

Что я мог сказать в ответ? Лишь смущенно проговорил «спасибо». Мне предложили зайти в другую комнату, где восседали почетные гости. Однако Марьям отпустила не сразу, повела меня в какую-то другую комнату. Заставила умыться теплой водой. Освежила мне лицо одеколоном. Затем усадила на диван и велела отдыхать. А сама ушла, оставив меня одного.

Я опьянел от песни. В голове — ни единой мысли. Чувствую себя так, словно долго ехал на тряской телеге. Если меня вдруг попросили бы спеть снова, я и рта бы не сумел раскрыть. Песня, которую я пел, прозвучала подобно грозовому дождю и смолкла. А теперь тихо, подобно той тишине, что наступает после грозы, в голове у меня приятная пустота, на душе спокойно, размеренно бьется сердце. Я довольно долго просидел в комнате один.

Почему-то в большом зале смолкли голоса. Вскоре вернулась Марьям.

— Я выпроводила всех, — сказала она, — а сейчас тебя поведу в комнату гостей. Мама очень просила привести тебя. Как у вас настроение? — Марьям уселась рядом со мной.

Ни в юности, ни тем более на фронте я не видел такой теплой улыбки, не испытывал ласки. От ее нежного голоса душа как-то сама собой размякла. Я чувствовал себя ребенком. Мне хотелось все сидеть здесь, сидеть долго. Сердце в эту минуту снова охватило волнение, хотелось раскрыть всего себя, излить душу, рассказать обо всем подробно. Но Марьям не дала мне этой возможности. Она сама начала рассказывать мне о том, что было у нее на сердце:

— Сегодня я в таком настроении, — сказала она упоенно, — со мной еще никогда такого не бывало. В вашей песне я услыхала какую-то особую человеческую скорбь, и в то же время испытала, пережила ужасы войны. Нет, я не сумею передать всего, что я испытала. Мне бы хотелось переложить на музыку все эти чувства и сыграть. Я бы выучила вашу песню. Но вы уходите. Чувствую, после вашего отъезда я буду тосковать по этой песне, по этой мелодии. Я это чувствую уже сейчас!

Я был беспомощен ответить на слова Марьям. Однако она выручила сама. Попросила меня оставить ей свой адрес. Но в данной обстановке я не мог дать ей своего адреса, потому что сегодня мы здесь, а завтра — где-то в другом месте.

— Мы отсюда уходим, — сказал я, — где остановится наша часть, пока неизвестно. Лучше вы дайте мне свой адрес. Как прибудем на место, тотчас же я непременно напишу письмо, даю вам слово.

Марьям поверила всему, что я говорил. Она быстро поднялась, достала из ящика стола блокнот в красивой обложке и принялась быстро, с нервной поспешностью писать. Затем она сунула этот блокнот в мой нагрудный карман.

— Этот блокнот будет памятью обо мне. Я написала здесь свой адрес. Пока не читайте. Прочитаете, когда уйдете от нас, в дороге. Договорились?

Конечно, до блокнота я не дотронулся. Между тем в комнату вошла мать Марьям.

— Ждем вас на ужин. Марьям, веди туда своего гостя, — сказала она и тотчас же ушла.

Когда мы очутились в гостиной, здесь шла шумная беседа, гости были уже навеселе. Спор шел о войне. Хозяин дома Мустафа говорил горячо, от всего сердца:

— Нет, мы не должны допустить позорного поражения. Нельзя начинать в такое время переговоры о мире, да это же будет позор на весь мир, не виданный в истории. Пусть даже мы побеждены на этом фронте, но ведь у нас сильные союзники. Они непременно должны прийти на помощь. Как бы там ни было, а мы должны разбить немцев так, чтобы они и головы не смогли поднять, должны раздавить их. И мы вполне можем добиться этого.

— Я очень хорошо понимаю вас, — хладнокровно отвечал ему, поправляя пенсне, здоровый с большим животом и с блестящей лы-

синой гость, восседавший в красном углу, — даже разделяю ваше мнение. Но ведь это лишь одна сторона дела. Нельзя забывать и о другой. В данный момент мы переживаем острый кризис в металлургии. А без металла оружия не сделаешь. Война затянулась дольше предусмотренного срока. Иссякли запасы. У нас самих металлургическая промышленность слабая. Она не в силах дать всей продукции для внутренних нужд, а особенно продукции для войны. В настоящее время ввоз со стороны связан с займами. И так уж военные долги насчитываются миллиардами. Обычно договоры военных лет бывают кабальными. После войны нам тоже нельзя ждать хорошего. К тому же нельзя забывать еще одного: в народе растет протест против войны. Если мы и затянем войну, то опять же можем придти к печальному исходу. Война — она такая штука, что все в ней — и удачи, и промахи — должно совершаться быстро, этому должны служить и тактика и стратегия. Этого требуют современные законы войны.

Человек в пенсне говорил ровно, не горячась, лицо его было равнодушно, не выражало никаких чувств. И заканчивая свою реплику, он не изменил ни голоса, ни позы. Пока он говорил, все сидели тихо и слушали внимательно. Поручик, который вместе с нами был в гостях еще днем, глубоко вздохнул и глубокомысленно проговорил:

— Да... трудная проблема!..

Никто не осмелился возразить господину в пенсне. За столом воцарилась тягостная тишина. Горячий спор о войне, который вели здесь, для меня был настолько ясным и по-

нятным, что я по-своему попытался решить эту «трудную», как сказал поручик, проблему. В моем сознании эта трудно разрешимая проблема соединилась со словами Новикова, который требовал среди солдат вести пропаганду против войны, звал к антивоенному восстанию, чтобы вовлечь в него впоследствии крестьян прифронтовой полосы. Аргументы господина в пенсне и мысли, высказанные Новиковым, логически связаны между собой, будто Новиков выслушал этого оратора и осмыслил его доводы по-своему. То, что предлагал Новиков, для меня прежде казалось лишь неосуществимой утопией. Теперь же все стало ясным и понятным. Действительно, если война затянется, она может закончиться именно так, как предсказывает господин в пенсне, — это для меня стало бесспорной истиной. Вышло так, что для меня за праздничным столом в доме польского мусульманина всему был подведен итог: невзгодам, пережитым нами на войне, трагическим утратам, нашим мыслям, выношенным на фронте, и приготовлениям к дальнейшим действиям. И в эту минуту меня одолевало желание быстрее вернуться к своим и рассказать Новикову обо всем, что я здесь слышал и передумал.

Вначале, когда я только еще увидел гостей, сидящих за столом, они казались мне людьми очень большими, умными и культурными. Я был подавлен их величием и растерялся. Считал себя недостойным сидеть рядом с ними, свое присутствие здесь объяснял как недоразумение, происшедшее из-за праздничной суматохи. После того, как выслушал их мысли о войне, они предстали передо мной как люди

маленькие и беспомощные. Сам я чувствовал себя полноправным человеком. Избегая войны, мы скрываемся в прифронтовых лесах и деревнях, в многодневных скитаниях прошли немало дорог. Все это не было случайностью, теперь я понимал, что это законный шаг, подсказанный самой войной. В своем поступке мы не одиноки, таких, как мы, множество, сотни, тысячи, целая армия. В этом я тоже был уверен.

Дамы предложили больше не говорить о войне, попросили найти общую тему, в которой и они бы могли принять участие.

Предложение дам встретили шумным одобрением. За него ухватились, как утопающий за соломинку, это был выход из тупика... Мужчины признали, что их разговоры наводят скуку на дам, и это сочли серьезным поводом, чтобы прекратить беседу на тему войны.

Перед ужином снова подали вино. Один за другим провозглашали тосты. Не решенные в споре проблемы принялись заливать вином.

Был уже час ночи. Гости начали расходиться. Я попрощался с хозяевами и собрался уходить. В это время подошла Марьям. Она отвела меня в угол и предложила:

— Если вам идти далеко, лучше переночуйте у нас, постель сейчас же приготовим.

Я же не мог оставаться и нашел повод уйти.

— Тогда утром приходите на завтрак! — предложила Марьям.

Когда они будут завтракать, мы будем где-то в пути. Я не стал скрывать этого от нее. Признался, что на заре выходим в путь.

— Вы будете завтракать, а мы уже будем в дороге. Сами знаете, народ мы — военный.

Услышав мои слова, Марьям растерянно застыла на месте. Стояла не шевелясь, уставившись в одну точку.

— Как же так... Что же тогда будем делать?..

— А так вот, пока прощайте! Большое спасибо за угощение! Праздник прошел весело.

Она слушала меня не дыша. И вдруг с какой-то невысказанной болью в глазах крепко пожала мою руку. Мы стояли молча. Но вот Марьям, как бы опомнившись, вскинула голову.

— Мне сегодня не хочется отпускать вас. Никак не хочется. Если возможно, останьтесь, только на сегодня! Лишь на один день!

— Простите меня! Но это невозможно!

— Ах, какая я несчастная! — воскликнула Марьям, — думала, что вы до конца праздника пробудете здесь...

Она намеревалась сказать еще что-то, но промолчала, вся сникла и опустила голову на грудь.

— Итак, Марьям, — сказал я, желая предупредить, что мне пора уходить, — пока прощайте. Кто знает, может, судьба когда-нибудь еще сведет нас. У меня есть ваш адрес, буду вам писать письма.

— Вы опять уходите на войну? — спросила она изменившимся дрожащим голосом, чуть не плача.

— Конечно.

— Ах!.. Как страшно! А вы не ходите туда! Ведь убить могут. Уж вы постарайтесь как-нибудь не попасть на войну.

Я не ответил ей. Гости к этому времени уже разошлись. Я тоже окончательно решил уйти. Подал Марьям руку. Она протянула мне свою. Мы вышли с ней на парадное крыльцо. Я снова попрощался с ней. Снова пожал ей руку. Когда спустился с лестницы, она окликнула меня:

— Булат эфенди, обязательно напишите письмо. Я буду ждать.

Марьям продолжала стоять у двери. Я ускорил шаги. Всю дорогу думал о ней. Она меня совсем не знала, едва успела познакомиться, так быстро привыкла ко мне, привязалась всем сердцем. Вместо того, чтобы мне ухаживать за ней, она сама стала ухаживать за мной. Прощаясь, так искренне переживала за меня, жалела, что я снова буду горе мыкать на войне. Однако я никак не мог понять и объяснить себе ее поведение. Но все же я чувствовал ее близость к себе, она мне была близка сердцем.

Глава двадцать первая

Вот уже пятнадцать дней как мы, выполняя ранее намеченное, путешествуем по железной дороге. Пересаживаемся с поезда на поезд, притом без разбора садимся в любой. Почтовый ли, санитарный ли — нам все равно, лишь бы был поезд. Да и вагоны тоже не выбираем. Если нет пассажирских вагонов, то едем дальше или в вагонах с углем, или на

площадке, порой в совершенно открытых вагонах. Случалось, что и мерзли в пути. Некоторые товарищи не раз отставали от поезда. Бывало, нас порой высаживали на разъездах. Приходилось по нескольку перегонов шагать пешком по шпалам.

Но никакие трудности не могли нас остановить. Мы не сворачивали с взятого курса. Если кто-либо из товарищей отставал в пути, то, сойдя с поезда, мы его поджидали на одной из очередных станций. Об этом мы сговорились между собой с самого начала. Отставший товарищ без особого труда мог догнать основную группу, потому что он знал и был уверен, что его ждут, не бросят одного.

Чаще всего в пути отставал Индрил. Человек он живой, непоседливый, умеет все увидеть и обнаружить первым. Но у него есть одна слабость. Мы знали уже, что он любит подолгу смотреть на бурлящий поток воды и на ярко пылающий огонь. Такую же страсть, оказалось, он питал и к паровозам. Он любил следить за беспрерывным движением паровозов. Его очаровывала сила и мощь, заключенная в металле. В дни, когда приходилось подолгу ждать на станции поезда, он часами неотрывно наблюдает за маневрирующими составами, а порой, чтобы видеть скопление паровозов, идет в депо и пропадает там. Если он вдруг потеряется, то мы обычно отыскиваем его где-нибудь около депо.

— Ну, что застыл? Давай иди! — говоришь ему. А он, не отрывая взгляда от снующих перед ним паровозов, с воодушевлением говорит, забыв самого себя:

— Ну и люблю же смотреть на паровозы! Какая огромная сила в них! Разок толкнет, а сдвигает с места сразу сколько вагонов, сколько тяжелого груза! Люблю, как они дышат огнем и горячим паром. Каких только чудес не достигает человеческий разум!

Ему нравится с большим задором рассказывать о мощи паровозов и придавать своим рассуждениям философский характер. Если его не остановить, то он склонен пуститься в еще более глубокие и сложные философские рассуждения.

— Да, — говорит он глубокомысленно, — человеческая мысль способна создавать головокружительную технику. Но большая ее часть направлена на то, чтобы погубить самого человека. Если подумать, то ведь человек извлекает пользу из техники, созданной своим разумом. Взять хотя бы нас, сколько расстояния преодолели на этих поездах, каких только трудностей не избежали! На то и выдумана такая техника. С другой стороны, она же приносит вред и гибель. Эта гигантская техника — поезда — на гибель людям везет на фронт винтовки, пули, снаряды, тяжелые пушки, бомбы, газы, чего только не везет! А ведь всю эту смертоносную технику выдумал человеческий ум, своими же руками создают люди, грузят в вагоны, теми же руками стреляют, уничтожают, губят себе же подобных. Как подумаешь об этом, так перед глазами встают картины страшной человеческой трагедии, порожденной самим же человеком. Уму непостижимо. Тут уже видишь другую сторону существа человека, его глупость, которая не позволяет ему с большей пользой применять великую

технику, самим же созданную. И понимаешь, насколько жалок человек. Вот где кроется глубокая трагедия!

Философствования Индрила Новиков поднимает на смех:

— Ты ведь вообще преклоняешься перед силой огня и воды. Превозносишь паровозы. Принимаешься философствовать на эти темы. А у тебя самого нет силы. Ты вот придумай такое, чтобы вся техника, несущая смерть человеку, перестала действовать. Тогда я тебя на руках буду носить. Сам ты хвалишь мощь техники, преклоняешься перед ней, но и сам же боишься ее. Значит, ты и сам такой же глупец, как и все, и так же жалок. Правда, неудобно поминать старое, но все же для примера скажу. Если бы по твоему совету сразу пошли на запад, то мы давно уже были бы в окопах. Или же разбежались бы, как зайцы, и попрятались бы по своим домам, кто по лесам. Сегодня вот мы находимся здесь. Твоей хваленой техникой пользуемся с выгодой для себя. Это само по себе тоже мужество. Если бы все решили применить технику только с пользой для человека, то и война не вспыхнула бы. А то ведь технику, созданную человеческим разумом, использует лишь небольшая кучка. А большая часть народа от нее терпит беды и напасти. Большинство не понимает этого, потому что люди темные, неграмотные. Вот и нужно им это объяснить. Если бы эту истину понимали все крестьяне, ни один бы не послал своего сына на войну. Правда, они коечто сознают, но одних лишь неясных догадок недостаточно, чтобы понять все тайны, тонкости этих дел и куда все клонится. Если они

поймут это, то при первой же вспышке войны раздуют ее в пожар. А потом ни одно орудие, убивающее человека, не будет действовать. Вот ты и возьмись совершить такое!..

Подобные словопрения вспыхивают, когда мы путешествуем в уютном пассажирском вагоне. Обычно они возникают из-за Индрила. Из-за того, что он, увлекшись паровозами, отстает от поезда. Причину своего отставания и свою слабость к паровозам Индрил пытается объяснить философскими рассуждениями. Из-за этого возникают длинные разговоры и словесные дуэли. Начавшаяся со смешного, беседа перекидывается к войне, а затем завершается головоломками на тему о том, как покончить с войной, какие нужно найти средства против нее. Частенько мы ударяемся в немыслимые фантазии и утопии. Бывает, принимаемся размышлять о создании невидимой армии, чтобы при ее помощи истребить всех царей, министров, разрушить все заводы, выпускающие оружие для войны, утопить все военные корабли в морях. Все товарищи с горячностью участвуют в этих несбыточных мечтаниях. Байгужа выдвигает свой план:

— Если бы я был солдатом-невидимкой,— говорит он, — прежде всего проник бы во дворец, где спит царь, и разбудил бы его щелчком в нос. Он стал бы оглядываться по сторонам и никого бы не увидел. Потом со страху начал бы метаться по комнате, а я бы его ногой по заднице. Если бы он упал, подождал бы, пока поднимется, и снова пнул сильнее. Если бы царь поднял крик, я бы ему в рот сунул толстой колбасы. Потом сказал бы: «Когда нас били немцы, ты здесь наслаждал-

ся жизнью. Ну, как теперь — сладко, когда бьют самого?» По-всякому помучил бы его, а там поставил бы под ствол невидимой пушки, выстрелил из нее и до смерти напугал бы его. После этого только отправил бы на тот свет.

Фантазия Байгужи вызывает смех. Потому что он говорит об этом со всей серьезностью, мысленно переживая все перипетии своей выдумки. Рассказывая о несбыточном, всем сердцем отдается фантастике, энергично размахивает руками и после каждой фразы с наслаждением ругается. Иной раз он распаляется до крайности. А в конце глубоко вздыхает и с сожалением заключает:

— Эх, вот бы нашелся человек и выдумал такое, чтобы создать невидимую армию!

Потом он, низко опустив голову, углубляется в затаенные думы. Он молчит, а мы принимаемся смеяться над ним.

— Видно, ты уже размышляешь о превращении в невидимку!..

В разговорах и спорах даже не замечаем тягостей длинного пути. Наконец, на большой станции Проскурово мы решили остановиться. Здесь расположен крупный пересыльный пункт. Много казарм. Все солдаты, идущие с Западного фронта, и дезертиры, и выздоровевшие после ран проходят через этот пункт. Они прибывают сюда, им выдают обмундирование, кормят, поят, из них формируют запасные батальоны, а потом отправляют на фронт. Ежедневно сюда поступают тысячи солдат и тысячи же солдат направляются на фронт. Среди этого беспрерывного потока много шпаны и дезертиров, которые занимаются тем, что каждый раз, меняя фамилии, получают новое

обмундирование, продают его, а сами ходят в рваной шинели и худых сапогах. И вот мы тоже очутились среди них, но руководствовались мы совсем иными мыслями. Наш план таков: среди солдат вести антивоенную агитацию, организовать сильно сплоченный отряд и на большом пересыльном пункте поднять восстание. Мы тоже по нескольку раз прошли регистрацию и несколько раз продали полученное обмундирование. В казармы возвращались в старой, рваной одежде и снова записывались под другой фамилией. Заодно среди солдат вели агитацию против войны. Однако пока толком ничего не выходило. Вновь прибывших солдат держат не больше двух-трех дней. Одевают в новое, формируют батальоны и отправляют на фронт. А шпану, что здесь шныряет, промышляя спекуляцией и воровством, организовать невозможно. Правда, они слушают нас, одобряют наши намерения, а как только дойдет до дела, то идут на попятный и начинают ругаться.

— Зачем рисковать? — возражают они. — Мы и на фронте достаточно пролили крови. Я потому и околачиваюсь здесь, чтобы кровь моя осталась при мне. Если вдруг сегодня дела станут хуже, то завтра я махну в другое место. А дороги нам известны. Зачем же нам из-за других проливать свою кровь? Если вам не жалко крови, так идите тогда на фронт!

Жульничество и спекуляция вконец разложили их, поставить их на правильный путь пока невозможно. Позже они стали придираться к нам. Чуть было не выдали нас.

Есть специальное место, где шпана реализует полученное военное обмундирование. Мы

тоже вместе со шпаной побывали там. Продали новую одежду. Это своего рода организация спекулянтов. Она имеет определенную систему. В этой организации есть люди различных профессий. Имеются разные предприятия. Одна группа тайно скупает солдатское обмундирование, другая доставляет с толчка солдатам, чтобы одеться на время, брюки, гимнастерки, фуражки, шапки, дырявые головки от сапог, рваные ботинки, обмотки, ремни. Третья группа занимается перекрашиванием скупленного, придает ему гражданский цвет, для этой цели имеется специальная красильная мастерская. Четвертая группа из перекрашенного военного обмундирования шьет разного рода одежду для продажи крестьянам. Пятая группа продает в разных магазинах эту одежду. Никто не скажет, что она перешита из солдатского одеяния, да и невозможно это узнать. В то же время идет оживленный торг между солдатами, продавшими свою одежду, и шпаной, которая взамен новой продает солдатам старую рухлядь. Здесь предусмотрено все, чтобы деньги, вырученные солдатами, не уходили на сторону. У них есть все товары: и комнаты, и проститутки. Водка, спирт, закуска разная. Даже баня рядом. Деньги, вырученные солдатами днем, ночью оставляются тут же. А наутро солдаты уходят снова в казармы. Одеты они во что попало: на плечах худая, поношенная шинель, на голове фуражка без козырька, совсем растоптанные сапоги, брюки с изодранными штанинами, из-под дырявых гимнастерок просвечивают тела.

Нет, нам не понравилась такая жизнь. Да и задуманное нами невозможно было претворить здесь в жизнь. Как бы то ни было, мы решили покинуть Проскуров. «Как уехать, куда держать путь?» — стали ломать головы над этими вопросами. Между тем шпана повела на нас открытое наступление, потому что мы раскрыли все их тайны. Стали препятствовать их ремеслу. Мы были против их действий. По этой причине они организовались против нас, начали действовать со всем нахальством и присущей им подлостью. И это вынудило нас неожиданно перейти к легальным действиям. Шпана стала преследовать нас всюду, в любом углу, от нее не было проходу даже на вокзале. Оставался единственный выход: записаться в маршевый батальон и покинуть город вместе с другими солдатами. Так мы поступили.

Глава двадцать вторая

Вновь сформированный батальон, в состав которого вступила и наша группа, почему-то на фронт отправили не сразу. Сначала нас перевели в город Кременчуг. Это уездный город, здесь имеется трамвай, и вообще жизнь довольно-таки оживленная.

В Кременчуге батальон разместился в просторных домах. И каждое утро нас стали водить на занятия. Вечерами ходим в кино, гуляем по тротуарам или проводим время в чайной. Но никто из солдат не знал, почему и для какой цели батальон задержался в этом городе. То ли отправят в скором времени на фронт,

то ли оставят тут — никому неизвестно. Через три дня нам выдали винтовки и патроны. Некоторых стали обучать на пулеметчиков. Я, Индрил и Новиков — втроем записались на курсы телефонистов. Байгужа с Буранбаем остались в строю.

Дни проходят за днями. Военная жизнь идет своим чередом. О фронте разговоров пока не заводят. Мы частенько собираемся своей группой и совещаемся. Что делать? Как выбраться отсюда? Если не уходить, то каким делом тогда заняться? Или оставаться здесь до той поры, пока отправят на фронт?

Жизнь здесь тихая, спокойная. Видно, она по-своему повлияла на ход наших мыслей и действий. Мы обрели некоторую кротость, не стали прибегать к рискованным поступкам. Однако Индрил все же продолжает философствовать среди солдат. А Новиков, со своей стороны, вносит ясность в его философию, каждый раз он любит ставить вопрос ребром. Солдаты слушают Индрила и Новикова внимательно и серьезно. В нашем батальоне все солдаты уже побывали на фронте. Рассуждения Индрила, да и факты, приводимые Новиковым, им знакомы и находят близкий отклик в их сердцах.

В Кременчуге в нашу компанию влился еще один солдат — украинец Таминко. До солдатчины он работал на угольных шахтах. Таминко с Новиковым сошлись близко и очень подружились. Наш новый компаньон — молодой, здоровый парень. У него большой нос и толстые губы, широкая, заметно выступающая вперед грудь. Говорит он густым, звучным басом. Остер на язык и обладает завидным

уменьем смешить своих собеседников. Умеет себя поставить в компании, да и здоровьем и силой своей может уместно похвастаться.

— Мы народ рабочий... — начинает он разговор каждый раз. Если же хочет подкрепить свою мысль веским аргументом, то обязательно упоминает слова «рабочий народ». Есть у него одно незаменимое качество, которым привлекает к себе внимание солдатской массы, — он хорошо поет и знает красивые песни Украины. Голос у него сильный, и слушать его приятно.

Если ему есть что сказать, то он говорит никого не боясь. Если же иногда из-за прямоты его высказываний возникает какая-либо неприятность, Таминко в таких случаях не теряется, умеет все обернуть в шутку, ловко выходит из положения. Таков был наш новый товарищ — украинец Таминко. Он всем сердцем одобрил наши мысли и намерения. Однако он не ограничился только этим, высказывал совершенно новое для нас. Его мысли внесли определенную ясность во все то, что прежде для нас казалось неразрешимым. И философствование Индрила теперь стало приобретать некоторую реальность. Как-то раз после очередных душевных излияний Индрила, Таминко высказал очень простую и мудрую мысль:

— Все заводы, фабрики построены нами, рабочим народом, вся продукция производится нашими руками. Если рабочий откажется работать, капиталист вынужден идти на уступки. Если же капиталист чувствует себя крепко, то он принимается лупить рабочего. И это нужно ясно понять каждому. То, что вы задумали, можно осуществить лишь совместно с

теми рабочими, которые и производят всю технику. Индрил, ты ведь сам тоже рабочий, а понять до конца всего еще не можешь. Вот, если скажем, весь рабочий люд восстанет вместе, то куда тогда денутся капиталисты? Безземельный бедняк за капиталистом не пойдет. А солдат, проклявший войну, тем более не встанет на сторону капиталиста. Он скорее повернет оружие против самого капиталиста. А там уже конец всему!

Новиков радуется тому, что мысли Таминко оказались близкими к его собственным мыслям.

— И мне ведь думалось почти так же, — говорит он улыбаясь, — только не мог до конца высказать это. А вот Таминко правильно толкует.

Индрил, не возражая Новикову, берется доказывать, что его философствования в основе тоже правильны.

— Вообще-то, все наши мысли сводятся к одному. Я вам указываю на корень проблемы, а вы ищете пути ее решения, — замечает он, самодовольно улыбаясь. Никто не думает возражать ему. Спор, как всегда, завершается смехом и шуткой. Таминко снова овладевает вниманием солдат, смешит своими бесконечными забавными рассказами.

Однажды вечером, когда мы сидели дома шумной, веселой компанией, в комнату вошел Буранбай. Здесь в городе он нашел одну хозяйку, которая согласилась стирать нам белье. Он носил к ней наше грязное белье и приносил обратно выстиранное. Была суббота, мы собирались сходить в баню и поэтому послали Буранбая за чистым бельем. Почему-то он

очень долго не возвращался. Из-за этого мы в этот день и в баню не смогли сходить. Как только Буранбай вошел в двери, на него набросился Таминко:

— Ну, и помыл же ты нас в бане, Буранбай!.. Давай-ка мы тебе самому устроим баньку!.. — закричал он и, схватив Буранбая в объятия, начал кружить по комнате. Но Буранбай не принял шутки Таминко, лицо его сохраняло серьезное выражение.

— Брось-ка, Таминко, шутить! Мне не до шуток! — сказал он и резко вывернулся. Все были удивлены поведением Буранбая. Индрил не выдержал, крикнул:

— Буранбай, может, что-нибудь случилось? Или потерял вещи? Или тебя побил кто-нибудь?

Буранбай невозмутимо молчал. Он разделся неторопливо, высморкался. Только после этого, с той же серьезностью ответил на вопросы Индрила:

— Ничего особенного не произошло. Однако узнал одну любопытную вещь. Расскажу потом только вам! — Он окинул взглядом товарищей, как бы давая знать, что обещает рассказать нечто таинственное. Индрил, видно, слова Буранбая принял за шутку, стал над ним посмеиваться:

— Не начертили ли ему, случаем, опять крест на лбу? — засмеялся он, вспомнив старое дорожное приключение. Буранбай заметно рассердился.

— Ты вообще всегда любишь шутить, а дело совсем нешутейное! — сказал Буранбай и, свертывая на ходу цигарку, направился к двери. Товарищи были озадачены.

— Булат, — обратились они ко мне, — выйди за ним! Попытай, может, расскажет что...

Я быстро вышел во двор. Над городом сгущались сумерки. Мы с Буранбаем уселись у стены, на куче дров. Буранбай тихонько зашептал мне на ухо:

— Эх, я был у рабочих. Оказывается, они не любят наш батальон. Знаешь, как они вцепились в меня: вы, говорят, прибыли сюда, чтобы стрелять в рабочих, хотите, говорят, убивать своих отцов и матерей. Я растерялся. Говорю им, что, мол, мы сами против войны. А они мне говорят, что нас по специальному приказу направили сюда, сняв с фронта. Вы, говорят, самые верные стражники царя, смеются над нами. Потом уж я рассказал им подробно, как мы очутились здесь. Объяснил им, какого мнения наши товарищи. Тогда они внезапно переменились. Переглянулись между собой и окружили меня. Стали упрашивать меня, чтобы я познакомил их со своими товарищами. Очень долго не отпускали меня, говорили очень много. Велели, чтобы я передал все товарищам. Знаешь что, Булат? Все рабочие, оказывается, против войны. Ну, как они поносят царя, ой, как ругают генералов! Говорят точно так же, как и мы.

Рассказывая, Буранбай все больше воодушевлялся. Под конец рассказа в его голосе прорывались нотки гордости своим важным открытием. Мы поспешили быстрее поделиться с товарищами новостью, принесенной Буранбаем. Я вошел в дом и под предлогом покурить позвал своих товарищей на улицу. До вечерней поверки осталось всего каких-то пол-

часа. Несмотря на это, мы отошли в сторону в укромное место. Расположившись у заброшенного сарая на кирпичах, приготовились слушать Буранбая.

Слова Буранбая как бы вдохнули в наших товарищей новую жизнь. Словно в рассказе Буранбая для них открылся новый мир. Один за другим посыпались вопросы. Буранбай обстоятельно, не торопясь, отвечал каждому. Если не находил удовлетворительного ответа на какой-либо вопрос, то, размахивая руками, говорил, глядя в глаза собеседнику: «Ну, говорю же, они мыслят так же, как мы. Все у них выходит, как у Таминко».

Мы заторопились на вечернюю поверку. Каждый шагал задумавшись о чем-то своем. Во время поверки Таминко вместо «Боже, царя храни» затянул какую-то украинскую песню. Когда вернулись домой, в нашей компании снова завязалась оживленная беседа. В разговоре мы прибегали к иносказательным словам. Рабочих Таминко называл пчелами и стал рассказывать, что-то вроде сказки о будущих действиях пчел. Его рассказ был понятен только нам, другие же ничего не соображали. После отбоя Новиков с Таминко улеглись вместе и долго еще говорили шепотом. Никто не мешал их ночной беседе.

После этого случая мы уже хорошо знали, для какой роли предназначены мы и наш батальон. В окрестностях Кременчуга среди рабочих и крестьян началось движение против войны, в нескольких местах вспыхнули даже восстания. В связи с этим командование направило нас в эти края для водворения порядка, говоря словами рабочих, «чтобы перестре-

лять рабочих». Это открытие было прекрасным поводом, чтобы нашей группе повести активную работу среди солдат. Мы пользовались любым удобным случаем и каждым к месту сказанным словом, чтобы объяснять солдатам, к чему их готовят.

— Немцев не сумели победить, так теперь будем убивать рабочих, стрелять в своих братьев!

Этот метод оказывал более сильное воздействие на солдат. Весть о назначении нашего батальона разнеслась быстро и вызвала протест у солдат.

— Если и случится что, по своим ни одной пули не выпустим! — говаривали солдаты.

Тут уж открылось широкое поле для рассуждений Индрила. Он пустился философствовать более веско о пушках, ядрах, газах, говорил еще более живописуя и вдаваясь в тончайшие технические подробности. У Индрила нашлось много слушателей. Они, в свою очередь, тоже принялись всюду рассказывать все, что сами услышали от Индрила.

А Буранбай каждый день под разными предлогами отлучался из батальона и бывал у рабочих. Каждый раз он возвращался с новыми вестями. В иные дни он приносил с собой антивоенные прокламации, тщательно припрятав их в голенищах сапог или в складках одежды. Среди солдат эти прокламации мы не распространяли, а прочитывали их в своем кругу и, усвоив высказанные там мысли, сжигали, затем только передавали эти мысли другим солдатам. Все это проделывалось по указанию Таминко, который, как он сам рассказывал, долго участвовал в под-

полье, когда еще работал в шахте. Он имеет изрядный опыт подпольной работы. И не без основания поэтому он наказывает нам, чтобы без его указаний никто не предпринимал самостоятельных шагов.

Должно быть, о брожении, начавшемся среди солдат, стало известно начальству. В один из дней во время занятий полковник Зенченко, собрав весь батальон, выступил перед солдатами с длинной речью:

— Братцы! — обратился он к солдатам. — Мы ведем войну с внешним врагом. Войну будем продолжать до победного конца. Об этом мы поклялись перед матушкой Россией. Вместе с тем мы должны открыть войну и против внутренних врагов, нарушающих порядок внутри страны и предающих интересы родины. Немецкие шпионы сеют смуту среди народа, занимаются подстрекательством против интересов России. Они призывают народ к восстанию. Мы должны беспощадно бороться против этих врагов. Не забывайте, вы дали священную клятву защищать великую родину до последней капли крови. В борьбе с внутренними врагами покажите себя такими же героями, как и на фронте. Если в вашу среду проникнут немецкие шпионы, то немедленно задерживайте их и выдавайте начальству. Мы беспощадно покараем их!

Полковник Зенченко произнес речь с седла, то и дело энергично взмахивая нагайкой. Всем видом своим он походил на человека, который готов поглотить, раздавить кого-то. Однако пламенную речь полковника Зенченко солдаты слушали довольно равнодушно. Но вот полковник уехал, и солдат отпустили на

перекур. Солдаты переговаривались, задавали друг другу недоуменные вопросы:

— Кто такой внутренний враг? А где они, немецкие шпионы? С кем это он призывает воевать в нашем собственном городе?

После отъезда полковника Зенченко Таминко предупредил товарищей:

— Нет, неспроста это он речь закатил. Должно быть, что-то пронюхали. Надо быть начеку. Наверно, среди нас есть шпики. Индрил, ты смотри, держи покороче свой язык! Как бы нам не выдать себя. Время теперь очень опасное.

Товарищи серьезно вслушиваются в слова Таминко и в знак согласия с ним молча кивают головами.

Речь полковника Зенченко взбудоражила солдат. В казарме поднялись споры. В нестройном шуме голосов столкнулись два мнения: бороться против войны или вести ее до победного конца. Те, кому не хотелось идти на фронт и кто предпочитал остаться здесь, молчали, с интересом прислушивались к спорящим. Однако и среди них нашлись люди со своим взглядом на вещи. Но ни к одной из сторон они не примыкали.

— Какой в том толк, если мы и будем шуметь? — возражали они. — Что ни говори, а все делается свыше. Мы — люди подначальные. Разве сможем что-либо предпринять сами? Хорошо, что на фронт пока не посылают. Ну и надо лежать тут тихо-мирно. А то как зашумим, так сразу же и погонят на фронт. Что тогда скажешь? Разве можно пойти против приказа?

— Правильно, — поддерживали другие голоса, — мы — люди подчиненные, безвольные...

В этих словах явно угадывались трусливые нотки. Но и речь полковника Зенченко не смогла склонить на свою сторону всю солдатскую массу. Его призывы были отметены единственным ясным и резко поставленным вопросом:

— Зачем нам воевать против своих отцов и братьев?

Командир нашего взвода Захаров в батальон прибыл недавно. После окончания курса в учебной команде его погоны украшали два новеньких лычка. Он не смог хладнокровно слушать решительные недвусмысленные выкрики солдат. Сначала он, молча вслушиваясь в солдатские разговоры, ходил взад и вперед по комнате. Нервно теребил только что пробивающиеся усы. Затем вдруг резко подошел к группе расшумевшихся солдат, которая столпилась возле одной лампы, выпрямился как по команде и, широко раскрытыми глазами вглядываясь в лица, заговорил в нос:

— Вы знаете устав? Что там говорится? Не забывайте об этом. А то разболтались. Вы не социалисты, а солдаты! Присягали верой и правдой служить царю. Раз так, должны говорить только то, что положено по уставу!

Выпалив все это, он испытующе оглядел солдат. Видно было, что он хочет показать себя командиром. Слова его оставили без ответа. Шум и гам сразу стихли. Кое-кто, отвернувшись, посмеивался над командиром взвода. Когда Захаров ушел, солдаты язвительно заговорили, подталкивая друг друга в бок:

— Ишь старается, еще одно лычко хочет заработать!

Сразу разговор принял иное направление. И в самом деле, из унтер-офицеров один Захаров выделялся особой требовательностью и строгостью. Сам он молодой, здоровый, щеки его пухлые, словно надутые. И ходит-то он, подражая офицерам, весь подтянутый, подчеркнуто щеголеватый. Прилагает много усилий и энергии, чтобы выслужиться, показать себя настоящим унтер-офицером. Подавая команду, тоже стремится подражать голосу какого-нибудь офицера, намеренно изменяет свой голос. Захаров любит кричать и ругаться, как старые унтеры. Но все у него выходит несолидно, как у молодого петуха. Не случайно поэтому бывалые солдаты окрестили его «молодым петухом». Солдаты не уважают Захарова, на занятиях хотя и выполняют его приказы, но после занятий стараются избегать встреч с ним, предпочитают не видеть его и не говорить с ним. По этой причине он всегда держится в стороне. В свободные минуты одиноко сидит у себя на койке. Достает из сундучка маленькое зеркальце и щетку для волос, причесывается, разглаживает усы, поправляет на плечах новые погоны. Или же, если нечем заняться, берется снова чистить и так до блеска начищенные сапоги. Покончив с делами, он растягивается на койке и принимается листать устав.

Никто не разговаривает с ним, никто и не обращается к нему за делом. Бывает, иногда у него самого находится дело к солдатам. В такие моменты он старается быть ласковым и уважительным.

— Господа, — обращается он тогда к солдатам, — не найдется ли у вас такой-то вещи?

Наш Таминко окрестил его прозвищем «внутренний враг». В случае, если речь заходила о Захарове, Таминко строго предупреждал:

— Нам с ним нужно быть осторожными, это самый страшный человек. Чтобы показать себя и выслужиться перед начальством, он ни перед чем не остановится, может и отца родного застрелить. Сами видите, он этим только и живет. Таких людей никогда не посылают на фронт, потому что они нужны здесь, чтобы убивать своих же людей.

А Байгужа в свою очередь, когда речь идет о Захарове, говорит:

— Я ведь Газраил[1] для унтер-офицеров. Были бы на фронте, давно бы уж отправил его на тот свет! Подвернется случай, и здесь никуда не уйдет. Только вот он никуда не ходит. Такой человек ведь и собственной тени боится. — И смеется хриплым гортанным смехом.

Внутренняя жизнь нашего батальона течет по двум руслам, в ней борются мнения двух различных миров. Речь полковника Зенченко через Захарова, как через промежуточную цепь, нашла опору среди трусливых солдат, которые руководствуются спасительным для них девизом: «все делается по приказу свыше». Иное в другой половине батальона. Речь начинается с открытого протеста солдат, которые говорят: «Зачем нам стрелять в своих

---

[1] Газраил — ангел смерти в мусульманской религии.

отцов и братьев», и через Буранбая связана с тысячной массой рабочих, горящих пламенем гнева против кровопролитной войны. Наш батальон предназначен, по замыслу высшего начальства, для борьбы с «внутренним врагом» — со своими отцами и братьями. Но внутренняя его жизнь освещена борьбой против этой чудовищной и подлой цели, для которой готовят наш батальон. Эта борьба растет, ширится с каждым днем.

Мысли о том, как скорее покончить с несправедливой войной, охватывают еще больше умов и сердец, крепнут, мужают. Но этого не увидеть глазами Захаровых и им подобных.

Глава двадцать третья

Конец августа. Воздух пышет зноем, над улицами встали серые клубы пыли. Погоняя неторопливых быков, крестьяне на скрипучих повозках везут на базар зерно, яблоки, картофель и другой деревенский товар. Седобородые старики вышагивают рядом с повозками, а на возу сидят женщины с детьми. Не видно ни одного молодого лица, если не считать вот этого моложавого, с худым лицом мужика, едущего сидя на возу, вытянув вперед деревяшку вместо ноги. Быков гонит мальчик лет пятнадцати.

Напротив нас возводят трехэтажный дом. Строители здания — все женщины, солдатки. Из мужчин среди них мелькают десятники да старые мастера. Все молодые люди, появля-

ющиеся на улицах города, одеты в солдатскую одежду.

Я вглядываюсь в них и задумываюсь об ужасах войны. В сердце — горечь, на душе неспокойно, перед глазами встает родная деревня. Мои товарищи и мужчины постарше нас — все на войне, в деревне остались лишь старики со старухами, дети малые да женщины. Лучших людей, являвших собой украшение деревни, нет дома, все они месят грязь на кровавых дорогах войны. Многие ли из них вернутся здоровые, сколько калек придут с войны на костылях! По письмам из дома мне известно, что в нашей маленькой деревне уже многих не стало: иные погибли, другие пропали без вести.

Я был занят этими невеселыми думами, когда в комнату вошел Новиков. Он был бодр и весел. Он подошел ко мне.

— Дай руку! — сказал он. Я подал ему руку, но он долго еще стоял ничего не говоря, хотя было заметно, что хочет что-то сказать.

— Знаешь, — нарушил он молчание наконец, — тебя мы сегодня посылаем в гости!

Я ничего не понимал.

— Что за гости еще? Сейчас ведь не праздник, — удивился я и, поднявшись, сел на койку. Новиков уселся напротив меня.

— А мы вот хотим праздновать! — сказал он, несколько сбавив голос, и принялся с нескрываемым волнением рассказывать о предстоящем:

— Вы вдвоем с Таминко пойдете сегодня на собрание рабочих. Имей в виду, нужна осторожность, чтобы все было шито-крыто. Там будут говорить о войне.

Сердце мое забилось учащенно. По телу пробежала дрожь.

— Почему я? — уставился я, недоумевая, на Новикова. Он тоже удивился:

— Ты что, не хочешь идти?

— Нет, но почему не ты или не Индрил?

— Так хотят рабочие. Ты пойдешь от имени солдат-мусульман. А Таминко от нас.

Я задумался. В нашем батальоне, кроме нас, есть еще около двадцати солдат-мусульман. Значит, я иду на рабочее собрание от имени этих двадцати солдат.

— Что я буду говорить?.. Мусульман ведь у нас очень мало!

— А разве на фронте мало вашего брата? А по всей России сколько живет вашего брата? Разве не испытывают мусульмане на себе тяготы войны?

Я слушал Новикова и снова мысленно перенесся в свою родную деревню. Растерянность мою как рукой сняло. Я перестал дрожать. В эту минуту я почувствовал себя одним из представителей огромной массы народа, понимающим их заветные мысли, и заволновался. И вправду, ведь не один я страдаю от войны. Весь наш народ терпит ее невзгоды. Никто не доволен этой войной, каждый ждет быстрейшего окончания, в каждом письме, пришедшем из тыла, говорится об этом. Разве солдаты, мобилизованные из нашей деревни, из наших краев, оставшиеся дома отцы и матери не хотят прекращения войны и возвращения сыновей на родину? Конечно, хотят. Я должен говорить об этом, обязан рассказать о думах и желаниях своих отцов и братьев. Я ясно представляю себе, чего хочет мой народ.

Дорогами войны мы прошли через деревни и села Польши, Белоруссии, Украины. Немало видели крестьян, оставшихся без хлеба и крова, под открытым небом, — хлеб их скошен, дома разорены, сожжены. Мы хорошо знаем, о чем мечтают и эти крестьяне. Нам знакомы все ужасы и гибельные последствия войны. Мы прошли сквозь огонь, шагали через трупы, утопавшие в крови. Если рассказать во всех подробностях об этих страшных картинах, многие сердца содрогнутся от ужаса. То был бы рассказ о муках сотен, тысяч ввергнутых в неумолимо жестокий водоворот войны.

Я с волнением думал обо всем этом, и на душе у меня стало легче. Захотелось поскорее идти на рабочее собрание. Тревожно билось сердце.

— Когда будет собрание? Скоро ли пойдем? — нетерпеливо дернул я Новикова за рукав. Лицо его осветилось широкой белозубой улыбкой, а сам он неторопливо заговорил:

— Сам знаешь, сегодня воскресенье. Таминко пошел к командиру отпрашиваться часов до одиннадцати в город. Предлог тоже есть — день воскресный, да еще скажет командиру, что, мол, знакомый земляк позвал в гости.

После обеда мы пошли в город. Меня с Таминко повел с собой Буранбай. Он солидно шел по тротуару, мы следовали за ним. Мне припомнились наши дорожные скитания, при дальних пеших переходах мы всегда пускали вперед Буранбая. За его широкой спиной, подчиняясь его широким размеренным шагам, мы вышагивали не одну сотню верст.

И сегодня вот на улицах Кременчуга мы с Таминко идем за его спиной. Буранбай молчит, мы тоже молчим, а шагаем за ним, охваченные волнующими думами.

Погода стоит чудесная. Солнце светит. В воздухе разлит аромат яблок. В некоторых местах яблоневые ветки, унизанные спелыми яблоками, перевешиваются через забор на улицу. Но в данный момент они нас не интересуют. Мы увлечены иными, более значительными мыслями.

На окраине города, у ворот одного маленького дома, мы остановились. Оставив нас на улице, Буранбай сам прошел в дом. Таминко оглянулся по сторонам и, потерев руки, произнес:

— Может быть, здесь и собираются?

Но внутри дома никакого движения не заметно. Лишь во дворе, у крыльца, шумят, занятые игрой, несколько ребятишек, в руках у них деревянные винтовки, они играют в войну.

В дверь высунулась женщина средних лет и позвала нас.

— Заходите, солдаты!

Мы быстро вошли, но в доме никого не было, Буранбай сидел один и курил. Женщина прошла к печи и, взяв ухват, стала переставлять горшки. В комнате пахло кислыми щами, под потолком висело тонкое облако дыма. В открытое окно льется свежий воздух, но горький запах дыма держится устойчиво.

Дом прибран наполовину по-городскому, наполовину по-деревенски. Возле стены длинная деревенская скамья, у двери — железная кровать, она отделена занавеской. Здесь же

две деревянные детские кровати. К стене прибит маленький шкафчик для разной посуды. На столе горшочек с цветами. Больше никакой утвари в доме не видно. Мы довольно долго сидели одни, молча курили. Хозяйка все возилась у печи. Наконец мы стали переговариваться шепотом, тогда хозяйка, не отрывая взгляда от печи, заметила:

— Я, кажись, заставляю вас долго ждать, сейчас покончу с делами. Вот кое-что нужно поставить в печь. Сейчас освобожусь и пойдем. — Она не отрываясь возилась с горшками. Теперь мы узнали, что нам нужно идти еще куда-то. Поглядывая через окно на улицу, мы тихо стали дожидаться хозяйки. От нетерпения курили одну папиросу за другой. На улице — никакого движения. Во дворах видны женщины, занятые делом, и играющие дети; на завалинках некоторых домов, греясь на солнце, сидят старики. Хотя сегодня и воскресенье, однако на улице не видно мужчин, они исчезли куда-то.

Хозяйка закрыла печь, убрала на место ухват и торопливо стала мыть руки:

— У одного нашего друга сегодня именины ребенка, — сказала она. — Наверное, уже собрались. Еще не поздно, успеем. — Она вытерла руки. Слова хозяйки для меня были неожиданными, я с недоумением посмотрел на Буранбая. Но лицо его оставалось неизменно спокойным. Он сидел, опустив голову, уставившись глазами в ножку стола.

— Не на собрание разве? — спросил я шепотом.

Буранбай оставался непроницаемым.

— Пойдем сейчас. Вот и увидим, — сказал

он и даже не пошевельнулся. Мы с Таминко переглянулись. На лице Таминко обозначилось нечто вроде улыбки. Заметив мое нетерпение, он шепнул:

— Успокойся!

Мы снова притихли. Хозяйка прошла за занавеску к кровати и стала переодеваться. Я свернул папиросу. Перед тем, как выйти из дома, хозяйка сунула мне в руку какую-то вещь, завернутую в тряпку. То был хлеб. Заметив, как я, проверяя, ощупываю сверток, хозяйка пояснила:

— Такие теперь времена, что приходится ходить со своим хлебом. Народу там будет много. Всех не сумеют накормить.

Пройдя проулком, мы пошли вдоль огорода. На дороге никого нет. По ней идем только мы. Шагаем молча. Шли мы недолго, свернули вскоре на узенькую улочку и остановились у одних ворот, возле которых было много женщин и детей. Хозяйка обратилась к женщинам:

— Василий Сергеевич дома? Гости собрались?

— Дома, дома, заходите! — заговорили в ответ несколько голосов.

Миновав ворота, мы повернули направо и поднялись на высокое крыльцо. Вошли в дом, убранный по-мещански. Первым пожал всем руки Буранбай, за ним последовали мы. Как старых знакомых, нас попросили пройти в передний угол. Минуту мы стояли в нерешительности. Тогда встал мужчина с проседью в волосах и провел нас за руку к отведенному нам месту. Усевшись за стол, мы осмотрели собравшихся. Они тоже разглядывали нас.

В доме царила праздничная обстановка, накрыт стол, пахнет чем-то вкусным. Собравшиеся одеты в новые костюмы. Все выглядят как гости. Ко всему прочему, на одном конце стола поставлен баян. Но выражение лиц у людей серьезное, праздничной торжественности на лицах незаметно.

К Таминко подсел худощавый мужчина и заговорил с ним. Он все больше расспрашивал о нашем батальоне. Остальные прислушивались к их разговору. Таминко неторопливо рассказывал о батальоне, о настроении солдат. В беседу больше никто не вмешивался. К хозяину обратился большеусый, круглолицый мужчина, смахивавший на повара.

— Пора начинать пир! — кивнул он головой.

Хозяин, пройдя к окну, высунулся наружу и крикнул тем, кто был на улице:

— Ребята, вы там шумите побольше!..

Он попросил всех к столу. Баян отдал парню в вышитой рубашке. Гости все уселись за стол. Хозяин недовольно заметил, глядя в окно:

— А собаки все ходят, принюхиваются. Пожалуй, нельзя будет довериться одним ребятишкам, самим тоже нужно посматривать. До сих пор в наших краях ничего такого не случалось. Хорошо еще, в удачное время собрались и денек выдался подходящий. Ну, давайте, начнем, что ли!

На стол поставили фрукты, закуски, в двух тарелках принесли нарезанный хлеб, что-то похожее на красное вино налили в стаканы. Гармонь снова заняла свое место на углу стола. Маленький круглолицый еврей обратился

к тому здоровому, похожему на повара, мужчине:

— Товарищ Иваненко, с вас, видно, и начнем. Вначале представителей заводов и армии нужно ознакомить с общим положением. Затем уж поговорим о конкретных вопросах.

Иваненко несколько отодвинулся назад. Хозяин закрыл окно, выходящее на улицу. Никто из гостей к наполненным стаканам не притронулся. Женщины заняли места на скамейке у дверей.

— Товарищи, — начал свою речь Иваненко. — Каждому известно, что время теперь очень тяжелое, все рабочие и крестьяне-бедняки ждут конца войны, хлеба и настоящей свободы. В эти дни рабочие Питера, несмотря на невероятные трудности, ведут героическую борьбу за хлеб и за мир. Мы должны примкнуть к этой борьбе, которую возглавляет авангард революционного пролетариата, должны помочь ему. В настоящее время девять десятых населения всей России и Европы борется за мир. Человечество, ввергнутое в ужасную пучину войны, может быть вызволено лишь пролетариатом. Это под силу только пролетариату. Объективные условия, порожденные империалистической войной, теперь таковы, что они поставили перед человечеством две возможности: или, продолжая войну, жертвовать миллионами человеческих жизней, или в культурно развитых странах всю власть взять в руки революционного пролетариата и совершить социалистическую революцию. В данный момент перед человечеством стоит именно эта проблема. Война ныне поставила Россию в очень тяжелое положение. Она рас-

шатала все механизмы государственного аппарата. В настоящее время Николай II, устрашенный волнениями в народе, может быть, и пошел бы на сепаратный мир с Германией, да союзники не позволяют ему. Они нажимают на Николая II, требуют продолжения войны. Войну развязала и ведет германская и англо-французская буржуазия. Ее цель — грабить другие страны, удушить, закабалить малые народы, чтобы добиться финансового господства над миром, одурачить рабочих, разбить единство рабочего класса и тем добиться сохранения обреченного на гибель капиталистического строя.

Теперь раскрылась вся гнилость российской монархии, народ узнал о развратной шайке Распутина, стали известны тайны хищной царской семьи, обагренной кровью евреев, рабочих и революционеров России. Ныне Россия — это повозка, которая нагружена кровью миллионов, пролитой деяниями гадкой, отвратительной монархии Романовых, зловещую повозку тащат массы рабочих и крестьян, волокут по кровавым дорогам войны. Она, эта повозка, теперь выволочена к краю пропасти, скоро должна быть опрокинута и уничтожена. Мы теперь стоим перед этим ответственным моментом. Она может быть опрокинута только действиями организованного революционного пролетариата. Рабочие Питера ведут историческую борьбу за освобождение трудящихся масс, чтобы избавить их от векового классового гнета. Мы тоже должны поднять свой голос, выйти на улицы, организовать демонстрации. Должны повести за собой миллионы крестьянских масс, разоренных, обездоленных,

привлечь на свою сторону миллионы солдат, вовлеченных в войну. Наша цель — сбросить с плеч народа позорное ярмо царской монархии и покончить с кровавой войной. Великие трудности стоят перед революционным пролетариатом. Мы должны принимать на свои плечи эти трудности для того, чтобы высвободить человечество от кровопролития. Капитализм теперь изживает себя. Голос справедливости и правды заглушен громом орудий. Вся Европа насыщена пушками, пулеметами, ощетинилась штыками, обагрена кровью. В прифронтовой полосе на корню сжигается хлеб, села и деревни обращаются в пепел. Рядом с ними вырастают огромные холмы братских могил. Мы в силах положить конец этим ужасам, пролетариат всего мира поддерживает нас, мы должны свершить этот исторический переворот!

Страстным призывом прозвучали последние слова Иваненко. На его лбу и пухлых щеках блестели бисеринки пота. В доме воцарилась глубокая тишина. Носовым платком оратор вытер с лица пот. Пододвинув стул поближе к столу, он уселся и выпил напиток, налитый в стакан. Низкорослый еврей Кодман достал из кармана часы и, взглянув на циферблат, кивнул молодой женщине, сидевшей у двери.

— Вам десять минут. Другие представители внесут лишь конкретные предложения. Времени в обрез. Надо спешить.

Простенько одетая женщина поднялась с места, она не стала проходить к столу. Прислонившись спиной к печи, устремила свои

большие голубые глаза к потолку и начала говорить:

— Товарищ Иваненко рассказал именно о том, что волнует всех нас. Что еще я могу добавить? Положение наше всем известно. Муж мой погиб на фронте, и я с тремя ребятишками на руках осталась вдовой. А меня выгнали с завода. Кто не знает положения таких же, как я! Прежде всего, нам нужен хлеб. И так уж мы с голоду смотрим в могилы. Каждый в отдельности из нас ничего не сможет добиться. Поэтому нужно выйти всем вместе. Среди рабочих много таких же, как я, женщин-солдаток. Они работают за полцены и живут впроголодь. Они послали меня сюда своим представителем. Все они готовы выйти на улицу по первому же сигналу. Вот все, что я хотела сказать, больше мне говорить нечего.

Она заняла немного времени. Предложения были тоже краткими:

— В следующее воскресенье организовать антивоенную демонстрацию рабочих, выйти на улицу с лозунгами: «Мира, хлеба!» Вести среди солдат агитацию за то, чтобы они не выступали против демонстрации рабочих!

Как только было принято решение, окно, выходящее на улицу, распахнули настежь. Молодой парень заиграл на баяне. Две женщины запели частушки и пустились в пляс под гармошку. Ребятишки, толпившиеся на улице, всей гурьбой хлынули в комнату. Дом наполнился шумом, песнями.

Под шум веселья делегаты с заводов беседовали между собой, выясняли непонятные

вопросы, уточняли план проведения воскресной демонстрации.

Иваненко и Кофман после окончания заседания задержались недолго. Хозяин проводил их. Нас попросили остаться. Таминко за столом вскоре уже был своим человеком. Принялся рассказывать веселые истории, смешил народ. Легко и проворно поплясал под задорную плясовую, выводимую баянистом.

Возвращаясь к себе, до самой окраины города мы шли в сопровождении гармони. Попрощавшись, мы зашагали к себе в батальон. Впереди снова шел Буранбай.

Глава двадцать четвертая

Не успела дойти до нас весть о начале рабочей демонстрации в городе, как несколько конных полицейских быстро проскакали по нашей улице. За ними пробежала группа пеших жандармов. Но мы все еще оставались в казарме, приказа выйти нам на улицу не поступило. Товарищи сгорали от нетерпения. Метались из угла в угол. В окно демонстрации нам не видно. Солдаты нервно переговариваются между собой:

— Плохо организовали! Видно, хотят разогнать силами одной полиции.

На нашей улице появилось несколько городовых. Гражданских лиц мимо наших окон не пропускают. Наконец и нам приказали выйти из казарм. Мы с нетерпением всматриваемся в городские кварталы. Но на улицах, кроме заградительной группы городовых, никого не видно. Товарищи заметно упали духом:

— Сколько подготовительной работы вели, если же, выйдя на улицу, не добьемся желанного результата, то нужно уходить отсюда!

Четвертой роте приказали выйти строиться на улицу. Вся наша группа во второй роте. В четвертой роте из наших есть солдат Саит Мамет — из крымских татар. Но довериться ему небезопасно, потому что он примкнул к нам совсем недавно. Четвертая рота выстраивается во дворе, а солдаты из других рот кричат:

— Не вздумайте, что вы на фронте! Смотрите, по своим не стреляйте!

Эти возгласы радовали нас, а командному составу пришлись не по вкусу.

— Прекратить безобразие! — заорал диким голосом прапорщик. — Что за крики! Кто там орет! Поймать и наказать!

Захаров мигом вбежал в казарму и скомандовал:

— Отойти от окон! Садиться по своим местам!

Никто и не думал подчиняться его команде, потому что в казарме находились солдаты других рот, они подняли Захарова на смех:

— Прослужи еще годочков с двадцать, тогда и будешь командовать всей ротой! Иди, командуй своим взводом!

Захаров побагровел. Направился к выходу. Задержавшись у дверей, он погрозил пальцем:

— Ладно, я доложу об этом где следует!

И быстро убрался из казармы. Поднялся хохот. Мы вслушиваемся, какая команда будет подана четвертой роте. Но приказа не последовало, роту вывели за ворота и строем

повели на улицу. А мы остались сидеть в казарме. Все волнуются. Начались разговоры о четвертой роте, поднялся шум:

— Сегодня воскресенье, почему нас держат в казарме?

Солдат никто не призывал к порядку. Вскоре вошел фельдфебель и приказал нашей роте выйти из казармы. Новиков с Байгужой первыми кинулись в дверь. Остальные из нашей группы пошли на выход в общем потоке.

Когда миновали два квартала, нас остановили, командир нашей роты, подпоручик, отдал приказ:

— Выйти на площадь, задержать демонстрантов, не пускать их на главную улицу, чтобы не прошли к дому воинского начальника!

Роту повели ускоренным шагом. Одновременно с нами к площади подоспела большая группа рабочих. Конные полицейские, стремясь не допустить рабочих на площадь, замахали на них нагайками. Однако рабочие не оробели; они пытались смять цепь полицейских и проникнуть на площадь. Вот несколько конных полицейских кинулись на рабочих и стали из избивать. В тот же миг на головы грянули винтовочные выстрелы. Это взволновало солдат:

— Смотрите, смотрите, в рабочих стреляют!

В эту минуту волна демонстрантов вдруг хлынула на площадь. Колонны рабочих с красными знаменами растекались по площади. Где-то на соседней улице резко заголосила женщина. Из переулка, что за церковью, вы-

бежала женщина с ребенком на руке, платок на ее голове был сбит на затылок, волосы растрепались; она бежала навстречу колонне демонстрантов. Конный полицейский выскочил ей наперерез, чтобы задержать. Она истошно закричала:

— На! На! Дави, дави моего сына!

Вскоре вслед за ней на площадь беспорядочной толпой высыпали другие женщины. Над площадью раздались громкие женские крики и визг. Ни одного слова из того, что они кричали, невозможно было разобрать. Женщин становилось все больше, они стали сливаться с демонстрантами. В течение нескольких минут площадь наполнилась рабочими. Они двигались по направлению к нам. Несколько рабочих приблизилось к солдатам:

— Что же, товарищи солдаты, пришли стрелять в нас?

Подскочил конный полицейский и стал отгонять рабочих от солдат. Громко чертыхаясь, рабочие отступали назад. Тем временем подошла первая рота и встала за нами. А солдат нашей роты строем в один ряд повели на площадь, чтобы окружить демонстрантов, стали выстраивать цепью по одному. Между тем рабочие соорудили импровизированную трибуну, и один из демонстрантов начал речь. Его голос еле-еле долетал до нас. Рабочие тесным кольцом обступили оратора. Полицейские попытались разорвать кольцо рабочих и пройти в середину, но их не пустили. Нескольких полицейских, избив в кровь, вытолкнули вон. Поступил приказ — вытеснить демонстрантов с площади и разогнать. Скомандовали окружить рабочих и оттеснить их штыками. Со



штыками наперевес мы двинулись на рабочих, начали их окружать. Среди рабочих поднялся шум. Они кричали, обращаясь к солдатам:

— Не стреляйте по своим братьям!

— Поверните штыки против тех, кто хочет утопить в крови ваших родных!

— Бросайте оружие!

— Долой войну!

— Хлеба!

Голоса усилились. Солдаты начали втыкать штыки в землю. Некоторые, держа винтовки в руках, стояли не двигаясь. Среди солдат раздавались голоса:

— Долой войну!

— Даешь мир!

Таминко, Новиков и Индрил втроем побежали вдоль цепи:

— Уберите штыки! Не стреляйте в рабочих! — кричали они.

В это время где-то загремели винтовочные выстрелы. Солдаты второй роты, стоявшей за нами, беспорядочно разбрелись и начали сливаться с демонстрантами. Байгужа чем-то разгорячен, беспричинно палит из винтовки в воздух, а сам громко кричит:

— Долой войну! Даешь мир!

Рабочие смотрят на него и добродушно посмеиваются.

Пользуясь моментом, демонстранты смешались с солдатами. В несколько минут солдаты и рабочие заполнили площадь. Офицеры, вырвавшись из среды солдат, кинулись прочь. Они исчезли за дверями дома воинского начальника. Оттуда в сопровождении группы конных жандармов и нескольких офицеров подъехал полковник Зенченко. Они попыта-

лись прорваться в толпу демонстрантов. Но их не пустили.

Заговорил новый оратор. Не успел он сказать и нескольких слов о войне, где-то раздался выстрел. Вслед за ним протарахтел пулемет. Стреляли куда-то в другом направлении. Стрельба еще более возбудила гнев демонстрантов. Оратор прекратил свою речь, и толпа двинулась по улице, где располагался дом воинского начальника. Вслед за демонстрантами пошли и солдаты. У ворот дома воинского начальника выросло несколько конных полицейских. Демонстранты забросали их камнями. Полицейские скрылись за воротами.

Снова зазвучали страстные лозунги:

— Долой войну! Долой кровопийцев!

— Хлеба!.. Мира!..

Откуда-то по демонстрантам открыли огонь. Просвистев над головами, пули ударились об стену. Но они никого не задели. Это резко хлестнуло по нервам, толпа заволновалась, словно разворошенный муравейник. В окна дома полетели камни. Некоторые солдаты даже пальнули несколько раз из винтовок. Эти выстрелы еще более подбодрили рабочих. Волна демонстрантов выплеснулась на центральную улицу. Там к ней примкнули бастующие трамвайщики. По тротуарам текла толпа любопытствующих. Пройдя центральную улицу, наши солдаты один за другим начали расходиться. Рабочие группами двинулись к своим заводам. Нигде они не встречали препятствия. Расставаясь с солдатами, рабочие восклицали:

— Да здравствуют революционные солдаты!

— Мы ваши братья! Держитесь всегда с нами вместе!

Солдаты собрались в казарме лишь к шести часам вечера. Обед в тот день был беспорядочный. Каждый по возвращении заходил в столовую и обедал. Опоздавшим обед совсем не достался. Но почему-то никто из-за обеда не стал поднимать шума. Решили ждать ужина. Все остались в казарме, никто на улицу не выходил. В тот день ни один из офицеров в казарме не появлялся. Только дежурный офицер заглянул на минутку для проверки. Он ни слова солдатам не сказал.

Настроение у солдат переменилось. Стали собираться небольшими группами, завели песни, шумно переговаривались. Разговор большей частью шел о фронте.

— Теперь уж нас все равно погонят на фронт!

— Что нам, малярам! Нашему брату всюду одинаково!

— Последние дни живем в тылу, давайте погуляем как следует!

— Приедем на фронт и покончим с войной!

Откуда-то притащили гармонь. Заиграли плясовую, солдаты пустились в пляс. А наши товарищи повели агитацию, чтобы, если вдруг устроят допрос, никого из своих не выдавать. Через верных людей передали этот наказ во все роты.

В тот вечер казарменный порядок вконец нарушили, и после вечерней поверки, несмотря на предупреждения дежурных и дневальных, солдаты не угомонились, шумели, галдели до двенадцати часов ночи.

Глава двадцать пятая

На другое утро в город прибыли усиленный отряд полиции и эскадрон казаков. Наш батальон выстроили без оружия, затем повели на окраину города. Это обстоятельство вызвало среди солдат недоуменные разговоры, подозревали недоброе.

— Может, нас хотят в тюрьму посадить?

— Не расстреливать ли собрались?

— Почему же мы винтовки свои не захватили?

Полковник Зенченко и несколько казачьих офицеров на конях подъехали к нам. Полковник поздоровался с нами, приказал выстроить батальон замкнутым четырехугольником, сами они въехали в центр четырехугольника. Полковник с седла начал речь:

— Братцы! Жалко мне вас, я говорю об этом с горечью в сердце. Вы показывали героизм на фронте, а вот перед лицом внутренних беспорядков растерялись. Это позор для нашего прославленного солдата, позор для всей русской армии! В вашу среду пробрались шпионы. Несмотря на то, что мы заранее предупреждали вас об этом, вы не выдали нам этих шпионов. Теперь вот потеряли доверие всего гарнизона. Если сегодня же выдадите нам предателей, что находятся среди вас, то батальон будет оставлен здесь. Если не выдадите, то всех разгоним по дисциплинарным батальонам. Даем сутки на размышление. В течение этих суток вы получите или прощение, или добьетесь строгого наказания!

Полковник кончил говорить, солдаты застыли без движения... Но вот подали коман-

ду — вести батальон обратно в казарму. Полковник Зенченко и казачьи офицеры ускакали.

Когда мы вернулись в казарму, в пирамидах наших винтовок не было. Все оружие было убрано. Потом приказали сдать подсумки с патронами. В тот день на занятия нас не водили. Солдаты стали ждать допроса. Мы еще более усилили агитацию за то, чтобы никого из солдат не выдавать. Солдаты в этот день беспрепятственно гуляли по городу, но наша группа оставалась в казарме, потому что нам нужно было наблюдать за солдатами, выяснять, что они думают, что таят в душе.

До нас дошли слухи, что в этот день в рабочих кварталах проходили обыски и аресты. И среди солдат пошли разные слухи:

— Говорят, нас погонят в Архангельские края, в леса...

— Сказывают, пошлют в Сибирь, на китайскую границу...

Разговоров о фронте не стало слышно. Все ломали голову над вопросом, куда, в какие края вышлют в наказание.

Несколько солдат, выясняя, есть ли возможность для побега, сбегали на вокзал. Вернувшись в батальон, рассказали, что на станции жандармов стало больше. Разное говорили солдаты. Некоторые раскаивались.

— Мы ведь тогда еще предупреждали. Теперь вот скоро конец войне, а нас всех погубили...

Другие солдаты смеялись над ними:

— Дома, видно, вас ждут бабы молодые. А сейчас уж все пропало. Кайся не кайся, ничем теперь не поможешь. Ничего, не горюйте, нас ведь много, все вместе будем!

В этот день ни одного солдата к начальству не вызывали и не допрашивали.

На другое утро нам выдали на дорогу хлеба, сухарей и консервов. Поступил приказ направить нашу роту в город Дунаевец в запасный полк. Другие роты отправлялись в другие города.

Вечером нашу роту погрузили в эшелон.

У дверей каждого вагона поставили по часовому. Наконец поезд тронулся в путь, солдаты, теснясь у дверей, гневно кричали:

— Долой войну!

— Даешь мир!

Нас везли снова на фронт, поезд несся навстречу кровавым зорям, но теперь уж мы не были лишь простым пушечным мясом, какими были, когда первый раз прибывали на фронт, в нашем эшелоне сейчас едут люди с просветленным сознанием, закаленные и приобревшие опыт в борьбе.

Теперь мы знаем все тайные цели войны. О них судим открыто и со знанием дела. Нам известны и пути борьбы с жестокой, несправедливой войной. Мы умеем теперь и организовать солдат для этой борьбы.

— Выходит, технику, предназначенную для истребления людей, можно подчинить общей пользе. На это способен пролетариат. Теперь уж мне понятна эта истина. Во главе с пролетариатом можно перевернуть весь земной шар и мы перевернем его!..

Солдаты слушают Индрила с молчаливым одобрением. А встречный ветер, врываясь в дверь вагона, раздувает в печке раскаленные угли...



Книга вторая

Глава первая

На чем свет стоит солдаты ругают Дунаевец. На улицах — непролазная грязь, казарм нет, а тут еще и похолодало, выпал снег. Горожане сами удивлены — такой погоды на Украине давно не было. Но нам от этого не легче. Мы мерзнем в корпусах суконных фабрик, где нас разместили. В довершение всех бед несколько солдат заболели тифом, и нам сделали прививки.

После укола Индрил не может подняться с постели. Он просит меня приготовить чай.

— Чего проще, — обрадовался я возможности доставить ему небольшое удовольствие. — На кухне есть готовый кипяток, сейчас принесу.

Индрил, приподнявшись на локти, недовольно посмотрел на меня, раздраженно говорит:

— Ты меня не понял, Булат. Не такого чая мне хочется. Помнишь, какой мы пили на Висле? Сам вскипяти, это же не так трудно.

Что с ним такое? Неужели ему совсем плохо?

— Не волнуйся, — успокаиваю я его, взяв котелок. — Сделаю, как просишь.

— Вскипятить воду — невелик труд, это мы в два счета. Только какой интерес чай пить здесь. Может быть... — слышу я голос Байгужи.

Индрил тянется к нему, хлопает его по плечу. Обведя нас веселым взглядом, бодро произносит:

— Знаю, знаю, что задумал Байгужа. В самом деле, почему бы нам не сходить сегодня к Альфреде — у нее хоть в хате погреемся. Верно, Байгужа?

— Угадал, — соглашается тот и откидывает одеяло. Кряхтя, поднимается и Индрил и начинает неуклюже одеваться. Он старается держаться молодцом, но это ему плохо удается.

— Пошли с нами, Булат. Все равно день у нас свободный. А Новиков с Буранбаем после подойдут, мы им скажем.

Я киваю, встаю. От саднящей боли в спине двигаться трудно. Хорошо, что в день прививки нас на занятия не вывели. Индрил шутливо сочувствует Новикову и Буранбаю — они сегодня дежурят на кухне и уколы им еще не сделали:

— Бедняги, они не знают, что их ждет. Если б знали, не побоялись дезертировать.

— Верно, — в тон ему говорит Байгужа, сдерживая улыбку.

После уколов многие притихли, лежат с унылыми лицами. В проходе нас провожают десятки печальных взглядов. Во дворе фабрики непривычно бело. С запада порывами дует холодный ветер. Каково сейчас горожанам? Тоже, небось, клянут небесную канцелярию. Интересно, как бы они чувствовали себя на Урале? Буранов, какие бывают у подножий Ирендыка, им никогда в жизни не приходилось видеть. Поэтому зимой здесь носят легкие пальто, на ногах — ботинки или сапоги. Когда мы рассказываем им об уральских зимах, о валенках с высокими голенищами и тулупах с большими воротниками, они слушают нас с недоверием. Их можно понять: бедные евреи — большинство жителей Дунаевца, никогда в тех краях не бывали. Вся их жизнь прошла в этом городке в борьбе с нуждой. Они интересуются жизнью в наших родных местах, ценами. В таких случаях вниманием всех завладевает Буранбай — он подробно рассказывает о башкирских степях, о больших табунах коней, о кумысе, о наших башкирских блюдах. Увлекшись, начинает плести небылицы:

— У нас кумыс и молоко не продают — пей задаром, сколько хочешь. Если какой-нибудь богач режет скотину, то всю деревню угощает мясом...

Слушатели недоверчиво качают головами:

— Обманываете, наверно. Кто же станет поить и кормить даром? Не может такого быть!

— Не верите, поезжайте в Башкирию, — ворчит Буранбай и принимается скручивать цыгарку.

Втроем осторожно, неуклюже шагаем по чистому снегу. Каждый занят своими мыслями, своей болью в спине. На углу улицы озябший старик-еврей продает горячие пирожки.

— Москали, откуда вы принесли эту стужу? — обращается он к нам, невесело посмеиваясь. Индрил подходит к нему.

— Неужели у вас и зимой морозов не бывает?

— Морозы бывают и покрепче, правда, редко. Но нынче особенно холодно из-за ветра. Думаю, недолго это продержится. Еще дня два-три, не больше, — уверенно говорит старик, кутаясь в свой ветхий балахон.

— В наши края завезти бы этого деда, — смеется Байгужа.

Едва свернули за угол, как нас остановила шедшая навстречу старуха-еврейка:

— Хорошие вы люди, дай бог вам здоровья, — говорит она, прикладывая руку к моей груди. Я ничего не могу понять, с недоумением смотрю на товарищей. Те подмигивают, поясняют:

— Она тебя узнала. Помнишь погром?

Приглядевшись к старухе, я ее тоже узнаю.

— Спасибо вам, что не забыли нас, — отвечаю я, вспомнив вечер на третий день нашего пребывания в Дунаевце. Только мы прилегли тогда отдохнуть, как с улицы донесся какой-то странный шум. Мы вышли наружу. Несколько солдат, оживленно переговариваясь, несли в узлах булки, колбасу, коробки папирос. У одного под мышкой была совершенно новая офицерская фуражка.

— Откуда это у вас? — поинтересовались мы.

Они остановились, объяснили:

— В городе потрошат жидовские лавки. Не зевайте и вы — там всякого добра на всех хватит.

В темных узких улицах слышались крики, плач, вопли, часто мелькали солдатские шинели. Люди забирались в магазины и лавки через сорванные двери, разбитые окна и чего только не выносили с собой. Какой-то человек в гражданском собрал вокруг себя солдат.

— Все евреи — немецкие шпионы! — кричал он. — Бейте евреев, чтобы их и духа в Дунаевце не осталось!

Но солдаты, искоса поглядывая на него, расходились. Кто-то заметил:

— Еще чего не хватало — какой-то проходимец командовать нами хочет.

Мы не могли понять что же происходит. Невыносимо было слышать душераздирающие крики и плач женщин. Растерянно мы поглядывали друг на друга и пожимали плечами.

Тем временем Буранбай, оказывается, успел побывать в какой-то лавке и вынес оттуда две бутылки лимонада и несколько пачек папирос.

— Чего стоите! — сказал он нам. — Идите скорей, а то ничего не останется. Хозяин все равно куда-то сбежал.

Новиков с укоризной посмотрел на него и мягко попросил:

— Буранбай, брось. Не марай руки и душу.

Тот хотел было что-то сказать в оправдание, но раздумал и стоял, не зная куда деть глаза. Новиков взял у него бутылки и бросил

их в снег. Смущенный Буранбай опустил руки и пачки папирос посыпались нам под ноги.

— Давайте сходим туда, — Новиков показал в гущу толпы. Всюду слышались крики, плач женщин и детей. Возмущенный Новиков заметался между солдатами, стал их уговаривать:

— Братцы, что вы делаете? На что это похоже?! Зачем обижать мирных жителей? Ведь и евреи такие же люди, как и мы. И среди них много бедных и рабочих. Ну что вы позарились на чужое добро — совесть же надо иметь. Что вам сделали эти женщины и дети? Бросьте, братцы, бросьте!

Некоторые солдаты в нерешительности остановились. Кое-кто, воровато пряча награбленные вещи за пазуху или под полы шинели, спешил улизнуть незамеченным.

Вокруг Новикова собралась группа солдат. И тут появился тот самый штатский, что давеча призывал бить евреев. Отирая платком пот со лба, он начал упрекать солдат:

— Вы, братцы, совершенно не умеете бороться с внутренним врагом. Разве можно забыть о присяге, данной государю-императору? Евреи тут шпионят на немцев, продают Россию, а вы хотите защитить их. Надо раз и навсегда отбить у них охоту помогать нашим врагам. Все евреи — предатели!

— Что за начальник выискался? — возмутился Новиков, перебивая его. — Чего ты вздумал командовать нами! Мы здесь вовсе не для того, чтобы воевать со своим мирным населением. Марш отсюда!

Штатский протестующе замахал руками, хотел возразить Новикову, но тот толкнул его

в плечо. Солдаты окружили их плотным кольцом. Штатский затравленно озирался, выискивая сочувствующие лица.

— Убирайся подобру-поздорову, — прикрикнул на него Новиков. Тот нервно повел плечами, но продолжал стоять на месте. К нему подскочили Буранбай и несколько солдат, взяли его за руки и потащили в переулок. Незнакомый мне ефрейтор, кивнув в их сторону, проговорил с ненавистью:

— Я знаю этого «патриота» — он маклер, поставляет скот для армии. Кушнарев его фамилия. Скверный человек. Все время крутится возле офицеров. Лучше от него держаться подальше. Наверно, он агент охранки.

— Значит мы не ошиблись, в точку попали, — удовлетворенно сказал Новиков и махнул нам. Мы потопали за ним к нашему пристанищу. Вдруг из одного двора с воплями выскочила старуха-еврейка и подбежала к нам. Она хотела что-то сказать, но, разглядев нас, повернулась и исчезла в воротах, из которых выбежала. Мы за ней. Из дома доносились крики, плач. Я первым распахнул дверь и увидел четырех солдат, невозмутимо копавшихся в сундуках.

— В чем дело, чего вы тут ищете? — обратился я к ним. Они посмотрели на меня, как на пустое место, и продолжали спокойно ворошить вещи.

— Братцы, что вы делаете?!

— Вот жидовские морды схоронили вино и не хотят по-хорошему отдавать, — сердито отозвался один солдат.

— Никогда мы вином не торговали, зря на меня указали, — запричитала старуха, ища в нас сочувствие.

Молодая женщина, прижимая к груди младенца, бессильно опустилась перед нами на колени, с плачем заговорила:

— Клянусь вам — мы ничем не торгуем. Откуда у нас быть вину. Даже на хлеб у нас денег нет. Муж давно безработный, а я часто болею.

Мы были удручены. Байгужа, рассвирипев, бросился на солдат и одного свалил на пол. Все сразу зашумели. Погромщики поняли, что в случае драки им не сдобровать — нас было больше, да к тому же Буранбай наготове держал кочергу, выхваченную им в суматохе из подпечья. Хозяева со страху закрылись в соседней комнате.

— А ну-ка, живо выметайтесь отсюда. Чтобы и ноги вашей здесь больше не было. Нашли у кого погром устраивать! — возмущался Новиков вслед убегавшим солдатам.

Вскоре из соседней комнаты вышла старуха и сразу повалилась нам в ноги.

— Ой, не знаю, что и сказать вам, сыночки, спасли вы нас, отвели беду. Появились вы, как ангелы небесные. И меж солдат, оказывается, бывают милосердные люди. Большое вам спасибо, всю жизнь будем за вас молиться, — благодарила нас плачущая старуха.

Мы успокоили ее как могли и вышли из дома. На улице уже было спокойно. По совету Новикова мы вернулись к себе глухими переулками.

Сейчас старуха улыбается, умильно смотрит на нас, говорит картавым, но приятным голосом:

— Милости просим вас в гости. Мы вас все время вспоминаем и уж не знаем, чем отблагодарить. Вы очень хорошие люди, дай бог вам здоровья. — Она проводила нас долгим, участливым взглядом.

Индрил от слов старухи, кажется, расчувствовался. Разогнув больную спину, он чуть слышно охнул, стал рассуждать:

— Война, война... Сколько людей понапрасну терпят муки из-за нее. Зачем нужна война вот этой старухе? Бедная, она еще благодарит...

Знакомая женщина поджидала нас у окна. При нашем появлении она встрепенулась, улыбка озарила ее задумчивое лицо. Индрил, став по стойке «смирно», шутливо отдал ей честь.

В ее хате уютно, тепло. Кажется, что мы попали в родной дом. Индрил неузнаваемо преображается. Малоразговорчивый, он становится словоохотливым, расспрашивает Альфреду о фотографиях, развешенных в рамках по стенам, перебирает в шкафу старые книги, читая вслух их названия. Если Альфреда уходит на кухню, он спешит за ней, предлагает свои услуги.

И в этот раз, несмотря на боль в спине, он с озабоченным видом стал вертеться возле нее. Засмеявшись, она попросила его затопить печку. Индрил наколол дров, нащипал лучин. Заметив на боковине печи трещины, кивнул на них хозяйке:

— Надо замазать, а то станут еще больше.

Альфреду эта заботливость, видимо, растрогала и она заговорила о своих прошлых счастливых днях:

— Мой покойный муж был таким же хозяйственным, как вы, — ее лицо, обращенное к Индрилу, вновь стало задумчиво-печальным. — Бывало, вернется с фабрики усталый, а все-таки норовит помочь чем-нибудь мне. И в выходные дни из дома не выгонишь — все что-то чинит, стучит, мажет. Веселый был, и меня всячески старался развлечь. Уж так ведется — хорошие люди почему-то долго не живут. Шесть лет жила с ним как у Христа за пазухой. Было у нас двое детей — умерли младенцами. Еще бы появились, вернись он с войны. Кому нужна эта война? Какая польза от того, что люди убивают друг друга.

Индрил, глядя на огонь, тяжело вздохнул:

— Много на войне гибнет хороших людей. Э-эх, сколько семей осталось без кормильцев. И останется еще, пока эта бойня продолжается. Вот мы тоже сегодня здесь, а завтра — в окопах. Видно, мы не очень хорошие люди, раз еще живы.

От последних слов Индрила хозяйка подскочила, как ужаленная.

— Что вы, что вы, разве я хочу вам смерти?! Бог с вами. Нет, вы жить должны. Вот ведь какая я — возьму да ляпну что-нибудь несуразное. Вы уж не обижайтесь на глупую бабу, простите меня. Я и разговаривать с людьми стала разучиваться, — виновато каялась она и, опустившись на скамейку, готова была заплакать.

Индрил выпрямился, неуклюже шагнул к ней.

— Нет, вы ничего плохого не сказали. Это я не то брякнул. Честное слово, у меня и в мыслях не было обидеть вас. Мыкаясь по фронтам, мы совсем огрубели. Вы меня извините, — стал утешать он женщину, ласково похлопывая ее по спине. Та уронила голову, закрыла лицо платком, видимо, плакала — плечи ее стали подергиваться.

Глядеть на нее было тяжело, и я, отойдя к окну, стал скручивать цыгарку.

Улица занесена снегом. Напротив, возле лавчонки, стоят женщины. Они оживленно разговаривают с лавочником-евреем, видимо, возмущаются чем-то, вздергивая руки кверху и недоуменно разводя их. Может быть, они вспоминают ужасы погрома, или, потеряв мужей на войне, делятся с ним своим горем. Тот сочувствующе соглашается с ними кивком головы.

Сегодня над городом висит синеватая мгла. Ветви печальных деревьев в мохнатом инее. Чудится, что и они тоскуют о прошлых чудесных днях, когда их, наряженных в сочную листву, шевелил нежный летний ветерок.

Под окном прошла женщина с ребенком на руках. Сразу и не скажешь, сколько ей лет. Сейчас молодки ходят как старухи, закутавшись в большие платки и шали то ли от холода, то ли от горя. Голова ее низко опущена, и задумчивый взгляд устремлен под ноги. На ней красные чулки домашней вязки и огромные ботинки. Она не замечает своей убогой походки. Ребенок размахивает ручонками, тянется ладошками к ее лицу, но мать, занятая невеселыми думами, безучастна к его радости.

Чай пили весело. Индрил занимательно и смешно рассказывал о наших фронтовых приключениях. Хозяйка не сводила с него глаз и время от времени громко смеялась, прижимая руки к груди. Стараясь развлечь ее, он стал плести небылицы, изображая нашу окопную жизнь, как цепь забавных эпизодов.

Со смехом и шутками пришли Новиков и Буранбай.

— Посмотрим на вас, какие вы будете после уколов, — сказал им Байгужа, когда Новиков воскликнул: «Что вы такие кислые?!» Буранбаю, видимо, наскучило слушать Индрила, и он, отойдя от окна, сел на диван, откинулся на спину и вскоре захрапел. Индрилу вздумалось подшутить над ним, но хозяйка его остановила:

— Не трогайте, пусть поспит, заморился, видно, бедняга. Я и вам сейчас постелю. На фронте вам покою не будет.

Индрил пытался возражать, но та и слушать его не захотела, и нам пришлось уступить. Под голову Буранбая хозяйка подсунула подушку, а сама ушла на кухню и затихла. Я лег рядом с Индрилом, незаметно и быстро уснул.

Глава вторая

В новом обмундировании, выданном сразу после отмены строевых занятий, мы выходим лишь на утреннюю поверку. Значит, нас вот-вот отправят на фронт.

Начальство, занятое подготовкой к походу, на фабрике не появляется. Солдаты, поль-

зуясь безнадзорностью, целыми днями играют на раздобытой где-то гармошке, поют, пляшут. В укромных уголках не торопясь тянут вино, громко переговариваются. Иногда в этих тесных кружках вспыхивают ссоры и даже драки. Они тут же гасятся самими же солдатами — помирившись, недавние противники садятся на свои места и веселье продолжается, как ни в чем не бывало. К вечеру они разбредаются по фабрике, осоловелыми глазами ищут свои постели.

Общее бесшабашное настроение нашу компанию не захватывает, мы держимся в стороне. Со дня отъезда из Кременчуга ничего примечательного не случалось. Время проходит однообразно, скучно. Единственное развлечение — посещение Альфреды, у которой мы отдыхаем телом и душой. Вернувшись от нее, снова окунаемся в убогую казарменную обстановку. Новиков с отвращением морщится, с тоской вспоминает дни, проведенные в Кременчуге:

— Да, тогда мы покуралесили там, век не забудешь. А здесь, черт возьми, и податься некуда. Чисто загробное царство — ни винных лавок, ни людей, они, как тени, исчезают еще вечером.

Индрил, обычно вступающий с ним в спор по любому поводу, в последнее время погружен в себя, говорит только в самых необходимых случаях. Его можно расшевелить лишь воспоминаниями о прошлом. Тогда он охотно рассказывает о своей юности, проведенной в Норвегии и Финляндии. В то время он рыбачил в открытом море, нередко попадал в такие штормы, что прощался с жизнью. О своем

родном городе Ревеле он не может говорить без восторга:

— Ели вы когда-нибудь ревельские кильки? Нет?! Могу только посочувствовать. У Ревеля их покупает вся Европа. Одну кильку съешь — на всю жизнь запомнишь.

И красочно, воодушевленно принимается обрисовывать этот город, окруженный топями и водами Финского залива.

Ветры Балтики гонят на Ревель туманы и дожди. Серые плотные тучи висят над городом, словно зацепившись за шпили высоких остроконечных башен Святой Олаи.

Голос Индрила при этом становится напевным и начинает казаться, что он не рассказывает, а печально поет о трагическом прошлом неизвестного нам сказочного города. Когда он описывает возведение Преображенского собора в Вышгороде, мы вспоминаем эстонцев, которые однажды на одном привале раздраженно заметили ему:

— Чего ты нахваливаешь безобразный собор. В Вышгороде святой храм Бригита был куда лучше, но его разрушил русский царь.

Если Индрил заводит разговор о том времени, когда он жил в Петрограде, то непременно вспоминает Дусю, в которую был влюблен.

— Эх и хороша же была девушка.

Рассказ о Дусе мы слушаем с особым удовольствием, и он, видя это на наших лицах, еще больше вдохновляется и голос его становится мягче и теплее:

— Жалованье у меня было маленькое, работа тяжелая. Но я не терял надежды прочно

встать на ноги — готовился к поступлению на электротехнические курсы...

— Брось-ка ты эти свои курсы, — недовольно перебивает Индрила Байгужа. — Лучше расскажи, как с ней познакомился.

— Весной это было. Я шел по мосту, радовался погоде — утро выдалось ясное, лазурное — такое в Петрограде редко случается весной. Лед на Неве вот-вот должен был тронуться. Вдруг из-под моста донесся чей-то отчаянный крик: «Спасите, спасите!» Меня как по сердцу полоснули. Я к перилам, глянул вниз. Там в полынье, как птица с переломленным крылом, барахталась какая-то женщина. Я опрометью кинулся к берегу. Пока бежал по мосту, пока спускался к Неве, тонувшая, видимо, уже выбилась из сил — она больше не кричала, а судорожно цеплялась за край полыньи. Но лед обламывался и она окуналась с головой. Я скинул пальто — и к ней. Когда пробежал саженей десять, лед подо мной затрещал и одна нога ушла под воду. Я рванулся вперед, выскочил из провала. Чем ближе подбираюсь к ней, тем все опасней — лед пористый, то и дело проваливается, того гляди и сам уйдешь под воду. Когда до нее оставалось каких-нибудь сажени две, я растянулся на льду и пополз. А она легла грудью на плавающую в полынье льдину и так держалась на воде. Увидела меня, взмолилась со слезами на глазах: «Ради бога, спасите!»

С берега раздались какие-то возгласы, но мне было не до них. Наконец я подполз к полынье и протянул правую руку. Она намертво схватилась за нее и потащила меня в воду. Ну, думаю, пропали мы. Хорошо, что лед был

шершавый — вцепился в него левой рукой и замер. Лежу, братцы, и чувствую — сил у меня ненадолго хватит. Посмотрел на берег, а там уже на лед доски спускают. «Держись, держись. Еще немного, еще чуть-чуть», — приказываю себе.

Правая рука совсем онемела — так она мне ее сдавила. Левая же, которой я вцепился в лед, горела, как в огне. Мне казалось, что люди с берега слишком медленно настилают доски на лед, черепашьими шагами приближаются к нам. Вот они совсем близко, я уже видел их ноги. В это время на меня что-то свалилось.

— Хватайся за веревку! — слышу кричат сзади.

Я как-будто очнулся и оторвал ото льда руку, ухватился за упавшую на меня веревку. Тут подбросили нам и доску. Тонувшая выпустила мою руку, повисла на конце доски. Лед подо мной — трах! И я — плюх в воду. Все, думаю, каюк — сил не было ни одной рукой шевельнуть. Как оказался на берегу, не помню. Очнулся в карете скорой помощи — меня трясло, как в лихорадке, зуб на зуб не попадает, тело горит. Так я в первый раз очутился в больнице.

На третий день лечения меня вызвали в кабинет главного врача. Думал, на осмотр. Захожу. За столом сидит доктор — лицо полное, круглое, с густой черной бородой. Напротив него в белом халате бледная синеглазая девушка. Думал, это сестра милосердия, а как посмотрела она на меня, я ее сразу узнал. Улыбнулась мне, говорит доктору:

— Вот он меня спас.

Доктор усадил меня на диван, заботливо так спросил:

— Как себя чувствуете?

— Хорошо, — ответил я, а сам смущаюсь — девушка с меня глаз не сводит.

— Вы раньше были знакомы? — обратился ко мне доктор.

Девушка не дала мне и рта раскрыть, стала объяснять:

— Нет, нет, первый раз друг друга мы на льду увидели. Откуда он взялся — не знаю, но, слава богу, вовремя подоспел.

Я сидел, боясь пошевелиться. Ну и девушка, скажу вам, к такой красавице на улице подойти ни в жизнь духу не хватило бы.

Индрил неожиданно умолкает, скорбно опускает глаза. Я догадываюсь, какие чувства владеют им сейчас. Мы, глядя на него, невольно воскрешаем близкие милые образы. Байгужа иронически восклицает:

— Меджнун вспоминает свою Лейлю!

Мы смеемся. Индрил спрашивает:

— А кто они такие — Меджнун и Лейля?

Байгужа кивает на меня. Индрил поворачивается ко мне, и я рассказываю ему эту популярную восточную легенду.

— Но ведь это сказка, а у нас с Дусей все было на самом деле и по-другому. Так что сравнивать ни к чему, — улыбается Индрил и продолжает:

— Так вот, после этого Дуся стала настойчиво приглашать меня в гости. Я отнекивался первое время — неудобно было идти к ней в поношеной одеженке и стоптанных ботинках. Сходить же к ней хотелось — одно удовольст-

вне посидеть рядом с такой девушкой. Как-то разозлился на себя, думаю: будь что будет — и решился. Сказал, что приду в воскресенье. В субботу вечером, во-первых, аккуратно побрился. Эта проклятая щетина появилась на моём лице очень рано. Затем почистил и погладил костюм, подбил каблуки, надраил ботинки. Ночью спать не мог — все о ней думал. А утром франтом отправился к ней. Жила она с матерью в каморке на Васильевском острове. Встретили они меня лучше некуда. Ну и с тех пор пошло. Бывало идешь к ним, заранее придумываешь, что и как сказать. Но как увижу Дусю — все приготовленные слова вылетают из головы. Она такая девушка была, что всегда находила о чем поговорить.

Все свободное время я стал проводить у Дуси. На курсы готовиться бросил — кавалером стал. Я ей тоже нравился. Решили, что как только здоровье ее поправится, мы поженимся. Она хотела стать модисткой, а я электротехником. Но ... — Индрил вяло махнул кистью руки, — она все время кашляла — простудилась тогда в полынье. Все старалась скрыть от меня свою болезнь, но кашель разве скроешь? Как она страдала, бедняжка. Как я за нее переживал. О ее болезни днем и ночью думал. После работы, как был, сразу к ней — сидел у ее постели или бегал по аптекам. Я стал своим у них. А в июле Дуся умерла. Я не знал, куда деваться. Жизнь, братцы, не мила стала. Тут война началась и я записался в добровольцы. На заводе смеялись надо мной: «Вот дурень нашелся. Это тебе не игра в солдатики. Не спеши, дойдет еще очередь и до тебя».

Индрил умолкает и с сосредоточенным видом начинает скручивать цыгарку.

Перед выступлением на фронт, когда на короткое время предоставлен сам себе, чего только не передумаешь, не перечувствуешь. Вспоминаются картины детства, юности, родные места. Все это в далеком милом прошлом. А что ждет впереди? Вспышки огня, газ, свистящие пули, осколки, окопная грязь, бессонные ночи в карауле на пронизывающем ветру, а главное смерть солдат — и твоих товарищей, и, кто знает,... Не хочется ни думать, ни верить, что прольется твоя кровь...

Мы сегодня собираемся побывать у Альфреды в последний раз. Буранбай давно уже там — он отнес продукты и помогает хозяйке приготовить стол. Остальные остались в казарме. Убиваем время пустыми разговорами. Недавно в нашу компанию мы приняли унтер-офицера Иртуганова. Родом он из Пензенской губернии. В юности был коробейником и с лотком за спиной исходил много дорог. Работал в Москве дворником, в Баку на нефтяных промыслах. В армии с самого начала войны и теперь на его погонах две унтер-офицерские нашивки, а на груди Георгиевский крест и медаль. Однако, ни чином, ни наградами он не гордится и держит себя, как рядовой солдат. При первом знакомстве Новиков спросил его, за что он получил крест и медаль. Этот вопрос, видно было, пришелся ему не по душе. Иртуганов поморщился, нехотя ответил:

— Было дело, не стоит вспоминать.

На днях его хотели назначить отделенным командиром, но он наотрез отказался:

— Я унтер-офицером стал не по своей воле, не для того, чтобы мне подчинялись. Пусть командует тот, кому офицером охота стать, а я и так воевать умею.

После этого Новиков его и приметил. Иртуганов без акцента, чисто говорит по-русски. Знает даже жаргонные словечки. Мы любим слушать анекдоты, которые он рассказывает нам с невозмутимым видом. Чем-то он похож на Новикова. Так же возмущается несправедливостью, прост, не мелочен. Говорит он, обдумывая каждое слово, и сказанное им всегда умно и уместно. В нем чувствуется большая воля. Никто, даже офицеры, никогда в его просьбах не отказывают — умеет он к каждому человеку найти особый подход.

Но мы Иртуганова еще не изучили до конца. Не знаем, как он относится к войне, к командованию, чего хочет.

Глава третья

Холода погостили в Дунаевце недолго. Ясные морозные дни сменились ненастными. Низкие грязные облака, ворочаясь, сыпят мелким дождем. Прохладный ветер с юго-запада с изморосью доводит до озноба за несколько минут.

Улицы городка в топких лужах, шагать по ним трудно. Того и гляди растянешься в жидкой грязи. Навстречу попадаются лишь редкие прохожие, и те спешат домой от непогоды. Лишь солдаты, расквартированные в суконных фабриках, выбираются на свежий воздух, зябко жмутся к стенам с подветренной сторо-

ны, покуривая и ведя невеселые разговоры об отправке на фронт, как-то оживляют безлюдье.

У дома Альфреды в чистой луже мы вымыли сапоги, почистили шинели. Завидев нас, Буранбай выскочил на крыльцо. Хозяйка, приветливо улыбаясь и поспешно вытирая руки фартуком, встретила нас у порога. Индрил низко склонился перед ней, долго жал ей руку и, кажется, не прочь был даже поцеловать ее — так близко оказались их лица. Иртуганов, знавший Альфреду лишь по нашим разговорам, окинул ее горящим взглядом, но она сделала вид, что ничего не заметила. Неспроста, видимо, он сильно сжал ей руку, что она даже вскрикнула.

— Ой, так я без пальцев останусь, не смогу подавать на стол. — И чтобы рассеять общее минутное замешательство, торопливо проговорила:

— Пальчики оближите, что мы приготовили с Буранбаем. Прошу за стол.

Увидев в руках Байгужи кисет, Альфреда попросила:

— Было бы лучше, если бы в доме не курили. Боюсь, от табачного дыма пропадет аромат блюд.

Иртуганов, уже успевший скрутить цыгаргу, и Байгужа недоумевающе взглянули на Индрила. Тот кивнул Альфреде, сказал:

— В самом деле, братцы, изба маленькая, а нас много. Курить будем на крыльце.

— Эх, если б хватить чего-нибудь перед этим! — сокрушенно проговорил Новиков, оглядев стол, потирая руки. Он скосил глаза на нашего удачливого добытчика Байгужу.

Но тот, как бы не замечая Новикова, стал помогать Буранбаю освобождать на столе место для большой кастрюли с борщом, которую принесла Альфреда. Сдерживая слюну, я сел за стол.

— Давненько мы не пробовали такого хлебова! — восхитился Новиков. — От одного запаха умереть можно!

— Ешьте осторожнее, не капайте на скатерть, — предупредил Индрил. — А то, наверно, у всех руки дрожат.

— Ничего, выстирается, — успокаивающе-весело сказала Альфреда.

— Н-у, это прямо офицерский обед, молодчина наша хозяюшка, — развел руками Новиков, когда Альфреда на третье подала нам компот из абрикосов со сдобными булочками. От такой похвалы она вся расцвела.

— Я старалась — не знаю как получилось, вам судить. Сейчас с продуктами трудно, но мой хозяин для своей кондитерской откуда-то все достает. Я уговорила его дать мне кое-что. «Ладно, — говорит, — бери, стоимость удержу из жалованья». Еще и варенье будет к чаю.

— Ваша улыбка для нас дороже всех блюд, — пошутил Индрил. А Альфреда еще больше зарделась и смущенно опустила глаза.

Когда мы вышли на крыльцо покурить, к нам подошел высокого роста слепец с поводырем-подростком. Отощавшие, озябшие, в драных одеженках они выглядели очень жалко.

— Доброго вам здоровьица, — слепец снял треух и поклонился нам. — Разрешите поиграть у вас на гармонии.

— Заходите, заходите, пожалуйста, — Индрил взял странников под локти и повел их в дом.

Когда мы зашли в дом, слепец с поводырем сидели у печи. Обогревшись, они повеселели. Буранбай знаками попросил Альфреду накормить их. Та вскочила с места и, поставив на стол миски с борщем и тарелки с жареной картошкой, усадила сначала слепца, а потом, сняв с поводыря драную шапку, с материнской теплотой погладила его по голове, подвела к столу. Перекрестившись, они молча принялись за еду.

Поев, слепец вылез из-за стола, поклонился, поблагодарил:

— Спасибо вам большое, добрые люди, за знатное угощенье. С утра во рту маковой росинки не было. Позвольте мне теперь сыграть.

— Ну, с музыкой будет совсем хорошо, — задумчиво протянула Альфреда и, подойдя к стоявшему возле окна Индрилу, положила руку на его плечо.

Я усадил слепца на свой стул, подал ему завернутую в дырявый платок гармонь. Он уверенно взял ее в руки, одел ремень. Не успел он заиграть, как Новиков обратился к нему:

— Как же ты, дядя, без глаз остался?

Слепец провел рукой по рыжей щетине на подбородке, вскинул покрытые бельмами глаза, распевно заговорил:

— Кто знает, может быть, и вы потеряете на войне свои глаза — мальчонка сказал мне, что вы солдаты. Не приведи господь вам такого. А глаза свои я оставил в Маньчжурии, на Дальнем Востоке. Мы шли на японцев, дума-

ли: закидаем их шапками, да не то вышло. Нешто жалко генералам нашего брата. Вернулись домой кто без рук, кто без ног, кто без глаз, а многие и головы сложили на полях той же Маньчжурии. Такая наша доля. Уж лучше бы гнить давно, чем вот так мыкаться по селам. И от теперешней войны останется тысячи таких же, как я слепцов, тысячи калек. Эх, братцы, горькая наша судьбинушка! — воскликнул он и, как бы избегая других вопросов, поспешно пробежал пальцами по ладам и, откашлявшись, заиграл печальный мотив, хрипловато запел:

Жили два брата, оба рабочие,
Были нуждою забиты,
Не разгибались с утра и до ночи,
Но Счастием были забыты.

Младшего брата к Мукдену угнали —
Японцами был он убит.
Старшего брата с завода прогнали,
Казаками был он избит...

Песня тронула всех — мы сразу помрачнели, насупились. Альфреда, прикрыв глаза рукой, беззвучно плакала.

— На войне нашего брата убивают, калечат, без войны бьют, всю жизнь ищи пятый угол, — с ненавистью проговорил Новиков. Он хотел еще что-то сказать, но махнул рукой, дескать, это и всем давно известно.

Слепец заиграл другую мелодию — «Забайкалье». Мощные, волнующие аккорды, не вмещаясь в маленьком домишке, стремились вырваться на простор. Через закрытые окна их слышали прохожие, и поворачивали голову в нашу сторону. Некоторые даже подходили к самому дому.

Слепец играет, откинув голову назад и немного влево, неподвижно уставившись вскинутыми невидящими глазами в одну точку. Он как бы слился со своей гармонью, изливает горькую печаль. Пальцы легко и уверенно скользят по грифу и кажется извлекают не звуки, а хватающие за сердце жалобы сотен людей, безысходное горе, проклятья несчастных жен и детей, потерявших кормильцев. Когда его пальцы перебегают к аккордам низкого тона, начинают мерещиться движущиеся по широким улицам толпы исстрадавшихся людей, полных жгучей злобы на угнетателей и звуки кажутся их проклятиями, мощным протестом, сотрясающим землю.

Слепец выпрямился и, спустив с плеча ремень, начал застегивать гармонику. Мы продолжали сидеть в оцепенении. Альфреда скорбно замерла, наверно, вспомнила погибшего на фронте мужа.

Тягостную тишину нарушил Байгужа:

— Ну и здорово же играет. И как он успевает так пальцами перебирать. Ведь это же уметь надо!

Иртуганов слушал гармониста, лежа на шинели, разостланной на полу. Лицо его застыло, стало как маска. Он и теперь продолжал лежать с таким же видом. А Индрил и тут не мог оставаться безучастным. Он, подойдя к слепцу, склонился над ним, одобрительно похлопал его по спине:

— Ты не пальцами играешь, а душой. Большой у тебя талант. И до этого доводилось мне слышать хороших гармонистов, но ты лучше их играешь. Тебе бы надо поехать во Львов или в Киев.

Слепец улыбнулся похвале и, с нежностью прижимая гармошку к груди, горько сказал:

— Было время — и здесь ценили. Ни одна свадьба без меня не обходилась. Даже издалека за мной приезжали. Но как началась эта война и свадеб не стало, и праздников, и жить стало нечем. Вот и приходится добывать себе пропитание, как придется. Иной раз так и говорят: не трави душу, возьми вот, не обессудь, и дают кусок хлеба или сухарь. Говоришь: надо поехать во Львов или в Киев. А где мне денег на дорогу взять?

— Да, верно, — согласился с ним Индрил, тяжело вздохнув. Новиков подошел к нему, подмигнул:

— Ты, Индрил, хоть на гармошке играть научись, — все же ремесло как-никак, если без глаз останешься. Хорошего от войны не жди.

— А что, неплохое это ремесло, — отозвался Индрил со смехом. — Я музыку люблю, только больше веселую.

— Музыка — ремесло ненадежное, — оживился, наконец, Иртуганов. — А в войну что делать? — похоронные марши играть!

— Вот ты у нас любишь говорить, что потом будет. Так растолкуй нам: если наш царь победит, построит он дворцы для покалеченных на войне? Если придется голову сложить, будут ли наши семьи получать пособие? — Буранбай, приоткрыв рот, ждет ответа.

Индрил громко рассмеялся.

— Ишь чего захотел! Пособий, пенсий вдовам, дворцы для миллионов инвалидов! Не то, что дворцы построят, а даже к тем, что есть, не подпустят на пушечный выстрел. Знаешь о девятом января в Питере?

— Слышал.

— То-то же.

Иртуганов повернул голову в сторону Индрила, пристально посмотрел на него.

— Верно, мы им нужны только как работники и солдаты, — неожиданно заявил он и, встав, накинул на плечи шинель, полез за кисетом.

Слепец с поводырем собрались уходить. Индрил вытащил из вещевого мешка летнюю гимнастерку, протянул им.

— Денег нет у нас, возьмите хоть это.

После ухода странников мы, как по команде, принялись свертывать цигарки и вышли во двор. Из соседнего дома глухо доносилась щемящая мелодия «Забайкалья».

Наутро мы, проклиная раскисшие дороги, походным строем отправились на фронт.

Глава четвертая

Нами пополнили 415-й Львовский полк. Понесший в последних жестоких боях тяжелые потери, он выведен в тыл на отдых и пополнение. В него влился прибывший из Дунаевца весь маршевый батальон, имевший в своем составе полторы тысячи штыков. После распределения по ротам, начались ежедневные строевые и тактические занятия. Индрил, Новиков и я попросились в команду связи — как-никак это дело нам знакомо. Иртуганова хотели назначить взводным, но он согласился принять лишь отделение.

Фронт близок, но сильных боев пока нет. Изредка доносится уханье орудий. С наступлением вечера слышно тарахтенье пулеметов.

Мы втроем занимаемся телефонной связью: разматываем катушки, протягиваем линии, устанавливаем аппараты, передаем и принимаем телефонограммы. Нас это вполне устраивает — можно держаться подальше от офицеров, отдыхать, когда вздумается. Меня и Новикова обучает Индрил — он на зубок знает устройство телефона. Индрил разбирает аппарат до последнего винтика и толково объясняет назначение каждой детали. А мы, покуривая, растянувшись на земле, внимательно его слушаем, а потом сами пробуем собрать аппарат. На это дело уходит два дня. Мы не спешим усваивать все премудрости связи — успеется. Все равно войне конца не видно. Напротив, все говорят о подготовке к большому наступлению. Еще в Кременчуге мы договорились агитировать солдат за прекращение войны. Много мы говорили об этом и перед выступлением на фронт. Но здесь путного ничего предпринять пока не смогли. Хоть бы один большевик среди солдат объявился — с такими людьми без оглядки на любое дело можно пойти.

Иртуганова мы еще не раскусили. Он злится на войну, на тех, кто ее затеял, но почему-то до конца не раскрывается. Его унтер-офицерские нашивки и награды все еще нас настораживают.

Поводов заговорить с солдатами о бессмысленности войны много.

— Оно, конечно, нашего интересу в войне нету. Мы по дому соскучились и нас там заждались, молятся, небось, за наши души Николаю Спасителю. Да германца не одолеешь...

Ну что им скажешь, когда они заранее сми-

рились со всем. Ужасы войны убили в них всякую волю. Они безропотно отдались течению, которое несет их в водоворот неведомых им событий.

Мы с Новиковым, лежа возле умолкшего телефонного аппарата, часто толкуем о наших бесполезных попытках настроить солдат к недовольству войной.

— Удивляюсь русскому терпению! Ждут, когда их пришлепнут, как глухарей. — Новиков досадливо бьет кулаком по коленке. — Но ничего, еще поймут. Вот тогда уж берегитесь господа офицеры и буржуи!

Скоро нас перебросят на передовые линии, а там будет не до агитации. Новиков не раз заявлял:

— Организовывать забастовки — дело нетрудное, а здесь каждый заботится только о том, чтобы самому выбраться живым из этого пекла.

Индрил не откликается — сколько можно повторять одно и то же, а погружается в тяжелое раздумье. Судя по его виду, ждешь, что он вот-вот опять заговорит о своей Дусе. А Новиков давно перестал вспоминать об оставшейся под Варшавой Жене. Если случается заговорить о женщинах, он отмахивается:

— Мало ли что было. Все это в прошлом. Тем паче и Варшава теперь уже у немцев.

Но я... Как-то не было подходящего случая отдаться воспоминаниям о польской татарке Марьям Карашайской. Она подарила мне блокнот с записью: «Надеюсь, что мы еще встретимся. Я буду всегда Вас помнить. Чаще пишите мне письма». В блокноте указан ее питерский адрес. Но я ей еще ни одного

письма не написал. Не нашел пока слов. И вряд ли найдутся, чтобы описать мои чувства к ней. В моем воображении она давно лишилась плоти — от нее остался лишь прекрасный образ по имени Марьям. И когда терпишь мытарства на фронте, тянешь тяжелую лямку солдатских будней и единственный отдых при этом — сон в сырых и темных бараках, она представляется еще более красивой и начинает казаться, что у этого образа нет реальной основы, а создан он лишь моим представлением об идеальной девушке. Даже одни мысли о ней приносят в трудные минуты какое-то облегчение и на некоторое время забываются свалившиеся на тебя тяготы. Только глухие звуки рвущихся где-то неподалеку снарядов возвращают к действительности, наполняя сердце холодком. Витающее перед глазами зыбкое лицо Марьям заслоняется клубами дыма и взору уже представляются растянувшиеся на сотни верст окопы и тысячи солдат, обреченных на смерть. Не сегодня-завтра и мы должны вновь оказаться в окопах. Когда наступит конец этим мытарствам, неизвестно.

Глава пятая

В октябре установилась ясная погода и потеплело. В ненастье противник в наступление не шел, и теперь мы ожидаем атак каждый день.

Я назначен телефонистом в четвертую роту, Новиков — в восьмую, а Индрил — в штаб полка. Двенадцатая рота, в которой Буранбай

и Байгужа, рядом с четвертой, и я вижу их почти каждый день. Иртуганов в первой роте. Туда добраться трудно. Лишь Индрилу удается поговорить с ним по телефону.

Перед ожидаемым наступлением противника ночью укрепляются позиции. Нашлась работа и нам — телефонистам. Мы тянем провода по окопам, закапываем их в землю.

Кормят нас плохо. На обед варят рыбу — только и думаешь, как бы не подавиться косточками. До недавнего времени по утрам выдавали по кусочку сливочного масла, а теперь вместо него какой-то пересохший, вонючий сыр. Днем на передовых линиях приготовление чая может дорого обойтись. Если немцы заметят дымок, тотчас начинают обстреливать. Поэтому весь день приходится пробавляться лишь ржаным хлебом и сырой водой. В довершение всех невзгод и махорку стали выдавать от случая к случаю. Поэтому много солдат бродят по окопам в поисках курящего. Завидев его, громко заявляют «сорок» или «двадцать». Если заявляется «сорок», курящий обязан уступить половину цыгарки, если «двадцать» — четверть. Если это самодельная сигарета и она укорачивается настолько, что ее невозможно держать пальцами, окурок зажимают переломленной былинкой. Удовлетворять заявки обязан каждый солдат по установившемуся на фронте незыблемому правилу. Тот, кто уступил сегодня половину сигареты или цыгарки, знает, что, может быть, завтра он сам обратится к другим. Получается, что каждую цыгарку курят тричетыре солдата и, сойдясь на дымок, заводят разговоры о своей незавидной участи.

— И кормить-то стали чем? — тухлой рыбой.

— Хоть бы курева давали вдосталь. Видно, у правительства и на табак теперь средств не хватает.

— Коли будет так продолжаться, война сама собой кончится. Ну, скажи на милость, разве голодный станет воевать?!

Многие солдаты занемогли от плохой пищи. Ежедневно из каждой роты отправляют в околоток по десять-пятнадцать человек. Там от желудка одно лекарство — касторка. Больных врач даже не спрашивает и не осматривает, а дает касторки и сразу отправляет обратно. Возвратившись, солдаты валяются в блиндажах, теряя последние силы. Через день их снова отправляют в околоток и опять дают касторку...

Здоровые солдаты страшились оказаться в таком положении. И они стали дезертировать или ранить себя. Но саморанение не всегда сходит удачно, потому что при выстреле в упор кожа вокруг раны покрывается ожогами и желтизной. Врачи без труда разоблачают таких раненых и тогда по приговору военно-полевого суда им грозит расстрел или дисциплинарный батальон. Но в последнее время солдаты-«самострелы» нашли выход. На место ранения они накладывают мокрую тряпку и при выстреле на теле ожогов не получается. Ничего не подозревая, врачи отправляют их в тыловые лазареты.

Прежде «самострелы» чаще всего ранили пальцы рук, а теперь стреляют и в мякоть ног. Даже затишья на передовой не охлаждают

пыла солдат, предпочитающих окопам лазарет.

Врачи сначала недоумевали: как так, перестрелок нет, а легкораненых хоть отбавляй. А когда поняли в чем дело, перестали отправлять их в тыл, и лечили или в полковых околотках или в дивизионных лазаретах. Едва рана затягивалась, «самострелов» сразу же возвращали в части. В отместку они грозили врачам и даже убили одного ручной гранатой.

По утрам, когда еще спокойно, Индрил звонит мне по телефону. Вначале сообщает все новости штаба полка, передает приветы от друзей, которых видел, а потом заговариваем о кормежке, последнем ужине в Дунаевце.

— И у нас в штабе не лучше — мяса давно уже даже не нюхали. — И восклицает: — Эх, оказаться бы сейчас у Альфреды. Как вспомню ее стол, слюнки текут. Между прочим, я ей сегодня письмо отправил. Передал приветы и от вас. Славная она женщина...

Когда Индрил напоминает про стол Альфреды, чудится аппетитный запах жареной картошки, ароматного компота.

— Индрил, брось, пожалуйста, о той еде говорить — желудок возмущается, — кричу я в трубку.

— И у меня тоже, — слышится в ответ. — Давно мы его ничем приличным не баловали. Знаешь, Булат, — говорит он после минутного молчания, — мне ведь Альфреда очень нравится. Если уцелею, после войны, ей богу, женюсь на ней.

В его голосе чувствуется искренность и нежность. Да, славный этот Индрил, и Альфреда добрая женщина. Хорошая будет пара.

— Что ты молчишь? — кричит Индрил.

— Все это несбыточные мечты! — поддразниваю я его.

Видимо, он задет за живое и, продув по привычке трубку, когда нужно сообщить что-то важное, убежденно заявляет:

— Нет, Булат, это не только мечты. Война долго тянуться не может. Теперь не только солдаты, но и офицеры говорят об этом. Если не распотрсшит нас какой-нибудь шальной снаряд, вернемся живыми, не калеками...

Последние слова Индрил выговаривает уже упавшим голосом и, будто поперхнувшись, откашливается. Я ясно представляю, как в этот момент на его лице проступают морщины и тухнет взор.

Над окопами пролетают немецкие аэропланы, направляясь в наш тыл, со злобным урчаньем проносятся тяжелые снаряды, несущие смерть и увечья подходящим к передовым позициям резервам и обозникам. Снаряды эти разрываются далеко позади нас, взметая целые тучи земли. А на передовой слышатся лишь редкие винтовочные выстрелы. Бросаешь взгляд на синеющий вдали лес, куда не долетают вражеские снаряды и пули, и завидуешь тем, кто в глубоком тылу.

Вид у солдат жалкий: лица землисто-серые, заросли щетиной, губы посиневшие, глаза ввалились. Все нахохлились, как куры. Вернувшиеся из ночного караула или укреплявшие передовые позиции спят, привалившись к стенке окопа, втянув голову в поднятые воротники.

Никто в окопах не уверен в завтрашнем дне, каждый живет минутой. Ведь любой



разорвавшийся снаряд, любая вражеская пуля несут смерть, а предугадать их полет невозможно, и потому живешь в постоянном страхе. Всякий миг снаряд может разорваться рядом. А пулю солдаты не зря называют дурой — только высунься из окопа и жди ее каждую секунду, а случается солдат, оставшихся незадетыми во многих боях, шальная пуля находит и за второй линией укреплений. От такой жизни легко сойти с ума. Но окопный быт давно притупил все чувства, живые мысли. Каждый лишь настороженно ожидает команды идти в наступление, надеясь в лучшем случае на легкое ранение.

В долгие и темные осенние ночи призрак смерти неотступно следует за тобой. Ослепленные светом прожекторов, глаза блуждают, как бы разглядывая несущую смерть пулю. Сноп огня разрывающейся вдали шрапнели кажется очень близким и будто опаляет твою грудь. От ежеминутного ожидания конца сердце болезненно сжимается и учащенно бьется. Возникающие иногда в ночное время усиленные перестрелки намного страшнее тех, что бывают днем. Ночью, не видя перед собой ничего, страшишься всякой тени, всякого шороха и все время ожидаешь, что вот-вот перед тобой появятся вражеские солдаты с винтовками наперевес. Охватившая тревога обостряет внимание до предела: замечаешь всякое движение, ловишь всякое произнесенное слово, каждый звук. Все вокруг кажется подозрительно-враждебным.

Была одна из таких зловещих ночей. Из восьмой роты мне позвонил Новиков.

— Печальная весть, — сообщил он упавшим голосом. — Ты пока...

— Ну, говори, что случилось?

— Буранбай тяжело ранен. Говорят, при смерти. Если сумеешь, проведай его. И я постараюсь сходить...

— Ладно, — оборвал я разговор и стал будить спавшего возле меня солдата.

— Макаров, встань-ка.

Тот спал очень крепко и, проснувшись от моего оклика, спросонок не разобрав в чем дело, испуганно вскочил и сразу бросился к выходу из блиндажа. Я успел схватить его за рукав, но он, стараясь вырваться, встревоженно спрашивал:

— Что в атаку пошли? А телефон наш работает?

— Все в порядке, это я тебя разбудил. У меня дело до тебя есть. Подежурь за меня — я к раненому другу схожу — наверно не выживет.

Макаров еле пришел в себя и, взглянув на меня осмысленно и спокойно, повернулся и сел около телефонного аппарата.

— Иди, — сказал он, и я вышел из блиндажа.

Ночь темная — и на душе тревожно. То и дело с небольшими перерывами стрекочут, захлебываясь, пулеметы. На нашем правом фланге, не особенно далеко, рвутся снаряды. Одна за другой взвиваются ракеты, а по земле шарят лучи наших и неприятельских прожекторов.

Перебежками я добрался до окоп двенадцатой роты. Неподалеку разорвался легкий

снаряд и его осколки со свистом пронеслись над головой. Я невольно присел. Когда выпрямился вдруг услышал голос Байгужи:

— Я знал, что ты придешь. — Он подскочил ко мне и крепко обнял. — Ох и соскучился я по тебе. Слышал о Буранбае?

— Да. Сергей позвонил.

Мы зашли с ним в блиндаж. Буранбай лежал на шинели и тяжело стонал, держа руки на животе. Увидев мой вопрошающий взгляд, он, подавив на минуту стоны, тяжело вздохнул, еле слышно проговорил:

— Тяжко мне, все нутро горит... Дайте пить...

Он с трудом глотал воду пышащими от жара губами и, схватившись за живот, выронил флягу, закрыл глаза.

Молчать было тяжело, да и о чем говорить сейчас.

— Ничего, положение твое не особенно опасное, лежи спокойно, — попытался я приободрить Буранбая.

— Эх, да что про это говорить, ведь пуля-то в живот попала, в живот... — безнадежным тоном проговорил он, взглянув на меня с упреком.

Мы с Байгужой переглянулись. Чем утешить друга, когда он сам все понимает. Неужели Буранбай умрет?! Трудно поверить! А может все обойдется?..

Ему и вправду немного полегчало — он отчетливо и спокойней проговорил:

— Спасибо вам, что не забыли. Как пришли, мне легче стало. Если бы еще живым до лазарета добраться, было бы совсем хорошо.

— Мы тебя здесь не оставим, — обрадованно заверил я Буранбая. — Скоро должны придти санитары, мы пойдем с ними.

Буранбай тяжело вздохнул и, закрыв глаза, начал стонать, судорожно обшаривая руками живот.

Не успели мы с Байгужой докурить, как в блиндаж вошли два санитара с носилками.

Буранбай протянул нам руки и мы, осторожно приподняв его, положили на носилки. Он вначале громко застонал, но быстро затих. Подняв носилки, вчетвером мы тронулись в путь. На протяжении двух верст до перевязочного пункта никто не промолвил и слова. Мы остановились на опушке леса, возле землянки. У ее дверей стояли полный фельдшер и сестра милосердия. Фельдшер с наслаждением курил, и, не желая прерывать удовольствия, лишь кивком головы указал сестре на раненого. Сестра оказалась очень расторопной, — живо, без помощи санитаров, распахнула шинель Буранбая, приподняла полу гимнастерки и сняла наложенную на рану повязку. Байгужа всячески старался помочь ей. Буранбай время от времени приподнимал голову и следил за ловкими руками сестры. Очистив края раны от спекшейся крови, она в удивлении расширила глаза, обратилась к фельдшеру. В ее голосе угадывалась тревога:

— Кажется, разрывная пуля. Рана очень большая и опасная.

Фельдшер, продолжая дымить сигаретой, не торопясь подошел к Буранбаю.

— Да... Надо получше перевязать и скорее отправить на операционный пункт, — изрек он равнодушно и отошел.

Санитары помогли сестре раздеть Буранбая и наложить новую повязку.

— Отправим его, когда подъедут санитарные повозки, — сказал она нам.

Оставлять Буранбая в такой неопределенной ситуации не хотелось.

— А когда они будут здесь? — спросил я.

— Повозки только что отъехали. Три версты туда да три обратно — часа через полтора-два вернутся. Лучше бы его отнести. На повозке сильно трясет — бездорожье, — пояснила нам сестра.

— Неужели ничего нельзя сделать? — я умоляюще посмотрел на сестру. — Ведь для него дорога́ каждая минута.

— Мы здесь оказываем раненым только первую помощь. У нас нет ни врачей, ни инструментов, ни условий. Если это ваш хороший товарищ, отнесите его сами, — ответила сестра. — Извините, я должна идти в землянку.

Тем временем исчезли куда-то и фельдшер и санитары.

Начало светать. Повозок не видно и не слышно. Я посмотрел на Байгужу — он меня понял и мрачно кивнул. Мы подняли носилки и понесли к операционному пункту по свежей колее, ведущей к просеке. Шли медленно, осторожно. Через каждые сто саженей останавливались передохнуть. Когда прошли примерно с версту, Буранбай подал нам знак остановиться.

— Подождите... Жгет, спасу нет... Дайте воды... — с большим усилием выговорил он.

Мы опустили носилки на землю. По виду Буранбаю стало хуже: глаза у него помутнели, лицо мертвенно бледное, на посиневших

губах выступила красная пена. Мы влили ему в рот воды, но он не смог сделать даже глотка.

— Пусть передохнет, — сказал Байгужа.

Мы отошли чуть в сторону и присели покурить.

— Знать, не донесем мы его, — прошептал мне на ухо Байгужа. Я думал о том же и молча кивнул. Когда мы подошли к носилкам, Буранбай лежал без движений и еще больше побледнел. Мы растерялись, не зная что делать. Через несколько минут Буранбай умер.

На опушке леса под высокой сосной мы вырыли могилу. Из карманов гимнастерки друга вытащили письма от жены. В одном я запомнил такое место:

«Сын твой Гадыльбай уже стал ходить. Здоровый и живой мальчишка. Хоть и нет тебя, а постоянно лепечет: папа, папа. Глаза у него в точности как твои — черные, красивые. Денно и нощно молим, чтобы скорее окончилась война и ты вернулся к нам живым и непокалеченным. Каждую ночь вижу тебя во сне. Дома все время говорим о тебе. Я уже все глаза проглядела, ожидаючи. Получила письмо, в котором ты пишешь, что твою часть снова отправляют на фронт. С тех пор пропал у нас покой, часто всплакиваем».

Как тут не задуматься о несчастной семье Буранбая. Мне ясно представились его убитая горем жена, маленький сынишка и вся их жизнь без кормильца.

Буранбая, засматриваясь на его фотографию, с нетерпением ждут дома. Его жена рассказывает своему несмышленному сыну об отце, часто повторяет: «Твой папка скоро вернется». Она день и ночь, проливая слезы, мо-

лит о скором и благополучном возвращении Буранбая. Ей все кажется, что он вот-вот приедет. А Буранбай лежит под небольшим холмиком земли и останется здесь навеки. Никто и никогда его больше не увидит. Наверно, перед смертью он тоже думал о жене, о сыне, которого не видел, и может быть, поэтому хотел быстрее попасть на операционный пункт.

С тяжелыми думами мы долго лежали, словно придавленные к земле.

— Он любил перечитывать письма из дому, — проговорил, наконец, Байгужа. — И радовался, и грустил — очень ему хотелось съездить на побывку. Сына-то он не видел, и не увидел. Чуял что ли смерть свою?..

Глава шестая

Позиции нашего правого фланга занимает гусарский полк. Обычно кавалерийские части всегда располагались в тылу и выводились на передовые линии лишь перед наступлением. Гусары оказались в окопах, видимо, неспроста, из-за нехватки пехотных частей.

Меня направили к ним для связи с нашим полком. Теперь я дежурю в штабе полка, у телефонных аппаратов, принимаю или передаю по телефону сводки, которыми обмениваются полки. Они не радуют. Войне конца краю не видно и в любой момент может поступить приказ о наступлении.

Связываясь с Индрилом, — он теперь на центральной станции, я постоянно спрашиваю о друзьях. Он иногда соединяет меня с Нови-

ковым и тот каждый раз начинает разговор одними и теми же словами:

— Здорово, штабная крыса!

Хоть и говорит он это незлобно, но мне выслушивать такое почему-то неприятно. Чтобы избавиться от его шуток, я спешу узнать о Байгуже. Тогда тон Новикова становится серьезным:

— Скучно ему одному теперь. В роте у него больше никого нет близких.

Индрил, слушавший наш разговор, успокаивает:

— Я ему все время посылаю махорки, иногда навещаю. Байгужу нельзя забывать, — ведь мы вместе столько пережили. А Иртуганов сам частенько в штаб является. Он замышляет перейти в бомбометную команду. Надо, говорит, — и этому делу научиться. Ему, кажется, нравится все разрушать.

— Вы еще наговоритесь, — перебивает Индрила Новиков, — дай мне сказать! Пришли в окопы и закисли. Наши надежды — слова, не больше. Буранбай уже погиб, да и нас по одному перещелкают. Кто здесь застрахован от гибели? Хотя до вас, штабных крыс, пули, пожалуй, не скоро долетят.

На этом наш разговор обрывается. В трубке слышен глубокий вздох Индрила. Видать, ему хотелось бы пофилософствовать.

— Если выдастся свободная минута, забеги-ка ко мне, у меня есть для тебя кое-какие новости, — кричит он напоследок.

Индрил однажды дал нам понять, что он знаком с одним революционером и знает, что тот проводит агитацию среди солдат.

Мы каждый день ждем, что он поговорит с нами по душам, откровенно. А пока слышим от него лишь совет: «Разъясняйте солдатам правду о войне и более сознательных организуйте вокруг себя. Сейчас это самое нужное».

С солдатами мы беседуем при всяком удобном случае. Они соглашаются, что война надоела всем: и рядовым, и крестьянам, и рабочим и ждут ее конца. Но дальше пассивного протеста дело не идет. Никто ничего не предлагает, чтобы покончить с войной.

А так хочется событий, что были в Кременчуге. Здесь, в окопах, как-будто и силы для выступлений больше, потому что все имеют в руках оружие. Но чего-то не хватает, чтобы люди захотели разом избавиться от войны, нужен толчок со стороны, какое-то сильное течение, которое захватит всех. Это течение должно разлиться по всему фронту, подчинить себе все мысли людей и их действия. Но откуда оно придет, кто его создаст — не знаем. Мы надеемся, что со дня на день услышим.

Об окончании войны часто говорят в штабе полка и офицеры. Они, собираясь у полковника Бибикова, нередко заводят горячие споры. В таких случаях я, не отходя, сижу у телефонного аппарата, внимательно ко всему прислушиваюсь, стараясь выглядеть безразличным. Полковник Бибиков обычно в эти споры не вмешивается. Он становится словоохотливым и совершенно преображается лишь тогда, когда речь заходит об охоте.

Бибиков не может забыть о своей страсти даже на передовой — он и тут находит возможность поохотиться то на перепелок, то на

тетеревов. Адъютант Бибикова, поручик Толстой, уже привык к его отлучкам и старается не подводить начальника. Если полковника Бибикова спрашивают офицеры из окопов, Толстой говорит, что он ушел в штаб дивизии, а если требуют явиться в штаб дивизии — отвечает, что полковник в окопах. Если же из штаба просят пригласить полковника к аппарату батальона, где он находится, поручик Толстой, после затянувшейся паузы, заявляет, что его в окопах уже нет, и, видимо, он находится на пути в штаб. Завравшись, поручик начинает нервно расхаживать по комнате, ежеминутно подходя к окнам.

— Вот толстопузый дьявол! Срочно требуют оперативные сводки, а его все нет и нет. Я уж и не знаю, как дальше врать. Впрочем и верить мне, кажется, перестают, — возмущается он, не сдерживаясь. И вызвав ординарца, посылает его разыскивать полковника.

Бибиков, вернувшись, спокойно, без спешки приступает к делам.

— Что, из штаба меня спрашивали?

— Да, господин полковник. Я сказал, что вы находитесь на передовых линиях, — поспешно докладывает Толстой и передает подробно, как он лгал. Полковник с невозмутимым видом, не торопясь, снимает с себя охотничье снаряжение и пускается в россказни о своих удачах, непременно приплетая случаи из своего богатого охотничьего опыта. Поручик Толстой, видно, не испытывает при этом никакого удовольствия, скорее напротив, но все же принимает вид внимательного слушателя, иногда восклицая:

— Вы всегда метко бьете!

— Да, редкая удача!

Описав свои приключения, полковник закуривает папиросу и подходит к телефону. Поздоровавшись с вызывавшим его чином, он повторяет слова поручика:

— Да, да, я побывал на передовых линиях и только сейчас вернулся. Особых перемен нет, все в должной готовности. Вам нужна сводка? Сейчас передадим.

Полковник растягивается на кровати, спокойно докуривает папиросу. Затем закуривает еще и начинает читать бумаги. Это занятие ему скоро наскучивает. Он вызывает денщика и указывает на грязные после охоты сапоги:

— Почисти. Потом займись перепелками — зажарь их с картофелем. На ужин не забудь пригласить капитана Кобылина.

Лишь после этого вызывает Толстого, и тот докладывает обо всем, что случилось на передовой и в штабе за время охоты. Поговорив по телефону с командирами батальонов, полковник начинает потягиваться, зевать. Не раздеваясь, валится на кровать, предупредив адъютанта:

— Я пока немного отдохну. Будите лишь в том случае, если будет звонить генерал Кучин.

Полковник Бибиков умеет устраивать свою жизнь так, что, кажется, он чувствует себя находящимся не на фронте, а на даче.

Но в его характере немало и привлекательного. Он не высокомерен, ни перед кем не кичится своим чином. Со всеми себя держит ровно, часто добродушно. Вместо приказа он просит:

— Вот что, голубчик, ты уж сделай (то-то) на благо отечества.

С некоторых пор он стал беседовать со мной. Вначале я в разговоре с ним сильно смущался, но постепенно осмелел и, когда мы оставались одни, наши беседы продолжались долго. Узнав, что я башкир, полковник воскликнул:

— О, твои соплеменники — прирожденные охотники. Знавал я их, в свое время. Давай-ка в следующий раз вместе поохотимся.

Я, конечно, не посмел отказаться.

— Рад приглашению, ваше высокоблагородие! — ответил я. — Только кто же дежурить у телефона будет вместо меня?

— Нашел о чем беспокоиться!

Наша первая совместная охота была удачной. Оказывается, на севере Украины очень много перепелок. По утрам и вечерами они большими стаями кормятся на опушках леса, в высокой болотной траве. Подойти к ним близко в этот момент не трудно. Хороший стрелок одним дуплетом подстрелит больше десятка. Полковник брал лишь убитых, а подранки, спрятавшиеся в густой и высокой траве, оставались. Я же, обшаривая траву, нередко находил трепещущих перепелок. Бибиков был доволен этой охотой — вещмешок мы набили по самую завязку.

На фронте пока затишье. Но выдавшиеся в октябре ясные и теплые дни заставляют думать о наступлении. Правда, неизвестно, кто первым будет атаковать. Поступающие от главного командования телеграммы и телефонограммы в наш штаб подтверждают это. Тем не менее образ жизни полковника Бибикова

остается прежним. Он все время пропадает на охоте, а вернувшись, смакует свои удачные выстрелы и трофеи.

Однажды полковник взял на охоту меня и ординарца. День клонился к вечеру, а по словам местных крестьян, в это время на поляны ближайшего леса слетались тетерева. Проехав верст пять, мы передали коней ординарцу и отправились с полковником искать места кормежки тетеревов. По пути попадались стайки перепелов, но Бибиков решил не тратить на них времени. Вот над нашими головами прошелестело с десяток тетеревов. Мы — за ними. Думали, они спустились неподалеку. В охотничьем азарте, не замечая ничего вокруг, мы зашли далеко вглубь. Тем временем стемнело настолько, что сиди тетерева над нашими головами, мы бы их все равно не заметили.

— Нет, теперь уже ничего не выйдет, надо возвращаться, — досадливо сказал полковник, наконец остановившись. Мы тронулись в обратный путь, к оставленным с ординарцем коням.

В той стороне, где был фронт, небо иногда бороздили длинные языки прожекторов, доносились приглушенные разрывы снарядов.

Темень быстро сгущалась, а в лесу она стала совершенно непроглядной. Я шел за полковником след в след. Вдруг мои руки уперлись в его спину — он стал.

— Нет братец, определенно мы заблудились. Сдается мне — не туда мы идем.

— Коваленко!.. Коваленко!.. — стали мы громко кричать ординарцу, но никто не отзывался.

— Вот дурак, вот дурак, — стал бранить себя немного растерявшийся полковник.

Долго блуждали мы среди деревьев, мечтая напасть хотя бы на маленькую тропку, которая могла бы вывести из чащи. Больше всего хотелось присесть на какой-нибудь пенек, напиться воды и поспать.

— Коваленко не найти уж нам. Давай двигаться к передовой. Наткнемся на какую-нибудь роту, сориентируемся, — сказал полковник хриплым голосом и мы повернули в сторону фронта. Лес становился гуще. По лицу то и дело хлестали ветки, мы не раз падали, спотыкаясь о пни, сушняк, валежник. Шли долго, прислушиваясь. Видимо, уже приблизились к фронту, потому что стали доносится звуки винтовочных выстрелов и стрекотанье пулеметов. Наконец, мы выбрались на открытое место и немного воспрянули духом.

— Надо малость отдохнуть, — сказал полковник остановившись, и протянул мне портсигар. Мы покурили и двинулись дальше. Вскоре под ногами захлюпала вода. Бибиков пнул трухлявое полено:

— Черт те что! Этого еще не хватало. То чаща, то болото — все адовы муки на нас.

Зажигая спички, я стал перепрыгивать с кочки на кочку. Они качались подо мной и оседали. Я решил идти обратно и, поворачиваясь, сорвался с кочки и по пояс увяз в болоте. Выбрался я с большим трудом. Если бы на мне были не французские ботинки, а сапоги, остался бы я босым. Когда я добрался до полковника, мы долго совещались куда идти. Решили продвигаться по краю болота. По всем признакам чувствовалось, что передовые ли-

ний проходили совсем близко. Но все еще ни одна живая душа не попадалась навстречу. Пройдя еще немного, я заметил провод полевого телефона, протянутый по веткам деревьев. Это придало нам силы. Но скоро мы опять очутились в лесу, тьма сгустилась и провод потерялся из виду.

Где-то совсем близко трещали пулеметы и рвались снаряды, но, как я ни напрягал слух, человеческих голосов не слышал.

— Нас, кажется, леший водит, — в сердцах проговорил полковник и в изнеможении прислонился к дереву. Неизвестно, что он собрался предпринять, как вдруг левее нас началась сильная ружейная и пулеметная стрельба и небо озарилось дрожащим светом ракет. Вокруг стали повизгивать шальные пули. Затем открылась сильная артиллерийская канонада. Над нашими головами с урчанием неслись неизвестно чьи снаряды. Лес застонал от разрывов.

Полковник Бибиков совсем растерялся. Его даже затрясло.

— Не в моем ли полку эта стрельба? Вот, наверное, адъютант беспокоится. Погиб я! Ну и проклятый же оказался лес — никак из него не выберешься. Ну, братец, что будем делать, куда пойдем? Вот идиотство — рядом, может быть, мой полк в бой вступил, а ты сиди тут, как пень. Эх, погиб я, погиб! — сокрушался полковник, нервно расхаживая и ломая руки.

— Пойдем туда, где идет эта перепалка, наверняка выйдем к своим, — решил он, наконец, и мы, то и дело спотыкаясь, двинулись на звуки стрельбы. Усталость, голод, озноб — все

вдруг забылось. Пройдя совсем немного, выбрались на открытое место и в предутренней мгле впереди обозначились силуэты передовых укреплений. К тому времени стрельба стала стихать.

— Стой! — услышали мы, наконец, человеческий голос. Перед нами выросли силуэты трех наших солдат с наставленными на нас винтовками.

— Свои, братцы! — радостно выкрикнул полковник и в это время нас осветила близко вспыхнувшая ракета.

— Какой полк тут расположен, далеко ли передовые линии? — обратился полковник к солдатам. Один из них выступил вперед:

— Участок занимает Пензенский полк. Вон те окопы — передовые линии. Мы находимся здесь в карауле.

Один из солдат проводил нас к командиру батальона.

— Какими судьбами очутились вы здесь, господин полковник? — удивился он нашему появлению.

— Занесла нелегкая с этой охотой. С вечера по лесу плутали.

Лишь наутро, часов в десять, мы добрались до штаба гусарского полка. Поручик Толстой встретил нас крайне возбужденным. Он доложил полковнику о поступлении очень срочных и важных по содержанию телеграмм. Полковник Бибиков выслушал его весьма спокойно и вместо того, чтобы сказать что-нибудь адъютанту, позвал денщика и распорядился:

— Принеси мне воды умыться и приготовь завтрак.

Только после этого сказал Толстому:

— Вот я позавтракаю, отдохну немного и тогда мы примемся за дела.

Покушав, он завалился в постель, словно не было ни долгой отлучки, ни стрельбы и канонады, ни поручика Толстого с его срочными телеграммами.

Глава седьмая

В штабе гусарского полка я пробыл недолго. Из команды связи полка меня отправили на передовые линии, в первую роту. Теперь я в одном подразделении с Иртугановым. Рота занимает очень плохой и опасный участок. Окопов тут нет, потому что линия обороны проходит по заболоченному лесу, и укрытия устроены лишь из мешков с песком. Блиндажей, в которых можно спасаться от снарядов, здесь и в помине нет. Что за невезение эта позиция — чуть копнешь землю, как в ямке сразу же появляется вода. Окопы вырыты лишь на взгорках.

Днем наши и немецкие солдаты ходят в своем расположении, не таясь, приветствуют друг друга, переговариваются, а когда поблизости не бывает офицеров, даже выбираются за укрепления и, сойдясь на нейтральной полосе, открывают торг. Наши солдаты снабжают немцев хлебом и сахаром, а те дают в обмен вино и сигареты. Зачинщик таких дел почти всегда Иртуганов. Каждый раз с собой он берет солдата Кригер-Соколовского, говорящего по-немецки. Для вылазки улучают такие моменты, когда офицеры завтракают или

спят. Иртуганов наказывает Кригер-Соколовскому:

— Скажи немцам, пусть они не стреляют в нас, тогда и мы по ним стрелять не будем. Мы войны не хотим, а ждем когда она кончится. Пусть и они делают так же.

Эти встречи происходят ранним утром. На восходе солнца почти всегда наступает затишье.

— Гутен морген! — кричат нам немцы.

— Доброе утро! — отвечают наши солдаты.

После этого и у нас и у них начинается оживление. Наши показывают немцам краюхи хлеба, а те в свою очередь поднимают над укреплениями фляги. Тогда Иртуганов с группой солдат выбирается за укрепления и, пройдя линию проволочных заграждений, пускает впереди себя Кригер-Соколовского. Тот кричит немцам, чтобы они выходили. Немцы тоже взбираются на свои укрепления и некоторые из них направляются навстречу нашим солдатам.

Иногда дело доходит до того, что наши подходят вплотную к укреплениям немцев, а те к нашим. Самые смелые пробираются даже за линию проволочных заграждений и тогда солдаты-противники начинают обниматься, горячо пожимать руки и приглашать друг друга в гости.

Не верится, что прошедшей ночью они посылали друг в друга смертоносные пули. А теперь становятся как будто родными. Каждый жестами и мимикой старается показать накопившуюся в сердце ненависть к войне. Один русский солдат-бородач, весь изгибаясь,

желая более выразительно передать свои мысли и чувства, говорит немецкому солдату, отрицательно качая головой:

— Нам война не нужна. Война — нет, нихт.

Затем он тычет себя в грудь и показывает шесть пальцев, — значит, столько у него детей. Немец, поняв его, показывает три пальца. Тогда бородач, махнув рукой назад, дает понять, что хочет домой. Немец делает то же самое. Продолжая эту бессловесную, но понятную обоим беседу, бородач, показывая на свои плечи, хочет сказать, что война нужна только офицерам, а его собеседник кивнув и сдвинув фуражку набекрень, выставляет живот, давая понять, что война нужна только буржуям.

В это время не выдерживают и другие, вылезают из-за укреплений и внимательно прислушиваются и присматриваются к братающимся. Некоторые, поднявшись во весь рост, кричат:

— Не будем больше воевать, давайте разойдемся по домам!

В ответ со стороны немецких окопов доносится:

— Руски зольдат карош. Война не нада!

Если офицеры видят такое, они начинают бегать вдоль укреплений, озлобленно кричат:

— Прекратить это безобразие! Сию же минуту марш в окопы! Сейчас же дам команду открыть огонь.

Солдаты нехотя плетутся назад, все громко, недовольно ворчат. Радуются лишь те, кто выменял вина.



Кригер-Соколовского после братания всегда окружает множество солдат. Он передает им свой разговор с немцами:

— Они тоже не хотят гнить в окопах. Война им давно опротивела. Рассказывают, что двух солдат, призывавших покончить с войной, по приговору военно-полевого суда расстреляли. Немцы жалуются на плохую кормежку. На обед им, оказывается, варят только похлебку из фасоли. Говорят, что только тем и тешат их, что выдают вина и курева вдосталь.

Все слушают Кригер-Соколовского с огромным вниманием и задают ему много вопросов. Один из солдат сорвал с себя фуражку и с силой бросил ее на землю.

— Эх, да что толковать, нашему брату везде худо. Скоро еще не тем станут кормить.

Сидящий рядом с Кригером-Соколовским Иртуганов, ни на кого не глядя, начинает высказывать наболевшее:

— Какой у нас расчет в этой войне. Войны ни русские, ни немецкие солдаты не хотят. Для нас от нее выгоды ни на грош. Война нужна царям, чтобы расширить их империи, генералам — чтобы заслужить чины и славу, буржуям, чтобы нажиться. А какая польза от войны фабричным и крестьянам? Никакой. Только пулю в лоб или осколок в бок можно получить. А сколько из нас возвращаются домой калеками? Кто о них позаботится?! Кто накормит и оденет детей погибших. Зачем нам воевать?

От слов Иртуганова солдаты мрачнеют и сокрушенно вздыхают. Все подавленно молчат.

— Если задуматься, так ведь на самом деле дураки мы, скоты безмозглые и больше ничего! — с горечью восклицает кто-то.

— Все это верно, — говорит пожилой солдат, по виду бывший рабочий. — А делать-то что?

— Надо всем бросить винтовки!

— И разъехаться по домам!

— Нужно договориться с немецкими солдатами и больше не стрелять друг в друга.

Все это легко сказать, но как приступить к делу? Мнения солдат начинают расходиться.

Некоторые говорят:

— Ну хорошо, скажем, мы бросили фронт, и разъехались по домам. А если наши земли заберет немецкий царь, вы думаете, он по головке нас будет гладить?

— Ведь и немецкие солдаты не хотят войны. Они тоже против своего кайзера. Мы всегда сможем с ними столковаться.

Спор продолжается до самого вечера, но ни к чему определенному спорщики не приходят и разбредаются.

Вечером разговоры и всякие передвижения прекращаются и людей охватывает боевая настороженность. Наступает зловещая ночь и каждый занимает свой пост...

Я поселился у Иртуганова и нам обоим легче коротать однообразие окопных будней. За последнее время к нам очень привязался Кригер-Соколовский. Он попал на военную службу в 1915 году еще юнцом, но теперь стал вполне взрослым парнем. У него синие глаза и светлые волосы. Отец его поляк, мать — немка. Они поженились в Лодзи, потом переехали в Одессу. Кригер-Соколовский учился в гим-

назии, но после смерти отца вынужден был пойти работать кассиром в одесский порт. Позже плавал на торговом судне и побывал во многих портах Черного и Средиземного морей. При призыве на военную службу просился во флот, но его и слушать не захотели.

Человек он уравновешенный, малоразговорчивый, спокойно тянет солдатскую лямку.

В роте уважают его и за характер, и за знание немецкого языка. Принеся вскипяченный с большим трудом и риском котелок чаю, солдаты непременно наливают ему полную кружку.

И взводный командир в тяжелые и ответственные наряды его не назначает, а ставит лишь у бойницы.

Я Кригер-Соколовского обучаю телефонному делу. Он занимается с большим рвением, надеется стать заправским телефонистом и как-нибудь ухитриться уйти с передовой. Я уже говорил об этом Индрилу и тот обещал помочь. Возможно, поэтому он старается еще больше сблизиться с нами и всегда готов услужить Иртуганову. Иртуганова уважают еще и за то, что он, имея возможность быть в сравнительно лучшем положении, несет все тяготы военных будней одинаково с рядовыми солдатами и в то же время смело высказывает потаенные мысли, занимающие голову каждого из них.

И в нашей роте сейчас двоевластие.

За последние дни событиями в нашей роте заинтересовались Новиков и Индрил. Они ежедневно выспрашивают у меня по телефону о братаниях. Индрил просит передать ему все с мельчайшими подробностями.

Выслушивая меня, он воодушевляется и восклицает:

— Эх, на всем фронте надо бы так делать!

Братания с немцами происходят каждый день. Офицеры всполошились, стращают солдат всевозможными карами. Дело дошло даже до того, что в окопах нашей роты побывали командир дивизии генерал Кучин с полковником Харченко и лично увещевали солдат не допускать братаний. Но и это не подействовало.

Однажды утром, по обыкновению, солдаты с обеих сторон встретились на нейтральной полосе и начали оживленные беседы и обмены. И тут совершенно неожиданно, без всякого предупреждения, с правого фланга соседней с нами второй роты открыли огонь из пулемета по братавшимся солдатам.

Вскоре застрочил и пулемет нашей роты. Незамедлительно ожили три немецких пулемета. Братавшиеся панически разбежались.

Вместе с нашими солдатами, бежавшими из-под пуль, пришлось скрыться на нашей стороне и человекам пятнадцати немцев. Пулеметы обеих сторон не умолкали, но ружейного огня никто не открывал. Как только пулеметы замолчали, обе стороны открыли по позициям прицельный артиллерийский огонь. Наши укрепления из мешков с песком могли защитить лишь от пуль, и рота стала нести потери. Раненых становилось все больше и больше, они стонали и громко взывали о помощи. А как им поможешь в таком аду, когда и сам ждешь в любой миг осколка в бок.

Перестрелка прекратилась лишь к полудню. Но и в затишье каждый лежал на своем

месте, боясь пошевелиться, потому что немцы, заметив движение на нашей стороне, могли вновь открыть огонь. С большим риском раненым оказали первую помощь и убрали убитых. Тяжело раненные громко стонали, бредили. Двигались лишь взводные и отделенные командиры, назначавшие солдат в ночной караул.

Поздно вечером командир роты Акимов передал в штаб рапорт о наших потерях — около шестидесяти человек, и просил прислать пополнение.

Случайно я подслушал разговор между полковником Харченко и командиром первого батальона штабс-капитаном Андреевым. Они говорили о событиях прошедшего дня:

— Господин полковник, я ваше приказание выполнил.

— Молодец, господин капитан!

— Мы не раз предупреждали: если братания не будут прекращены, откроем огонь. С каждым днем братавшихся солдат становилось все больше и поэтому сегодня я сам лично открыл по ним огонь из пулемета.

— А противник открыл огонь уже после вас?

— Так точно, господин полковник..

— Каково моральное состояние солдат?

— Во всех ротах полное спокойствие.

— Потери, оказывается, большие.

— Без жертв пресечь этот недопустимый факт было бы невозможно, господин полковник.

— О сегодняшних событиях был разговор в штабе дивизии. Там говорят, что следовало

бы прибегнуть лишь к мерам дисциплинарного воздействия.

— Вряд ли бы помогло. Их не раз предупреждали.

— Это верно, нарыва без боли не вскроешь.

— В общем в моем батальоне выбыло из строя сто пятьдесят человек.

— М-да... Ну ничего. Эта жертва необходима. Война есть война. Пока до свидания, господин капитан.

— До свидания, господин полковник, желаю вам здравствовать!

К вечеру об этом разговоре знал весь наш полк. Командир батальона Андреев стал первым врагом солдат.

— Если пойдем в наступление, первая пуля ему, — грозили они в озлоблении.

Недобрую славу приобрел и полковник Харченко. Бывшее и до этого враждебным отношение солдат к офицерам еще более ухудшилось.

Глава восьмая

Вот уже второй день обе стороны почти беспрерывно ведут артиллерийский поединок. До сегодняшнего утра огонь был сосредоточен на подступах к передовым линиям, чтобы помешать подтягиванию резервов, а теперь бьют по окопам и заграждениям.

Наши позиции совсем оголились. Прервалась и телефонная связь со штабом полка. Командир роты Акимов, не получая никаких распоряжений, растерялся. Едва отправил с вес-

товым письменный запрос командиру батальона, пометив пакет тремя аллюрами, как тут же его тяжело ранило в голову осколком. Наконец, поступил приказ отступить на вторую линию укреплений, но было уже поздно. Осколки снарядов, шрапнель роем носились над головой. Те, кто выскакивал из окопов, надеясь на спасение в тылу, валились, как подкошенные. Убитых и раненых становилось все больше. Болото и лес затянуло синеватой мглой. Раздались тревожные крики:

— Газы, газы, одевайте маски!

Вскоре выяснилось, что то был не страшный газ, а расстилавшийся по земле дым разорвавшихся снарядов.

Перед заходом солнца канонада несколько утихла, и еще до наступления темноты небо стали бороздить ракеты и лучи прожекторов.

Вторую линию окопов уже занял какой-то полк резерва. Роты нашего батальона, покинув позиции, разбрелись кто куда. Ночью свежий полк передвинули на первую линию. А остаткам нашего полка приказали собраться в перелеске, возле штаба. Мы, как стая цыплят, разогнанных коршуном, поодиночке побрели к штабу.

Собралось нас всего около сотни человек.

Я с самого утра не видал ни Иртуганова, ни Кригер-Соколовского. Не оказалось их и среди собравшихся. «Неужели убиты или ранены? Что с Индрилом?», — подумал я. Штаб, оказывается, перебросили версты на две назад, в полуразрушенную деревушку. Нас построили и повели туда. Как только мы подошли к штабу, я разыскал Индрила.

К большому своему удивлению у него я застал и Иртуганова. От радости мы долго тискали друг друга. Они уже не чаяли увидеть меня живым.

Не успел я и рта раскрыть, как Индрил стал меня успокаивать:

— Новиков жив, а Байгужу ранило в ногу. Его отправили еще днем подальше отсюда. Рана не особенно опасная — осколок снаряда задел бедро. Своим ходом ушел за санитарным обозом.

— А нашего немца я сам ранил, — Иртуганов усмехнулся. Я понял: он имел в виду Кригера-Соколовского.

— Ему очень уж хотелось домой и он стал меня упрашивать, чтобы я помог ему живым выбраться отсюда, — продолжал Иртуганов.— Ну я и пустил ему пулю в плечо. Сам же его перевязал и отправил, но в это время была такая заваруха, что и не знаю, выбрался ли он живым.

На передовой началась усиленная перестрелка. Тут же послышалась команда собраться солдатам у штаба.

Выяснилось, что наш полк потерял половину своего состава. Поредевшие роты пополнили из резерва и перед рассветом объявили приказ о выступлении на передовые линии.

Солдаты заволновались. Некоторые не скрывали возмущения:

— Мы с коих пор не спали и не ели ладом. Не успели отдохнуть и опять в бой!

Иртуганов забегал среди солдат, подговаривая их поднять шум, громче кричать.

Тут появился полковник Харченко:

— Братцы, закон войны таков, что боевые

приказы мы должны выполнять точно и безоговорочно. Сегодня начинается важное наступление. Мы должны выбить противника из окопов и занять деревню Софийку. После этого нам дадут отдых. О еде не беспокойтесь — сейчас сюда подвезут кухни.

Солдаты почему-то быстро успокоились. Шум стих и лишь кое-где слышалось ворчанье:

— Как скотов — покормят и на бойню.

— Ну, немцы-то постараются уложить нас отдыхать навечно. И кормежки никакой не надо.

По полку пошел слух, что подъезжают кухни. Солдаты, уже несколько дней не пробовавшие горячего, гремя котелками, побежали им навстречу. Поступило распоряжение: раздатчикам получить папиросы, по пачке на каждого. После завтрака всюду засветились огоньки папирос. Лица солдат подобрели, начались спокойные беседы:

— Ай-яй, ну и крыли же сегодня немцы — нельзя было и носа поднять, — сокрушался один солдат. — Друга убило осколком — с одной деревни были. А у его Матрены двое на руках остались. В нашем отделении уцелело несколько человек. Теперь наша очередь...

Солдаты стали прислушиваться к доносящейся с передовой стрельбе и, указывая на полыхающее в той стороне зарево, говорили:

— Там сейчас все вверх дном переворачивается...

Раздалась команда строиться. Солдаты нехотя, с большим трудом поднимались, шли в строй.

Вначале нас вели колонной по четыре че-

ловека в ряду лесной дорогой. Выбравшись на открытую местность, мы рассыпались в цепь и стали продвигаться к линии огня перебежками.

Я тянул за собой телефонный кабель, остерегаясь неприятельского огня. Время от времени подключая к нему полевой телефонный аппарат, я проверял целость линии. Я позавидовал пехотинцам — они могут делать быстрые перебежки, укрыться, где за бугорками, где в ямках, где в воронках, а мне кабель не давал свободу действий.

Когда мы приблизились к первой линии окопов, занимавший их полк уже миновал проволочные заграждения и подползал к германским укреплениям. Немцы без перерыва строчили из пулеметов по наступавшим, а зону наших передовых линий засыпали артиллерийскими снарядами.

— Вперед, быстрей вперед! — кричали офицеры.

Пространство между нашими и вражескими окопами было усеяно трупами русских солдат. Те из раненых, кто хотел выбраться из этого пекла в свой тыл, едва поднявшись с земли, валились сраженные пулями или осколками.

Находясь под неприятельским огнем, живешь лишь одной мыслью: как уберечься от вездесущей смерти, ее ждешь каждый миг, и верится-не верится, что останешься живым. То кажется: сейчас все стихнет и ты благополучно доползешь до безопасного места. И в то же мгновение думаешь: вот-вот в тебя вопьется свинец или кусок железа и все будет кончено. Пока лежишь, переходишь от одного состоя-

ния к другому, как качающийся маятник. Полсекунды живешь надеждой на спасение, полсекунды — страхом смерти.

Возле меня лежит тяжело раненный солдат. Пока не утихнет бой, ему помощи ждать неоткуда и он, используя малейший шанс остаться живым, копает лопаткой землю и укладывает ее кучкой перед собой, чтобы укрыть за ней голову. Обессилев, он прикрывает голову лопаткой, а свободной рукой хватается за бок, куда его ранило.

Он мне напоминает беззащитный осенний лист, который в любой момент может сорвать ветер и сбросить в грязь.

Вблизи разорвался снаряд. Воздушная волна оторвала меня от земли и отбросила в сторону. Я на несколько секунд лишился сознания.

Очнулся в блаженном полузабытьи: голова совершенно свободна от мыслей, мучительное нервное напряжение прошло и я лежал, жадно вдыхая острый запах сырой земли. Но такое продолжалось недолго. Будто я до этого лежал в ящике и сейчас открыли крышку: уши опять стали слышать, глаза видеть, и я вновь в полной мере ощутил свое ужасное положение.

В такие минуты пули становятся нестрашными — раздражает лишь их назойливое жужжание.

На правом фланге закричали «ура» — наши снова пошли в атаку. Стрельба со стороны немецких окопов почему-то прекратилась. Вокруг меня стали подниматься уцелевшие солдаты и, крича во весь голос «ура», побежали к немецким окопам. Этот клич придает силы,

поднимает дух и возбуждает злобу — злобу против пуль и снарядов, угрожавших твоей жизни. Когда перестаешь слышать их жужжание, взрывы, охватывает радость, и она вырывается в этом громком крике. Но это не крик души и не торжество победы, а освобождение от всего, чего боялся перед этим.

Проскочив проволочные заграждения, мы ворвались в неприятельские окопы, застали там нескольких немецких солдат. Все они, бросив оружие, сдались в плен. Только один атлетического сложения солдат продолжал стоять, грозно выставив перед собой штык. Кто-то выстрелил и он свалился, как подрубленный тяжелый столб.

Наши солдаты тут же принялись укреплять занятые окопы. Близился рассвет и поэтому каждый старался под покровом темноты приготовить себе надежное укрытие. В таких случаях все делается совсем не по приказу свыше.

Рассвело. Разорвав пелену тумана, показалось солнце. Над передовой стояла зловещая тишина. Каждый солдат знал, что она недолговечна. Все ждали огненного шквала, а пока старались отвлечь себя мелкими заботами о завтраке.

У кого не было своих запасов, стали обшаривать сумки убитых немцев. Но этим не очень-то разживешься — в лучшем случае можно найти кусочек свиного сала или тоненький ломтик хлеба, намазанный маргарином или растительным маслом. Зато в их флягах почти всегда бывает красное вино и эта находка считается самой ценной. Тогда солдат чувствует себя счастливцем и пьет вино

маленькими глоточками с блаженной улыбкой.

Возле меня лежит труп немецкого солдата. На нем ни раны, ни крови — как-будто он крепко заснул. Глаза полуоткрыты, одна рука лежит на груди, другая откинута в сторону.

До этого я никогда к убитым пристально не присматривался, а тут почему-то он завладел всем моим вниманием. Я порылся в его сумке и нашел в ней пачку писем и семейные фотографические карточки. На одном из снимков этот солдат сидел в военной форме, а рядом с ним — женщина с печальными глазами. Волосы гладко причесаны. На ней клетчатая кофта и черная юбка деревенского покроя. По бокам стоят две улыбающиеся девочки лет семи и пяти. На них коротенькие белые платьица и пышные банты в светлых волосах. Конечно, эти дети и понятия не имели, что ждет отца, и радовались тому, что он одет в необычный, военный костюм.

Мертвец, наверное, хранил эту карточку, как реликвию, и не раз с тоской вглядывался в любимые лица. А в пачке писем, вероятно, много слов любви, печали, надежд.

Бедняга! За что он воевал? Какая вражда могла быть между мной и им? Почему мы посылали друг в друга смертоносные пули? Когда до его родных дойдет страшная весть, они... Эх, да что тут. Ужасное горе одинаково переносят что немецкие, что русские, что башкирские вдовы и дети. Пока еще эта женщина и девочки об этом не знают и, вероятно, ежечасно ждут писем. А он лежит в окопе бездыханный и останется здесь навеки.

Сегодня погода выдалась хорошая. Туман быстро растаял, и солнце безоблачного неба светит очень ярко. Кажется, что оно помогает неприятелю, потому что при хорошей видимости с болтающегося вдали немецкого аэростата нетрудно заметить любое наше движение. Вскоре рядом со мной начинают взрываться один за другим снаряды.

В занятых немецких окопах мы чувствуем себя, как воры. Знаем, что неприятель внимательно следит за каждым нашим шагом и думает любой ценой выбить нас отсюда. Ежеминутно ожидая начала новой схватки, повторения пережитого недавно кошмара, каждый чувствует себя подавленным и частенько посматривает назад.

Глава девятая

В осенние солнечные дни поля и леса Украины удивительно красивы. Сквозь голубоватую дымку деревья блещут червонным золотом листьев. Утопающие в фруктовых садах беленькие хаты манят к себе, обещая уют и покой.

Там, где проходит передовая, такого не увидишь. Деревни сожжены — от домов остались только печные черные трубы. Леса наводят тоску, покалеченные снарядами деревья напоминают дряхлых стариков, подавленных безысходным горем.

Когда в лесу разрываются тяжелые снаряды, вековые деревья дрожат, как в лихорадке, и долго стонут. Их стоны кажутся мне жалобами украинского народа, который переживает сейчас все ужасы войны. Перед глазами

встает вереница несчастных женщин с искаженными от страха лицами, бегущих из горящих и разрушаемых сел. И с ними плачущие дети...

На закате солнце окрасилось багровым цветом, который нам кажется зловещим, сулящим худое. На войне человек, точно барометр, заранее чувствует приближение опасности.

И действительно, не успело солнце опуститься за горизонт, как в нашем расположении начали разрываться снаряды малого калибра — предвестники усиленного обстрела. Вслед за ними издалека со злобным воем понеслись на нас и тяжелые снаряды. Они рвались с содрогающей все вокруг силой, сея смерть, разрушая окопы, вздымая огромные фонтаны земли, засыпая людей.

После усиленного обстрела иногда на некоторое время наступает затишье — то ли артиллеристы устроили себе передышку, то ли кончились снаряды. Уцелевшие солдаты, дико озираясь, как призраки начинают приподниматься из-за своих укрытий. Они наспех выкапывают ямки, а потом принимаются жевать или курить.

Я лежу в воронке от легкого снаряда с солдатом-татарином Вафиным. Когда стрельба утихла, он тоже стал скручивать цигарку.

Вафин до войны служил приказчиком у московских купцов, торговавших каракулем. Он истый мусульманин и в минуты опасности без умолку шепчет молитвы.

Внезапно немцы открыли артиллерийский огонь по нашему тылу, а по окопам ураганный ружейный и пулеметный огонь. Стало яснее

ясного — немцы готовятся к атаке. Мы проверили свои винтовки, подсумки с патронами и настроились как можно яростнее встретить их — пощады ждать не приходится.

Пулеметы смолкли, и через несколько минут немцы с громкими криками понеслись на наши окопы. Никто нам никакой команды не подавал, и мы не знали, следует ли открывать огонь или отступать. Наверно, погибли все наши командиры. Поэтому солдаты чувствуют себя свободно и каждый делает то, что хочет. Завидев густые цепи немцев, они один за другим стали срываться со своих мест и побежали назад. Всем было ясно, что при наших силах позиции не удержать. Побежал и я, бросив телефонный аппарат. Вся земля была изрыта снарядами. В темноте, при стремительном беге, я то и дело попадал в воронки.

Трудно сказать, сколько времени я бежал, но вдруг меня сзади кто-то ударил по ноге. Инстинктивно обороняясь, я отскочил в сторону и обернулся, чтобы пулей или штыком защититься от повторного удара противника. Но передо мной никого не было. Собрав силы, я опять пустился бежать... Добравшись до прежних наших окопов, я дрожал, как в лихорадке, горло пересохло и перед глазами ходили огненные круги.

Вдруг послышался какой-то устрашающий шум. Стали раздаваться отчаянные вопли:

«Газы, газы, надевайте маски!»

И тотчас я почувствовал довольно приятный запах, как будто к носу поднесли корзину фруктов, но от нескольких вдохов стало теснить грудь и казалось, что горло заполнилось чем-то сухим и жестким. Я надел проти-

вогаз, но в нем было трудно дышать — пришлось стянуть маску.

— Ветер переменился и погнал газы в их сторону, — сказал кто-то рядом.

Стрельба стала стихать. Немцы одну за другой пускали ракеты и свет их озарял землю далеко вокруг. «Зачем они это делают?» — подумал я. И вскоре все понял: с немецкой стороны слышались тревожные крики — их стали душить выпущенные ими же газы.

Дышать невероятно тяжело — мучает частая икота и сухость в горле — как будто я наглотался сухого песку. А тут еще болит правая нога и сапог на ней полон воды. Когда и где зачерпнул в него, совершенно не помню. Запустил руку за голенище — мокро. Поднеся пальцы к глазам, увидел, что они в крови. Только тогда я понял, что ранен.

— Никак ранило меня, — сказал я денщику нашего ротного командира, оказавшемуся рядом. Он осмотрел, ощупал мою ногу.

— Снимай скорее правый сапог, я наложу повязку, — сказал он. Перевязав рану, посоветовал: — Шел бы ты отсюда поскорее в тыл. И считай, что тебе повезло.

Я сгоряча резво встал, но сразу закружилась голова, меня стало тошнить, а тут еще подступил удушливый кашель. Идти я не мог и в бессилии осел на землю.

На мое счастье показались санитары. Они отказались меня принять и хотели уйти, но денщик стал их упрашивать:

— Нет, вы его все-таки возьмите, состояние у него тяжелое — разве сами не видите. В ногу ранен он, много крови потерял и газами отравлен.

Его забота так меня умилила, что я даже на некоторое время забыл все боли. Санитары нехотя положили меня на носилки и пошли. Я благодарно кивнул денщику на прощание.

Меня донесли до опушки леса и положили в санитарную повозку.

Я не помню, как оказался в поезде. Порой слышались свистки паровозов, стук колес, но мое сознание не прояснялось настолько, чтобы осмыслить все происходящее.

Глава десятая

Сестры милосердия в первые минуты пробуждения казались мне какими-то невиданными существами и я долго с интересом наблюдал за ними. Они надели на меня халат, туфли и ушли. Вскоре одна из них принесла лекарство и молоко.

— Слава богу, очнулся. Вот уже двое суток, как ты все время в беспамятстве и не мог даже попить. Тебе четыре укола сделали. Рана твоя не тяжелая, но ты много крови потерял и сильно отравлен газами, — сказала сестра.

Меня это нисколько не тронуло, как будто она говорила о ком-то другом. Осмотревшись, я понял, что нахожусь в вагоне. Через окно видно большое здание вокзала. Платформа перед ним кишела народом.

— Это какая станция? — спросил я и не узнал своего голоса.

— Петроград, — ответила сестра. Я совсем не удивился: «Петроград, так Петроград». Голова вдруг стала тяжелеть и как бы напол-

няться туманом. Я повалился на подушку. Но меня тотчас подняли:

— Сейчас мы тебя высадим и отправим в лазарет.

Санитары положили меня на носилки и вынесли из вагона.

День был серый, туманный. Моросило. Но я с наслажденьем вдыхал полной грудью свежий воздух. На платформе толпился народ, слышались приветствия, оклики, слова прощания. Кто-то бросил мне на носилки папиросы, конфеты и еще что-то...

...Только на десятый день пребывания в лазарете я смог подняться с постели и пройтись по палате. Как-то раз я подошел к большому зеркалу, стоявшему в коридоре. Что такое! — у меня сердце сжалось от боли. Я не узнал себя — лицо у меня было землисто-зеленым. Неужели я навсегда останусь таким страшилищем? Какой ужас! Как я тогда покажусь в своей деревне?!

В отчаянии я закрыл лицо руками, кое-как добрался до своей койки и, закрывшись одеялом, горько заплакал. Ко мне тотчас подбежала сестра и стала участливо допытываться:

— Что случилось? Вам что, больно?

Не добившись ничего, сестра, наконец, оставила меня в покое. В этот день не хотелось ни есть, ни пить и я до самой ночи провалялся на койке.

Наутро я проснулся в жару. Сестры позвали врача. Он ощупал мой лоб, осмотрел рану.

— Братец, что с тобой случилось? Тебя чем-нибудь обидели? Лечение идет очень успешно, рана затягивается и газ тебе особого вреда не причинил — легкие будут в норме.

Побольше отдыхай, не волнуйся — и все будет в порядке.

Я оторвал голову от подушки и показал на свое лицо.

— Неужели мое лицо навсегда останется таким зеленым? — с отчаянием воскликнул я и, не сдержавшись, заплакал как ребенок.

Врач, ошарашенный, некоторое время растерянно молчал, присел ко мне на койку, положил руку мне на плечо:

— Так вон в чем дело! Это от газа, но должно пройти. Мы тебя покажем кому надо.

Я несколько успокоился. Дня через два меня осмотрел врач по кожным болезням и что-то пробурчав, ушел. Каждое утро с тех пор сестры массировали мое лицо, втирая какие-то мази. Раз по десять в день я подходил к зеркалу и вглядывался. Цвет кожи почти не менялся.

Тревоги, сомнения не покидали меня. Я теперь перестал и письма домой посылать. Если лицо останется таким, как же я смогу показаться там? Только всех перепугаю. Мать, увидев меня, ужаснется и, чего доброго, упадет в обморок. Может быть, мне после поправки дадут отпуск, но если к тому времени лицо не станет как прежде, то домой я не поеду. Решено.

По ночам долго не могу заснуть — одолевают тяжелые думы. И как луч солнца, ворвавшийся в просвет между свинцовых облаков, нередко вспоминается Марьям Карашайская, вернее ее образ. Она сейчас здесь, в Петрогаде. Но у меня нет сейчас желания видеть ее. Подаренный ею блокнот я потерял в окопах, а с ним и адрес. И сейчас хочется

забыть навсегда все то, что с ней было связано. Если и придется вдруг нечаянно встретиться с нею, то мне ничего не останется делать, как бежать от нее со всех ног.

Не писал я и товарищам, оставшимся на фронте. И нет охоты писать. Я целиком занят только своим горем. Не хочется даже смотреть в окно на улицу. Порой хочется одного: выбраться из лазарета и, убежав от людей подальше в лес, жить там все время в полном одиночестве.

Как-то сестра нашей палаты Мария Павловна радостно сказала мне:

— Пришли представители мусульманских богачей с подарками для единоверцев. Дежурный врач дал им список — там и твоя фамилия. Идем со мной в приемную.

Я быстро поднялся, накинул халат и уже направился было к двери, но тут подумал: «А что, если среди пришедших окажется и Марьям?» Я сбросил халат и повалился на койку. Мария Павловна несколько раз приходила за мной, но я лежал, уткнувшись лицом в подушку, и даже не шевельнулся.

Из окна я видел уходивших посетителей: это были трое мужчин и богато одетая дородная женщина. На ее голове красовался калфак[1]. Нет, это не Марьям. На душе стало легче. Вскоре появилась Мария Павловна с оставленными для меня мусульманами яблоками, конфетами, печеньем, папиросами и пачкой газет, журналов и книг. Я жадно принялся читать. Все книги были религиозные, и я засу-

---

[1] Калфак — головной убор из бархата, украшенный жемчугом.

нул их под подушку. Татарская печать показалась мне какой-то чужой. В ней не было ни того, что мы чувствовали на фронте, ни того, что хотели бы сказать. Краткие сообщения о военных действиях удивляли наивностью. Основное внимание газеты уделяли вопросам религии. В то время, когда шла война, решавшая судьбы многих народов, когда на полях брани гибли миллионы людей, мусульманскую печать более всего интересовало положение мулл. Стихи и повести в журналах, которые я прочел с особым вниманием, были полны пессимизма и мистики, звучали как голоса дервишей, доносящиеся из развалин.

Почему-то ничего не пишется о миллионах, гибнущих на фронтах? Почему никто не возмущается напрасным и бесчеловечным кровопролитием?! Не того я ждал от этих газет и журналов. Их страницы показались мне бездушными, омерзительными.

Темные пятна с моего лица стали постепенно сходить, но отравление газами все еще давало себя знать — я покашливал, кололо в груди. Рана на ноге уже почти зажила и теперь я мог без какой-либо помощи ходить по палате. Но ни последствия отравления, ни рана так меня не беспокоили, как цвет лица. Примет ли оно нормальный вид?

Мария Павловна, видимо, догадываясь о моих терзаниях, массажируя, говорит мне бодрым голосом:

— Пятна с твоего лица мы сведем — ты не беспокойся. А в таком виде показываться ей, конечно, не стоит.

Говорит она искренне, сердечно. Слушать ее мне и тяжело, и приятно.

Когда Мария Павловна говорит, ее красивые голубые глаза расширяются и иногда на полных, румяных щеках появляются ямочки.

— Пусть без руки или ноги вернется мой Саша, но только бы живым, — с тяжелым вздохом произносит она и снова принимается массировать мне лицо. В это время я ни о чем не думаю. Все мое внимание сосредоточено на ощущениях. Какие счастливые минуты! Все горести забываются, от ее ласковых рук разливается душевное тепло по всему телу. Хочется погладить и поцеловать эти руки, но на это не хватает мужества.

Когда Мария Павловна уходит, я еще долго думаю о ней, восхищаюсь ее добротой, и от души желаю ее Саше вернуться живым и невредимым.

На меня, кажется, влияет сырой, неустойчивый климат Петрограда — у меня начались приступы малярии. Врачи решили, что меня нужно отправить в Москву.

В день отъезда Марии Павловны в лазарете не оказалось. От одной сестры я узнал, что она заболела. Горько было уезжать, не увидев ее на прощание.

Глава одиннадцатая

Мне приходилось слышать о Москве, что она златоверхая. Действительно, в Москве прежде всего бросался в глаза целый лес церковных колоколен и куполов. Церквушки попадались на каждом шагу. Видимо, они были старые, потому что дома более поздней постройки их уже переросли. Москвичи мне

показались менее подвижными, чем петроградцы. Здесь довольно часто встречаются степенно вышагивающие, благообразного вида толстяки с окладистыми бородами.

Много здесь кривых улочек с бесчисленными переулками. И дома разной высоты — рядом с пяти-шестиэтажными домами стоят приземистые, одноэтажные деревянные избы. В лавках сидят тепло одетые, бородатые торговцы.

Проходящего мимо человека они оглядывают зорко, пытливо, как охотники подстерегающие дичь.

На паперти каждой церкви толпятся калеки и слепцы. Протягивая руки к прохожим, они поют псалмы. Семенящие мимо старушки, остановившись, истово крестятся, глядя на иконы, висящие над входом.

На трамвайных остановках полные люди, которых здесь много, не торопясь поднимаются в вагон. Пока ждешь, когда они протиснутся на площадку, трамвай трогается. Такие люди, как я, нередко так и остаются на остановке. С бывалыми москвичами этого не случается.

От неумолчного перезвона церковных колоколов, от лязга и звонков трамвая с непривычки голова начинает гудеть.

Лазарет помещался на тихой улице, в доме, окруженном большим садом, что делало его похожим на хутор или дачу.

Нас встретили полные и румяные сестры милосердия и сразу повели на прием к врачу. Он оказался подвижным человеком небольшого роста, с умными глазами и окладистой черной бородой. Осматривать нас врач не стал, а

просмотрел присланные с нами истории болезни и каждого распределил по палатам, даже не побеседовав с тяжелоранеными. Мне показалось, что он немой, но когда мы вышли из приемной, то услышали его голос — врач грубо прикрикнул на кого-то.

Прошло уже три дня, как мы поступили в этот лазарет, но никто не приходит поинтересоваться нашим здоровьем, и мы, кроме сестер, появляющихся в палате раза два в день, никого не видим. Правда, кормить вовремя не забывали и даже разрешили курить в палате. Сначала мы удивлялись здешним порядкам, но потом, освоившись и пользуясь безнадзорностью и свободой, стали веселиться как могли. Сколько бы мы ни шумели, нам замечаний никто не делал и лишь в одиннадцать часов вечера предлагали ложиться спать и гасили свет.

На четвертый день измерили температуру. У всех в нашей палате она оказалась нормальной.

— Теперь нас из лазарета выпишут, — забеспокоились мы. Никому не хотелось покидать такое уютное место. А выписавшийся отправлялся на фронт.

И раненые стали ломать голову над тем, как поднять себе температуру.

— Если градусник сильно потереть о суконное одеяло, ртуть быстро поднимается, — высказался курносый рябой солдат.

— Можно и по-другому, — заговорил верзила с орлиным носом, лежавший в дальнем углу. — Перед тем, как сестра принесет термометр, надо запастись стаканом горячей воды и спрятать его в тумбочке. А когда сестра

поставит термометр и уйдет, надо его опустить в стакан и сосчитать: раз, два, три. Тогда увидите, что с ним получится.

Это предложение всем показалось наиболее подходящим, а советом рябого солдата решили воспользоваться в том случае, если сестра не выйдет из палаты.

Врач по-прежнему не появлялся.

Наутро, во время чаепития, сестра раздала нам термометры. Многие из больных недопитые кружки с чаем тут же поставили в тумбочки.

Моя койка стояла у самого входа и поэтому мне первому дали термометр. Все больные уставились на меня, а я поставил термометр и подвинулся ближе к тумбочке, на которой стояла моя кружка с чаем. Теперь нужно было лишь выждать удобный момент.

Когда сестра вышла из палаты, больные зашептали:

— Опускаем, братцы, термометры в чай. Господи благослови и прости нас грешных. Аминь.

Мы подержали их немного в чае и, опять сунув подмышку, улеглись, как ни в чем не бывало. Вскоре сестра вернулась и взяв у меня термометр, удивленно расширила глаза:

— Ведь вчера температура была нормальная, почему она сегодня повысилась до тридцати восьми?

— Не знаю. У меня сегодня всю ночь почему-то болела голова, — соврал я, не моргнув глазом.

— Надо будет сказать доктору, — озабоченно проговорила сестра.

И у моих соседей температура оказалась повышенной, а у кое-кого она дошла даже до сорока градусов. Сестра всполошилась:

— Ума не приложу, почему у вас всех такая температура повышенная? Удивительное дело!

Как только она удалилась из палаты, мы все захохотали, уткнувшись в подушки.

Солдат, научивший нас этой проделке, хвастливо заявил:

— Молодцы, сделали, как полагается. Пока я здесь, со мной не пропадете.

Но радоваться нам долго не пришлось. Не успели еще мы доесть завтрак и выпить чай, в который окунали термометры, как в палате в сопровождении нашей сестры появился врач, который встречал раненых в день поступления в лазарет. Он оглядел всех нас, а потом стал осматривать потолок и окна. Мы лежали притихшие, изобразив на лице страдание, а некоторые даже время от времени тихо постанывали. Врач строго посмотрел на сестру и та с виноватым видом опустила глаза.

— Почему же это могло случиться? — недоумевал врач. — Может быть форточки держали открытыми и простудили людей? Не давали ли им сырой воды, или, может быть, недоброкачественными продуктами накормили? Совершенно невероятно, чтобы у всех сразу повысилась температура.

Мы опасались, что он предложит нам вновь измерить температуру, но, к счастью, этого не случилось. Врач направился к выходу, бросив сестре:

— Перевести их на легкий рацион.

Когда затихли шаги ушедших, больные вскочили с коек, стали переговариваться лишь шопотом и жестами. Убедившись, что врача и сестры нет в коридоре, к нам вернулось прежнее оживление. Но радовались мы лишь до обеда. Отсутствием аппетита никто из нас не страдал, но нам на этот раз принесли лишь по тарелке жиденького бульона и по два белых сухаря.

Больные стали возмущаться, кричали и грозили в сторону двери.

На наши недовольные выкрики прибежала сестра и заявила:

— Так приказал доктор. У всех повышенная температура и вам ничего мясного давать нельзя. Как поедите, надо будет принять аспирин.

Она дала каждому по пакетику порошка.

Больные переглянулись с видом одураченных людей. Доигрались — вот тебе и повышенная температура!

Обед мы все же съели, но он лишь раздразнил аппетит. Есть захотелось еще больше. Память услужливо воскрешала блюда, которыми нас кормили. Было отчего потечь слюнкам.

Один из больных размечтался:

— Если бы сейчас передо мной поставили фунта два жирной баранины, да с нею еще картошки, ох и навернул бы я их с треском. А потом запил бы ковшиком кваса и поспал часок-другой.

Его разглагольствования не всем пришлись по душе. Кто-то на него прикрикнул:

— Заткнись-ка ты, милый, лучше.

После обеда мы обычно спали, но сегодня многие даже глаз не сомкнули. Одни смеялись, подтрунивая над глупым положением, в которое сами себя поставили, а другие ворчали на мудрецов, научивших повышать температуру. А тем хоть бы что — смеются себе, оправдываясь:

— А нам что — генеральскую норму дали? Тоже кишка кишке шиш показывает.

На ужин дали творогу, по стакану горячего молока и маленькому ломтику белого хлеба. На этот раз никто не возмутился. Все ели молча, насупившись. Ужин проглотили в мгновение ока.

Тут же нам доставили еще одну неприятность — сестра объявила, что курить в палате нельзя, так как мы теперь считаемся тяжело больными.

Солдат с орлиным носом возмущенно пророкотал:

— Ведь никто из нас не жалуется на курящих. Почему нам запрещают курить!

— Так распорядился доктор, — отрезала сестра.

Но мы не подчинились и закурили.

Голодные, мы не могли думать ни о чем, кроме еды. Не стало слышно обычных шуток и смеха. Когда потушили свет, многие долго не могли заснуть, тяжело ворочались. Кто-то сокрушенно вздыхал.

Раньше на завтрак подавали сливочное масло, яйца, котлеты из баранины, молоко. В некоторые дни что-нибудь заменялось ветчиной, икрой, курицей или консервированной рыбой. А сегодня наш завтрак — стакан чая, горсточка сухарей и творог. Не то, чтобы на-

сытиться, даже смотреть-то было не на что. И все же на сухари набросились с жадностью. Они не разжевывались и драли глотку, творог вызывал обильную слюну, а горячий чай лишь тогда хорош, когда плотно закусишь. Обижаться было не на кого и больные посмеивались над собой.

Принесли термометры. На этот раз уже никто не совал их в чай и не тер об одеяло.

— Странно, температура у всех стала нормальной, — удивленно сказала сестра, когда собрала все термометры.

Больные закричали:

— Ну как теперь кормить нас будут?

— Может быть, как прежде. Это решит доктор — я ему сообщу о вашей температуре, — успокоила нас сестра.

Мы воспрянули духом. Все были уверены, что сегодня будем есть жирный суп и что-нибудь мясное. Как только подумаешь об этом, желудок начинает сосать. В предвкушении обеда никто не мог спокойно лежать. Курносый солдат не выдержал, сбегал в конец коридора, где помещалась кухня. Вернувшись, он закатил глаза, схватился за живот:

— Братцы, на кухне для нас что-о готовят, языки проглотите.

Наконец, наступил желанный момент: по палатам стали разносить обед. Еле дождались, когда до нас очередь дошла. Но что такое?! Опять то же самое, что и вчера — бульон и сухари.

— Что они издеваются над нами! — накинулись все на женщину, принесшую обед. Та испуганно попятилась:

— Я тут ни при чем. Что записано, то и принесла.

На шум прибежала сестра и сразу поняла в чем дело.

— Так распорядился доктор: пока подержать вас на легком рационе. Мы тут не командуем.

Так ничего не добившись, мы умолкли. Сами виноваты — пенять не на кого.

Раньше послеобеденное время было самым веселым в однообразом лазаретном режиме. Кто рассказывал смешные случаи из своей жизни, кто вспоминал о войне, кто мечтал вслух о встрече с родными. Курносый солдат резво поднялся и вышел из палаты с решительным видом. Через несколько минут он вернулся и, ухмыляясь, стал нас поддразнивать:

— Если вам уж очень жрать хочется — полижите мой живот, мне сейчас на кухне кое-что перепало.

— Уметь надо, — он хитро всем подмигнул. — Я и доктора обвел вокруг пальца. Вот скажу ему, как вы его надули — он вас живо выпишет прямо в окопы.

Никто не отозвался на его шутки — мы делали вид, что не слушаем его.

Но пройдоха-солдат не унимался до тех пор, пока его сосед не шикнул на него, показав увесистый кулак.

Однажды, проходя мимо одной палаты, я услышал, как в ней кто-то сказал по-татарски с привздохом:

— О, аллах, что же это со мной? Как жить теперь? Кому я такой нужен?!

Я набрался смелости и вошел в ту палату, спросил, кто здесь мусульманин. Мне указали на койку у двери и предупредили:

— Говори с ним погромче — он контужен и плохо слышит.

На глазах у этого раненого была тугая повязка. Нижняя часть лица густо обросла черной бородой.

— Салям, браток, как дела? В какое место ты ранен? Откуда родом? — обратился я к нему.

Повернувшись в мою сторону, он поднял от одеяла руки и стал пальцами осторожно ощупывать пространство перед собой. Найдя мою руку, он крепко схватил ее и взволнованно заговорил хриплым голосом:

— А я и не надеялся встретить здесь мусульман. Я ведь обоих глаз лишился. И слышу плохо — контузило. Все в один раз. Даже письма написать не могу и попросить некого. Ты, братец, грамотный?

— По-татарски писать умею...

— Ты уж, пожалуйста, уваж мне — напиши письмецо домой. Когда там узнают, где я нахожусь и что со мной, может быть, приедут проведать.

Я пошел в свою палату за карандашом и бумагой. Курносый собирал деньги — он вызвался сходить в лавку за продуктами.

Я вернулся к слепому, подсел к его тумбочке.

— Это я пришел. Давай диктуй.

Он безразлично сказал:

— Видишь мое положение, вот и опиши что и как. Когда поправлюсь, должно быть, приедут за мной.

— А кому писать?

— Жену мою звать Шамсией. Есть еще у меня сын Абдулла — ему десять лет, и сестра Гайша. Вот им и пиши. А меня самого звать Фатхулла Басыров. Прости, не могу о себе говорить — язык не поворачивается.

«Дорогая Шамсия, шлю тебе большой привет. Еще привет Абдулле и Гайше». Я на минуту задумался и продолжал: «Да будет вам известно...» и описал все случившееся с Басыровым и обратился к ним с просьбой приехать проведать. Я хотел прочесть написанное Басырову, но он протестующе повел рукой. Я запечатал письмо и спросил адрес.

— Москва, Уланский переулок, дом номер семь, квартира шесть, — сказал Басыров.

— А ты знаешь, где мы находимся? — удивленно спросил я.

— Нет, не знаю.

— Ведь мы в московском лазарете.

— Не может этого быть! Разве мы не в прифронтовой полосе?

— Нет, мы в Москве.

— Ты уж брось, друг, подшучивать над инвалидом.

— Ей богу, правду говорю.

— Пиши-ка, братец, пиши. Пусть сначала письмо дойдет до этого адреса, а потом мы поговорим.

Больше я не стал его убеждать, он разнервничался и долго не мог успокоиться. Мне ничего не оставалось делать, как попрощаться и уйти. Письмо я передал дежурной сестре.

Я всю ночь размышлял о трагической судьбе Басырова и представлял сцену, когда его увидят родные.

Шамсия, проводив мужа на войну зрячим, здоровым, наверное, и мысли не допускает, что встретит его слепым. А ему разве легко? Куда тяжелее. Эх, не повезло человеку. И кому нужна эта война — будь она проклята.

Глава двенадцатая

Случайно я узнал, что наш лазарет частный, содержался на средства миллионеров Чичкиных. Возможно поэтому здесь не было строгого режима. Но зато не было хорошего лечения и настоящего ухода за больными. Мы были предоставлены попечению лишь фельдшеров и сестер, а главный врач являлся в лазарет раз в два-три дня. К тяжело раненным раз в неделю приходили врачи, работавшие в других лазаретах.

На питание жаловаться было нельзя — кормили сытно и вкусно, как на курорте. Иногда приносили еще откуда-то подарки. Для людей, изголодавшихся на фронте, это было как нельзя кстати.

Врач меня еще ни разу не осматривал. Но де. а у меня все равно идут на поправку. Даже пугавшие меня пятна на лице стали понемногу сходить.

Каждый раз, смотрясь в зеркало, я вспоминаю Марию Павловну, ее ласковые руки.

Сегодня в нашей палате все ожили — нам, наконец, принесли хороший завтрак. Никто не может есть спокойно — шутки-прибаутки сыпятся со всех сторон. Веселый гомон долго не затихал.

Я вышел в коридор и взглянул в зеркало: щеки, недавно впалые, стали полнее, лицо посвежело и темные пятна на нем были почти незаметны, и это меня особенно обрадовало. Почему-то вдруг вспомнились и родные, и товарищи, оставшиеся на фронте. Захотелось увидеть их и я решил всем написать письма. Радостные, бодрые слова теснились в голове, складно ложились на бумагу.

Я еще был занят письмом, когда со двора донеслись звуки шарманки. Музыка, казалось, точно передавала мои чувства и мысли.

Те из больных, кто мог ходить, накинули халаты и отправились на двор. Я тоже поспешил за ними. Во дворе слепой, сняв шапку, вертел ручку шарманки. Рядом стояла маленькая тщедушная женщина и выводила срывающимся голосом:

Маруся, ты, Маруся,
Открой свои глаза...

Мне вспомнилось, что эту грустную песню часто пели русские солдаты в часы отдыха. Больные обступили шарманку, слушали пение с глубоким вниманием и почти все, покопавшись в карманах, бросали в шапку деньги. Для нас, уставших от однообразной лазаретной жизни, их появление стало настоящим праздником. Их долго не отпускали, прося исполнить то одну, то другую песню. Солдаты стояли задумчивыми и по их лицам нетрудно было догадаться, что они думают о своих женах, невестах, матерях, родных местах. В конце концов женщина охрипла, закашлялась и солдаты гуськом потянулись к двери. Шарманка смолкла. Слепой сунул руку в шапку и

его лицо озарилось — она была доверху заполнена деньгами.

Не успел я сесть за письмо, как сестра позвала меня к Басырову. Я поспешил в его палату. Возле его койки сидели две хорошо одетые женщины. Увидев их, я растерялся и в нерешительности остановился в дверях. Без сомнения эти женщины — жена и сестра. Я не знал, что делать. То ли подойти познакомиться, то ли уйти в свою палату.

Они, видимо, приняли меня за одного из больных этой палаты — взглянули на меня лишь вскользь. Я запахнул халат, провел рукой по волосам, поправляя их, и хотел было обратиться к ним с приветствием, но не смог выдавить из себя ни слова. Если бы Басыров знал, что я вошел в палату он, несомненно, сам бы подозвал меня и познакомил бы с женщинами. Я, наконец, набрался мужества:

— Здравствуйте, ханум [1], — я слегка поклонился и подошел к ним поближе.

Они удивленно посмотрели на меня. Я смущенно потупился. И мне перед ними было стыдно предстать в первый раз в таком одеянии и я еще больше смутился. На них же все сидело красиво и изящно.

— Садитесь, эфенди [2], это вас, кажется, позвал Фатхулла, — услышал я, и, осмелев, взглянул на женщин. На их бледных лицах печать безысходного горя. Глаза набухли слезами. «А как же иначе», — рассудил я. Бедняга, бедняга, живой, а почти не человек теперь. Стараясь не смотреть на скорбных

[1] Ханум — вежливое обращение к женщине.
[2] Эфенди — господин.

женщин, я все же хотел рассеять свои сомнения:

— Должно быть вам я вчера по просьбе Фатхуллы-эфенди написал письмо?

Та, что была помоложе, стала благодарить меня:

— Спасибо вам, большое спасибо. Письмо мы перечитывали несколько раз и много слез пролили. Нерадостную весть оно нам принесло, но мы благодаря ему нашли Фатхуллу. Простите нас — это мы попросили вас позвать, чтобы лично поблагодарить. Если бы не вы, когда бы еще мы узнали, что брат мой находится здесь.

Я не знал, что и ответить. К тому же я ей залюбовался. Большие темные глаза, обрамленные длинными черными ресницами, красиво изогнутые черные брови, тонкий с горбинкой нос и яркие полные губы делали ее похожей на красавиц из восточных сказок. Если Фатхулла похож на нее, то и он, вероятно, красавец. Хотя какое человеческое лицо может быть красивым без глаз! Нет, для него все кончилось.

У жены Фатхуллы, Шамсии, волосы русые, глаза голубые, лицо в веснушках. Широкий лоб, удлиненный прямой нос, плотно сжатые, резко очерченные губы говорили о женщине добродушной, но вместе с тем и волевой.

Разговор с ними не завязывался и я приблизился к Фатхулле:

— Ну, как себя чувствуешь? Я рад, что к тебе родные пришли...

Фатхулла схватил мою руку.

— Большое тебе спасибо, дорогой. Ты мне

здорово помог. Вот видишь — они рядом со мной, а то еще когда бы они узнали, где я и что со мной. Как хочется посмотреть на них... — Фатхулла всхлипнул и затрясся в беззвучном плаче. Я хотел отойти, но он еще сильнее сжал мою руку. Тут и жена зарыдала, склонив свою голову ему на грудь. Фатхулла выпустил мою руку и обнял жену. Я отошел в сторону. Не выдержала крепившаяся сестра Фатхуллы. С плачем она выбежала из палаты. Мне было неловко наблюдать эту сцену, как, впрочем, и другим больным. Я повернулся и тихо вышел. В коридоре сестра Фатхуллы, прислонившись к стене, продолжала рыдать. Мне хотелось подойти и как-то утешить ее, но на ум не шло ни одно подходящее слово, и я, невольно сгорбившись, пошел в свою палату.

Улегшись на койку, я корил себя за то, что не простился ни с женой, ни с сестрой Фатхуллы, не сказал им ни слова утешения. А чем я их мог успокоить, чем? Тут сам аллах не поможет.

Меня долго не покидали мрачные мысли о незавидной судьбе Басырова и его семьи. Так с тяжелыми думами я незаметно заснул.

Разбудило меня радостное оживление в палате. Особенно суетился курносый солдат-пройдоха. Оказывается, принесли хороший ужин, но есть мне не хотелось. Я без сожаления отвернулся к стене. Настроение было подавленным. Я не чувствовал никакой радости от своего выздоровления. Передо мной вновь и вновь возникала та сцена в палате — Фатхулла, обнимающий рыдающую жену, и его плачущая сестра в коридоре.

Наутро я сел за письма к друзьям, оставшимся на фронте. Писалось мне легко, я быстро находил нужные прочувствованные слова. Сообщал о своем здоровье, о лазарете, о Басырове. Я не знал, вместе ли сейчас мои друзья и потому написал каждому. Когда меня увезли с передовой, Байгужа с легким ранением был отправлен в дивизионный лазарет. Новиков, Индрил и Иртуганов остались в окопах. Может быть сейчас кто-нибудь из них уже погиб или ранен? Да, и раны разные бывают. Не зря говорят: пуля — дура. Бывает рана — просто царапина, а бывает искалечит всего человека, как вот Басырова.

Интересно было бы послушать сейчас Новикова. Что он говорит о войне? Индрил попрежнему, наверно, философствует. Но теперь перед новыми товарищами. Чем дальше время отдаляет меня от них, тем ближе они становятся моему сердцу. Вспоминают ли друзья обо мне, о перенесенных вместе смертельных опасностях? А я вот помню все их привычки, выражения лиц. Порой Новиков мрачнел и замыкался. Обычно в таких случаях он лежал на боку, немного скривив рот, сжав толстые губы и прищурив веки. В такие моменты его лучше не трогать. Мы знали, что он вот-вот разразиться тирадой. Волнующие его мысли не давали ему покоя, он не мог их сдерживать. Он резко поднимался и начинал негодующе кричать:

— Надо же, наконец, пошевелить мозгами и понять простую истину! В чьих интересах проливаются потоки крови? Глупцы мы! Хочется орать на весь мир: «Не будьте глупы-

ми баранами, серой скотиной!» Эх, на самом деле, совсем в скотов мы превратились!

Такие слова не могли не трогать того, кто их слушал. Они жгли мозг, душу. Хотелось схватить винтовку и штыком колоть направо и налево тех, кто начал эту ненавистную войну.

В таких случаях Индрил почему-то приглаживал левой рукой свои волосы. От этого его широкий чистый лоб казался еще шире, а в черных глазах загорались искры гнева. Уставившись в одну точку, он говорил:

— Война не может продолжаться вечно. Недовольство растет не только здесь, на фронте, но и в тылу. Когда-нибудь терпение лопнет и правительство, хочет оно этого или нет, а заключит мир. В конце концов есть же у людей разум — вот в него я и верю...

Сегодня все это особенно ярко вспомнилось и кажется, что слова друзей продолжают еще звучать в ушах. Вдохновленный воспоминаниями и писал я сегодня свои пространные письма. Не знаю, пропустит ли их цензура, но об этом можно судить потом по ответам, если они придут.

Большую часть времени я провожу возле Басырова. Он уже начал вставать и иногда с моей помощью ходит по палате. Врачи тоже сочувствуют ему и делают для него все, что могут. Он стал лучше слышать. Его часто посещают врачи, которых посылает за свой счет Шамсия. Теперь Басыров чувствует себя лучше и рад этому.

«Странно, — думал я. — Остаться без глаз — что может быть хуже для человека?

Со временем, оказывается, ко всему можно привыкнуть, со всем смириться. Еще недавно он считал себя самым несчастным человеком, а сейчас радуется поправке, заботам жены, делится со мной планами на будущее. Он, конечно, выздоровеет, но всегда ли родные помогут ему, слепому?»

Басыров, видимо, соскучился по душевным разговорам. Улегшись поудобнее, он рассказывает мне о своем прошлом:

— Я родом из Тетюшского уезда Казанской губернии. Когда мне было всего шесть лет, умерла мать. Отец был хорошим мастером-меховщиком. Перед смертью работал в Москве, в фирме братьев Карамышевых. Научил и меня своему ремеслу. Когда он умер, я тоже стал работать у тех же Карамышевых. Они ценили меня — самые лучшие каракулевые шапки шил я. — Басыров сказал последние слова с гордостью. — Ну а теперь, как видишь, какой из меня мастер.

Смолкнув, он стал нервно тереть шею и без нужды поправлять повязку на глазах. Смотреть на него было тяжело. Что ему скажешь в утешение?

— Жалко сына — ему всего десять лет. — Басыров горько вздохнул. — Я хотел вывести его в люди. Ума не приложу, что с ним теперь будет?

Воодушевившись на какое-то мгновение, он спокойно говорит:

— Ничего, молодые, может быть, пробьют себе дорогу. Когда они подрастут, войны уже не будет.

Его губы растянулись — видно, он отре-

шился от мучавших его постоянно мрачных дум. Он потрепал меня по локтю.

— Ты, Булат, большую мне помощь оказал. Как выберусь отсюда, угощу тебя на славу.

Было бы очень хорошо, если бы он выполнил свое обещание. Я уже не раз мысленно представлял обстановку, в которой жила такая красавица, как сестра Басырова, и мне очень хотелось побывать в их семейном кругу.

Квартира Басырова мне представлялась не то, чтобы роскошной, но светлой, уютной, с коврами на стенах и на полу, уставленной тяжелой мебелью из темного дерева, с бархатными сидениями и спинками. Я мечтал побывать там.

От охватившей меня радости у меня появилась способность складно и увлекательно рассказывать Басырову разные занимательные истории из своего прошлого. Увлекшись, я иногда невероятно фантазировал и, сообразив, что хватил через край, смолкал, стараясь по видимой части лица Басырова установить, верит он мне или нет. Кажется, он доверял мне полностью.

Зимним, солнечным утром я первый раз шел к Басыровым. Москва казалась мне праздничной из-за оживления на улицах, блеска позолоченных маковок церквей. Она поразила меня множеством громадных домов с бесчисленными окнами. Что за люди живут в них? Знают ли они про ужасы войны и представляют ли испытываемые миллионами мучения? Мне показалось, что отзвуки войны не

проникают через толстые стены и там течет неведомая мне спокойная и безмятежная жизнь. И оттого Москва казалась мне чужой, отгородившейся от войны, от всех людских бед. Только во встречающихся солдатах я вижу своих единомышленников и собратьев и думаю, что они так же, как я, чувствуют себя здесь неуютно.

В лазарете Басыровы казались мне очень близкими людьми, почти родными. Но чем ближе становился их дом, тем представление о желанной встрече, нарисованное моим воображением яркими красками, стало блекнуть. Я представлял прием уже вежливо-холодным, церемонным, как вынужденную плату за оказанную услугу. Видеть Басыровых расхотелось, я стал злиться на трамвай, который с каждой секундой приближал меня к ним, на себя, обещавшего навестить их. Мелькнула мысль: а не вернуться ли в лазарет? — все равно до их дома я не дойду, а если и дойду, то навряд ли решусь зайти.

У Покровских ворот сошел с трамвая. Долго стоял на тротуаре, курил, смотрел на прохожих, читал вывески. Потом мне стало казаться, что все заметили, как я битый час слоняюсь без дела, и посмеиваются надо мной. Я засунул руки в карманы шинели и решительно зашагал к Уланскому переулку.

Неизвестно, сколько времени я простоял бы, топчась, перед квартирой Басыровых, как внизу на лестнице раздались шаги — это придало мне решимости: я постучал. Было бы неудобно, если меня, незнакомого в этом доме, застанут торчащим у двери уважаемых жильцов. Когда она открылась и на пороге я раз-

глядел Шамсию-ханум, то почему-то отступил назад и продолжал стоять, не осмеливаясь войти. Даже услышав приветливо сказанное: — Милости просим, — я с трудом шагнул в квартиру. В прихожей на вешалке висели хорошие, дорогие пальто и шубы. Свою шинель я пристроил на самый край, и с большой робостью ждал приглашения.

— Пожалуйте, — услышал я голос Шамсии-ханум, который мне показался громче команд унтер-офицера.

— Наконец-то, Булат! Мы тебя давно ждем, — донесся из внутренних комнат хрипловатый голос Фатхуллы.

Только после этого я почувствовал некоторое облегчение и прошел в небольшую уютную комнату, обставленную мягкой мебелью, цветами. На стенах — картины. Подумалось: «Вот ведь, Фатхулла живет в такой прекрасной обстановке и даже видеть ее не может». В большом зеркале мое отражение на этом фоне показалось мне особенно убогим.

Налево полуоткрытая дверь вела в спальню Фатхуллы. Я прошел к нему и поздоровался. Он поднялся с кровати, протянул мне руки. Не трудно было заметить, что он искренне рад моему приходу и я стал держаться увереннее.

Тут в спальню вбежал разрумянившийся на морозе мальчик в клетчатом пальтишке и каракулевой шапочке.

— Здравствуйте, дядя, — бойко поздоровался он со мной и тотчас бросился к Фатхулле.

— Папа, сейчас у тебя глаза не болят?

— Нет, сынок не болят.

Хоть и говорил Фатхулла явно бодрым голосом, но я чувствовал, как он тяжело переживает свою слепоту. Очевидно, чтобы не слышать больше терзающих вопросов сына, Фатхулла порывисто обнял его и, приласкав, велел раздеться.

— Я не хочу раздеваться. Мне хотелось поздороваться с дядей-солдатом. Сейчас я пойду играть к Фуаду. — Он сверкнул живыми черными глазами и убежал.

Время от времени я посматривал за дверь в надежде увидать Гайшу, старался угадать, о чем она заговорит со мной своим чистым мелодичным голосом.

Появилась Шамсия-ханум, повязанная фартуком, и, начав что-то искать в комоде, как бы про себя сказала:

— А их все еще нет.

Кого она имеет в виду? Если Гайшу, то почему говорит не «ее», а «их»? Может быть, она должна придти с подругой? Интересно, как она посмотрит на меня? Я оглядел себя — эх, растяпа, не почистил сапоги — их носки, поистершись, побелели и Гайша обязательно заметит это. Смутили меня и руки — ногти отросли, под ними черные полоски. Пользуясь тем, что Фатхулла не видел, я стал вычищать их спичкой.

— Когда находишься в окопах, трудно бывает даже представить, что сможешь когда-нибудь очутиться в спокойной домашней обстановке, — прервал я затянувшееся молчание.

— Да, — откликнулся с горечью Фатхулла, — но какой ценой...

— Папа, зять пришел! — раздался вдруг звонкий голос мальчика.

— Хорошо, хорошо, — сказал Фатхулла и, встав с кровати, стал одеваться. Я вышел в зальце, присел на диван. В прихожей Шамсия встречала небольшого роста веснушчатого блондина и Гайшу. Раздевшись, мужчина сухо поздоровался со мной, прошел к Фатхулле.

— Ты зря поднялся, мы сами подсядем к тебе, — заговорил он резким неприятным голосом.

Я почувствовал себя здесь лишним и хотел было уйти, но в этот момент ко мне подошла Гайша. На ней было дорогое розовое платье с белым вязаным воротничком. Она улыбнулась, крепко пожала мне руку.

— Здравствуйте, мы рады, что вы пришли. Брат все время вспоминает вас с благодарностью. — Она присела рядом, играя кончиками своих больших кос. Будто боясь запачкать ее, я отодвинулся. Гайша с неподдельным интересом засыпала меня простодушными вопросами: почему я оказался в лазарете, чем на фронте кормят солдат, сколько я убил немцев. От смущения мои ответы получались односложными, куцыми.

Появилась Шамсия-ханум и пригласила всех к столу. Она усадила меня между Фатхуллой и Гайшой. Соседка часто трогала мой локоть и продолжала задавать наивные вопросы. Я сильно разволновался: мне хотелось не отрываясь смотреть на красавицу, но не хватало смелости. Я украдкой поглядывал на ее мужа и опускал глаза. До прихода сюда я думал, что она незамужняя девушка, а теперь все мои затаенные мечты рассеялись.

Голос Гайши вывел меня из задумчивости:

— Фатхулла говорил, что вы складываете баиты[1] о войне. Прочитайте их нам. — Гайша просяще посмотрела на меня.

Она задела мое больное место. Я покраснел, стушевался. Но тут и Фатхулла поддержал ее просьбу.

— В самом деле, прочти-ка, Булат. Помнишь, какие баиты ты читал мне в лазарете — они мне очень понравились.

Хоть бы пол подо мной провалился — читать баиты в таком обществе! — вот уж никогда не думал. И складывал-то я их только для того, чтобы вписать при случае в письма домой да фронтовым друзьям. «Как бы отказаться», — лихорадочно думал я:

— Баиты я оставил в лазарете, а наизусть не помню. Принесу и прочту как-нибудь в другой раз, — соврал я, зная все баиты по памяти.

К счастью, они удовлетворились таким ответом, но Гайша все же попросила:

— Вы их перепишите для меня, ладно?

Я кивнул.

Муж Гайши заговорил с Фатхуллой о торговле, ценах, жалованьи приказчиков. По всей вероятности он служил приказчиком у какого-то ловкого купца. Гайшу же больше всего интересовали подробности фронтовой жизни. Я отделывался поверхностными ответами, но она была ими очень довольна. Порой мне хотелось от души рассмеяться. Слушая ее очаровательный голос, я удивлялся той свободе, с какой она вела себя. Пока мы сидели за

[1] Баиты — сказания о каких-либо событиях в стихотворной форме.

столом, она ни разу не взглянула на мужа, а тот и вовсе не замечал ее.

Почему-то мне стало казаться, что она одинока и нуждается в поддержке. Будто ей здесь чего-то не хватает и она порывается куда-то унестись. Когда я ей рассказывал о аэропланах, она размечталась:

— Наверно, на аэроплане можно улететь далеко-далеко? Эх, жаль я не мужчина!

В это время лицо ее совершенно преобразилось: оно вытянулось, брови поползли вверх, а глаза по-особому заблестели. Если бы мы были вдвоем, я бы набрался смелости глядеть ей прямо в лицо, о котором часто грезил в лазарете.

Я потерял всякое представление о времени, пока муж Гайши не вынул из кармана серебряные часы на золотой цепочке. Взглянув на них, он щелкнул крышкой:

— О, уже поздно. Нам пора идти.

Все встали и вышли из-за стола.

Муж Гайши так же сухо попрощался со мной, а Гайша, задержав мою руку в своей, напомнила:

— Так не забудьте переписать баиты.

Я кивнул и с тоской посмотрел ей вслед.

После их ухода я почувствовал себя свободнее. Шамсия-ханум снова усадила меня за стол. Мы еще долго пили чай, беседуя о тяготах войны. Когда хозяйка ушла к соседям за сыном, Фатхулла со вздохом сказал:

— Хорошая у меня сестра — умница, добрая душа, да не знаю, каково ей будет замужем.

Эти слова еще долго звучали у меня в ушах.

Глава тринадцатая

И вот я снова попал в шумную казарму. Опять сплю на нарах, на жесткой соломенной подстилке, ем кашу из жестяного бачка на десятерых. После беззаботной жизни в лазарете казарменный быт кажется невыносимо убогим и скучным. На строевые занятия выводят, правда, всего на два часа, но все равно поднимают в шесть утра. Кормят похлебкой из пшена и рыбы, гречневой кашей с растительным маслом. Все это надоело до тошноты, но никто не возмущается. Да и что толку?

После лазарета привыкать к казарменной жизни было очень трудно. Большую часть свободного времени я лежал на нарах. Выходить на воздух и видеть чуждое мне московское солнце почему-то не хотелось. Я был зол на весь мир и даже на солнце. Оно светило для меня неласково и, казалось, лишь из снисхождения освещало нашу казарму холодными лучами.

Мне противен весь свет — я натягиваю на голову шинель, и лежу, уткнувшись лицом в соломенную подушку. Она неприятно шуршит, точно в ней возятся мыши. Если удается задремать, сон тоже не бывает спокойным, как в лазарете. То на тебя наваливается что-то тяжелое, то кажется, что нары под тобой покосились и ты падаешь в какую-то бездну; или видишь себя лежащим около дороги, по которой проносятся тяжело груженные повозки. Они начинают наезжать на тебя и ты хочешь отбежать в сторону, но чувствуешь, что неведомой тяжестью пригвожден к месту и не хватает сил шевельнуться. Хочется кричать,

но не можешь издать ни звука, и, заметавшись в страхе, наконец, просыпаешься. И еще долго не можешь освободиться от чувства страха, кошмарных видений. Голова отяжелела, во рту какой-то неприятный привкус. Поднимаешься с нар, как избитый, чувствуя ломоту и тяжесть во всем теле, и, чтобы избавиться от этого состояния, идешь к баку и выпиваешь кружку холодной воды с противным привкусом ржавчины. Хочется чего-нибудь кислого. Остается только горько усмехнуться над этим желанием и свернуть толстую вонючую цигарку. Сизая пелена табачного дыма несколько скрадывает неприглядность окружающего. Успокоившись, начинаешь вспоминать фронт, рассудительного Индрила, возмущающегося Новикова, хозяйственного Байгужу и невозмутимого Иртуганова. Думаешь о родных, и в сотый раз, наверное, восстанавливаются подробности ужина у Басыровых. При этом в первую очередь ясно видится милый образ Гайши, и в ушах начинает звучать ее переливчатый голос. При воспоминании о ее муже сердце болезненно сжимается.

Подавленное настроение покинуло меня лишь после знакомства с солдатом Надеждиным. Как только я появился в казарме, он заинтересовался мною, а узнав от кого-то, что я башкир, счел это поводом для знакомства.

— Здорово, земляк! — приветствовал он меня в одно утро, когда мы после занятий возвращались в казармы. Заметив мое недоумение, он усмехнулся:

— Я тоже родом с Урала. Отец на заводах там работал, бывал у башкир в гостях. Хорошо о них отзывался — говорил, что баш-

киры простой, приветливый народ. Рассказывал об их скачках, борьбе, кумысе.

Надеждин держал себя свободно, открыто. Мне он сразу понравился.

Сегодня Надеждин подошел ко мне, когда я лежал, подавленный невеселыми думами.

— О чем задумался, детина? О родных краях? — Шутливый голос его погрустнел: — Домой, небось, как на аркане тянет. Да, война всем по самую макушку надоела. Пора бы и покончить с ней.

Я приподнялся, не знал, что и сказать. Он спросил:

— Ты часто пишешь, я заметил. Что сочиняешь, если не секрет?

Что сочиняю? Баиты, записываю воспоминания, но для чего я это делаю, пожалуй, и сам не знаю. От прямого ответа я уклонился:

— Так, пустяки, ничего серьезного и интересного.

Надеждин, вроде удовлетворенно кивнул головой, заговорил приглушенно:

— Ни один солдат не хочет войны. Сегодня с фронта от одного товарища я получил письмо. Он пишет, что некоторые полки отказываются идти в наступление. На Западном фронте солдаты многих дивизий восстали и перебили офицеров. Вот куда клонятся сейчас дела. Иначе и быть не может, потому как солдаты на фронте полуголодные и полураздеты и семьи их тут голодают. Сейчас здесь, в Москве, семьи рабочих становятся в очередь у хлебных лавок с ночи. И ничего хорошего ждать не приходится. Богачи наживаются, а мы хоть пропадай.

Надеждин умолк и, оглядевшись, зашептал:

— Наши войска все время отступают. Японцы нас побили, а немцы и подавно. Министры и генералы — бездарные, поэтому сколько народа уже загублено! Такое положение без конца продолжаться не может. Народ терпит, терпит, а потом поднимется и смахнет всю гнилую верхушку. И царя не оставят. Теперь все к этому.

То, что Надеждин сказал о войне, было мне понятно — это давно известная горькая истина. Мы на фронте часто возмущались войной, но никто не говорил так смело, как Надеждин. Мне захотелось, чтобы сейчас оказались здесь и Индрил с Новиковым. Тогда наша беседа зашла бы гораздо дальше. Я же лишь согласился с ним:

— Верно ты сказал. Теперь уже большинство солдат говорит то же самое.

Надеждин заметно оживился и, положив руку мне на плечо, продолжал с жаром:

— Разговоры одно дело, а чтобы сделать так, как мы говорим, нам надо всем объединиться и выступить против войны и правительства. Если это произойдет в одно время, что сможет сделать с нами горсточка офицеров и генералов? А ведь правительство опирается только на них...

Пока Надеждин говорил, я пристально присматривался к нему. Его полное лицо вытянулось, а чуть запавшие глаза, казалось, подались вперед. Все это придавало лицу собеседника выражение силы и решимости. Боевое настроение Надеждина стало передаваться и мне.

С тех пор я стал прислушиваться к разговорам.

Особенно они оживлялись по вечерам. Отовсюду слышалось:

— Сейчас все против войны.

— Нас опять отправят на фронт и прикажут драться. Но какой дурак сейчас пойдет в наступление?!

— Надо бросить все и разойтись по домам! Многие высказываются, не таясь.

Это стало теперь обычным. Итог этому обычно подводит Надеждин:

— Так думают теперь все. Но все это произойдет на деле тогда, когда мы бороться будем организованно и дружно. Если мы, солдаты, выйдем на улицы с нашими требованиями, то к нам, без сомнения, присоединятся и рабочие. А если они вперед нас выступят, то нам нужно присоединиться к ним. Такие демонстрации для правительства даром не пройдут.

Все молча соглашаются с ним. И это грозное молчание похоже на затишье перед бурей.

Глава четырнадцатая

Новый, 1917 год, мы встретили в казармах. Нас сводили в баню и кинематограф, накормили мясным супом, кашей с маслом и белым хлебом. К вечеру раздали подарки — конверты с бумагой и папиросы. Однако, солдатам этого показалось мало — они потребовали новое обмундирование, показывали фельдфебелю свои худые ботинки, изношенные шинели, летние гимнастерки и галифе. Тот разводил руками:

— Господа офицеры сей день изволят быть дома. Придут — доложу.

На другой день нас выстроили перед казармами. Перед строем появились полковник, поручик и какой-то штатский. На приветствие полковника солдаты ответили нехотя, вразброд.

— Братцы! — крикнул он воодушевленно, но в его голосе я уловил фальшь. — Вы уже побывали на поле брани и пролили кровь за отечество. Скоро вам придется снова отбыть на фронт для защиты от врагов матушки-России. Чем доблестнее вы будете сражаться, тем ближе будет победа. Ваши ратные подвиги — залог мира! Но между вами могут оказаться изменники, которые не хотят служить его императорскому величеству — государю нашему Николаю Второму и православному русскому народу и хотят поражения России в этой войне. Они — германские шпионы. О них надо докладывать командирам — это долг каждого честного воина. Желаю вам всем в новом году счастья! Пожелаем победы оружию славной русской армии! Ура!..

Солдаты поддержали полковника плохо — «ура» получилось слабое и нестройное.

Откуда-то принесли пустой ящик, и на него поднялся штатский. Он снял шляпу и стал говорить, размахивая руками и время от времени поправляя пенсне. Голос у него писклявый, часто срывался. Штатского слушали с неприязнью.

— Дорогие братцы, верные сыны великой Руси! — он махнул шляпой в нашу сторону,— отечество переживает сейчас тяжелые дни. Враги продолжают посылать на нашу землю

свои разрушительные и смертоносные ядра. Враги хотят завладеть нашей землей и сделать нас своими рабами. Но нет! — русский народ не допустит этого. Он до последней капли крови будет защищать свою великую родину, свою нераздельную империю.

От имени социал-демократической партии я заявляю, что мы — не сторонники поражения России, мы не хотим продавать нашу родину немцам. В дни тяжких испытаний каждый должен помогать всеми силами отечеству. Когда Германия будет побеждена, мы поставим перед правительством свои требования. А пока мы должны сделать все для защиты родины. Так не будем же поддаваться крамоле скрывающихся среди вас предателей, прогоним неприятеля с нашей земли! Сейчас любовь и преданность родине должны стоять превыше всего!..

Вдруг красноречивого оратора прервали выкрики солдат:

— Надоела эта война!

— Иди сам на фронт! Говорить только мастер!

— Кто затеял эту войну — пусть сам и расхлебывает!

Серая солдатская масса всколыхнулась, как гладь воды от порыва ветра.

Солдаты задвигались, загомонили. Офицеры скомандовали: «Смирно! Молчать!», но их голоса поглотил поднявшийся шум. Никто на них не обратил внимания. Оратор, подняв руку, пытался призвать солдат к порядку, но, не добившись своего, застыл с прижатой под локоть шляпой. Офицеры сбились в кучу и о чем-то переговаривались. По их лицам было

заметно, что они растерялись. Оратор посмотрел на них, на взбудораженных солдат, тихонько сошел с ящика. Над строем поплыли облачка сизоватого дыма. Офицеры и штатский куда-то исчезли. Вдоль расстроившихся шеренг бегал лишь один фельдфебель и кричал:

— Р-разойдись по места-ам!

В казармах весь день стоял непрекращающийся гомон. Обычного порядка как не бывало. Слышались громкие разговоры, пение, переборы гармошки.

Я собирался завалиться на нары, но тут ко мне подошел Надеждин. Вид у него был довольный и веселый. Крепко пожимая руку, он уставился на меня с видом человека, собирающегося сообщить радостную весть:

— Знаешь?!

— Что?

— Ведь я говорил тебе, что наш брат теперь стал кое-что соображать. То, что произошло сегодня — это уже борьба. Нас теперь на мякине не проведешь, учены. Это только начало. А что получится, если эти солдаты поднимутся против войны с оружием в руках? Тогда вся Москва будет нашей!

Последние слова меня испугали: что мы будем делать с такой огромной Москвой? Надеждин с виду человек тихий и говорит негромко, а на что замахивается! Предположим, мы захватим Москву, а что же дальше? Поможет ли это нам прекратить войну? Озадаченный, я спросил:

— На что нам Москва? Что это даст?

Надеждин стал с жаром разъяснять мне:

— Если Москва и Питер окажутся в на-

ших руках, то и на фронте солдаты дремать не будут. Тогда власть везде будет солдатская и рабочая, в деревнях — крестьянская. Помещиков, буржуев, генералов и царя — по шапке! Войне — крышка! Германцы у себя тоже так сделают. Тогда мир — и по домам!

Надеждин рассказал мне много интересного о политических партиях и их руководителях. О партиях я слышал и раньше, но не знал, чего они добиваются и какая между ними разница. Особенно подробно он рассказывал о партии большевиков.

— Выходит, большевики за нас, за бедный народ? И они такие же люди, как мы? — изумился я.

— Конечно, — подхватил Надеждин и, оглядевшись по сторонам, на ухо шепнул мне:

— Я состою в партии большевиков уже три года. Только об этом никому. Мы боремся за новую власть — власть рабочих, солдат и крестьян, тех, кто трудится.

О большевиках говорили и на фронте, но всегда называли их германскими шпионами и предателями. А Надеждин говорит о них совсем другое. Особенно мне понравилось то, что большевики считают все народы равноправными. Надеждин понял, что я ему доверяю, и продолжал убежденно говорить:

— Эта война затеяна капиталистами государств всей Европы, чтобы их барыши были еще больше. А для рабочих и крестьян, хоть российских, хоть германских или австрийских война кровавая трагедия. Война — мучительный гнойный нарыв на теле человечества. И этот нарыв нужно решительно удалить, то есть объявить войну войне, подняв народ на рево-

люцию. Эту цель и преследуют большевики. Только они спасут человечество от гибели. Большевизм — это совесть всех людей.

Надеждин будто не говорил, а высекал свои слова на камне. И оттого они прочно врезались в память. Когда в человеке поселяются новые жгучие мысли, они, как вонзающиеся иглы, отгоняют сон. Сегодня я никак не мог успокоиться и заснуть, хотя вся казарма давно утихомирилась и храпела.

«Неужели, неужели может такое произойти, когда не будет ни царя, ни генералов с офицерами, а власть перейдет к бедным? Какая же жизнь тогда настанет? Должно быть хорошая. Все богатство, значит, будет наше, а не байское и буржуйское». Я размышлял о могуществе человеческой мысли и еще о великой силе людей, объединенных одной целью.

Как в кинематографе передо мной мысленно проносятся события прошедшего дня. Выступавший сегодня оратор призывал нас драться до победы. Если мы врага победим и вернемся в свои родные села, что будет дальше? Та же батрацкая лямка и вечная бедность. Что смогли бы мы делать, если бы вернулись домой без рук, без ног, ослепшими, как Басыров?

Вначале тебя будут жалеть, а потом никто и не посмотрит в твою сторону. Ты же до самой смерти будешь страдать, лишенный возможности жить, как все люди.

А человек всегда чего-то хочет. Прежде всего жить по-человечески — отдаваться любимой работе, семье, быть всегда свободным. Большевики как раз и поставили перед собой такую задачу. Их стремления близки солда-

там, зажигают в нас огонь борьбы. Воспламененное сердце начинает петь неведомую, но прекрасную песню. И хочется, чтобы эту песню подхватили все, кто трудится, но остается бедняком, кто вернулся с войны инвалидом. Вот тогда получился бы мощный хор, который разбудил бы умы всего человечества. Эта песня должна остановить пули, снаряды, газы, несущие смерть. В ней должны звучать призывы к братству людей, слова о красоте и ценности их жизни.

Да, человек действительно может быть великим творцом. Он в состоянии управлять слепыми силами природы и подчинять себе ее жестокие законы. Человек не только воспринимает красоту природы, но и сам создает великие творения — дворцы, каналы, книги, музыку... А сильные быстроходные паровозы, огромные пароходы, смело пересекающие бурные моря и океаны, аэропланы, возносящиеся в высь и летающие, как птицы?! Все это сделано человеческими руками. Но они же изготовили порох, ружья, пулеметы, пушки, газы. Человек сам начинает войны, которые в любой момент могут уничтожить и его самого и все им созданное.

Хотелось забыться, но сон не шел. Закурив, я стал разглядывать людей, лежавших на нарах. Многие беспокойно ворочались, охали, стонали или бредили. Не спал лишь один пожилой солдат, приютившийся в дальнем углу. Он то и дело поправлял соломенную подушку, зачем-то ощупывал карманы и потом, скорчившись, замирал, но ненадолго. Видимо, ему не давала покоя какая-то непроходящая тревога.

В просвете тусклого окна показалась только что взошедшая луна и осветила противоположную стену с причудливыми разводами грубой побелки. Долго, без всяких мыслей я глядел на стену...

Мне приснилось, что я протиснулся между прутьями железной решетки и вышел на луг. От яркой зелени травы и множества цветов рябило в глазах. Я шел, утопая в высокой траве и все время озирался по сторонам — чего-то боялся, хотя никого вокруг не было. Луг казался мне знакомым — он походил на тот, что у нашей деревни. Я огляделся — местность оказалась незнакомой, не было и деревни. А мне так хотелось побывать в ней, пройтись по ее улицам, заглянуть к себе домой.

Вдруг я очутился в большом незнакомом доме. Какая-то женщина крикнула мне: «Не ходи туда, пропадешь!» Я еще больше испугался, хотел было выбежать наружу и остолбенел: передо мной на стене висел оживший портрет царской семьи. Все гневно смотрели на меня. Я не мог выдержать их взгляды и, чувствуя себя в чем-то виноватым, опустил глаза. Царь грозно спросил: «Кто тебе позволил топтать мои луга?! Как ты туда попал?!» Мне стало жутко. И в это время я заметил в сторонке маленькую дверь и, не медля, выбежал через нее на берег реки. Что есть силы я мчался по берегу, но вдруг кто-то спокойно и отчетливо проговорил: «Война окончилась. Солдаты отправились домой. Они едут на телегах по царским лугам, и царь на них за это очень сердится».

Я посмотрел на другой берег и увидел обоз, поднимавшийся в гору. Вид сидевших на теле-

гах говорил о том, что они недавно покинули окопы...

Хотя все солдаты были уже на ногах, я не поднимался довольно долго. Мне не давал покоя увиденный сон. «К чему бы это? В сны я все равно не верю». Но настроение было хорошее — я чувствовал себя отдохнувшим. Мой сосед по нарам, как будто угадав это и желая еще больше меня порадовать, сообщил:

— Сегодня после завтрака нас поведут смотреть какие-то картины. Все лучше, чем в казарме вонь нюхать.

Я легко соскочил с нар и пошел умываться.

Глава пятнадцатая

Перед отправкой на фронт нам выдали новое обмундирование и повели в баню. Шли мы возбужденные, с песнями. Видимо, все радовались теплому ясному январскому дню.

Мне казалось, что сегодня мой голос стал сильнее и звонче, точно он вырвался из стесненной груди. В такт песни ноги ступали твердо и четко. От упругости шага тело как будто становилось легче, голова вскидывалась и хотелось с гордостью кричать москвичам: «Слушаете, как мы хорошо поем!» И на самом деле, наше пение привлекло внимание горожан.

Весь строй невольно подражает запевале — коренастому крепышу с большой круглой головой. В такт песни он крепко отбивал шаг и браво размахивал руками. Поет он с чувством, весь отдаваясь песне, и своим вдохновением заражает всех солдат.

Многие прохожие останавливались на тротуарах послушать громкую солдатскую песню. В нашем мощном хоре чувствуется большая сила, сила людей, воодушевленно взявшихся за одно дело. Кажется нет преград, какие бы не преодолела эта согласованная сила солдат.

В бане все ведут себя как женихи перед свадьбой, внимательны друг к другу. Не было слышно обычных насмешек, перебранок и ругательств. Довольные, с шутками возвращались солдаты после бани. Кто-то запел, но тут же послышалась команда:

— Ма-алчать!

У Театральной площади колонну остановили конные полицейские, перегородившие улицу. Солдаты недоуменно переглянулись — в чем дело?

— Может быть, кого-нибудь трамваем задавило? — предположил кто-то.

Вскоре с Тверской улицы на площадь хлынула толпа. Над ней развевалось несколько красных флагов.

— Хоронят, что ли, кого? — спросил один солдат.

— Да это, братцы, как в пятом году, — пояснил кто-то радостным голосом.

Тем временем образовалась толпа и перед Большим театром. На площадь стала стягиваться и конная полиция. Они скакали из конца в конец, размахивая нагайками. Новый человеческий поток показался с Петровки. Прихлынув к нашей колонне, он охватил ее со всех сторон. Мы продолжали стоять строем. Кто-то из подошедших громко обратился к нам:

— Товарищи солдаты! Вы все, рабочие и крестьяне, уже четвертый год проливаете кровь на фронте, а мы тут голодаем! Нам не дают даже хлеба. Ваши семьи тоже голодают. Нам война не нужна! Мы вышли на улицу, чтобы это сказать. Братья! Присоединяйтесь к нам!..

Ему не дали договорить — налетели конные полицейские с обнаженными шашками и стали оттеснять от нас толпу. И вдруг раздался голос Надеждина:

— Рабочие — наши братья! Они заодно с нами. Мы, солдаты, то же говорим: «Нам война не нужна!» От этой войны мы ничего хорошего но получаем, а лишь проливаем кровь и гибнем тысячами. Вот видите — наши отцы и матери, сестры и дети оказались обреченными на голод. Долой войну! Долой царское правительство! Долой...

Надеждину тоже не удалось договорить: конные полицейские, врезавшись в нашу колонну, чтобы оттеснить толпу, расстроили наши ряды. Вскоре улица перед нами стала свободной, и нас повели в сторону Охотного ряда. Строй смешался, и мы шли как попало. Когда проходили по Охотному ряду, мимо церкви, со стороны базара внезапно появилась группа рабочих и слилась с нами.

— Полиция избила нас нагайками. Братушки, не дайте в обиду! — закричали рабочие.

Солдаты остановились как по команде. Один обнял стоявшего рядом рабочего и с широкой улыбкой стал похлопывать его по спине. Солдаты стали группами подходить к рабочим, подбадривали их.

У одного рабочего лицо было рассечено нагайкой — вокруг раны запеклась кровь. Он снял фуражку и, энергично размахивая руками, начал что-то объяснять окружившим его солдатам. Полицейские, заметив говорившего, хотели было подъехать, но солдаты окружили его плотной стеной и зашумели. Те, не добившись своего, отъехали, но через несколько минут вернулись и, нахлестывая коней, врезались в толпу солдат и рабочих. Раздались возгласы:

— Эх, жалко винтовок с собой нет!

— Было бы у нас оружие в руках, знали бы мы что с вами делать сейчас!

— Кровопийцы!

Полицейских становилось все больше. Они оттеснили рабочих от солдат и образовали коридор, по которому мы двинулись дальше. Но пройдя немного, передние почему-то остановились. Спешить нам было некуда, и мы стояли, дымя цигарками и перебрасываясь шутками.

Где-то неподалеку послышалась стрельба. Солдаты сразу умолкли и насторожились. Некоторые по укоренившейся привычке потянулись руками к поясу, где обычно висят подсумки с патронами. Вскоре к нам подъехал эскадрон кавалеристов. Среди них было много офицеров. Их командир, полковник, крикнул нам:

— Братцы, проходите к Манежу, а там вам и до казарм недалеко.

Солдаты почему-то послушно выстроились, и мы быстро зашагали, точно спохватившись, что нам давно уже следовало быть в казармах.

Глава шестнадцатая

Наутро вся наша казарма всполошилась — исчез Надеждин. Собравшись в группы, солдаты гадали:

— Наверное, его ранили во время перестрелки.

— Может быть, он с рабочими ушел?

— Не иначе, как его полицейские схватили.

Однако никто толком ничего не знал. Расстроенный, я целый день не находил себе места. Ночью долго не мог заснуть, думая о Надеждине. «Может быть, он вернется утром и принесет целую кучу новостей?» — успокаивал я себя.

Наутро я обошел все казармы, надеясь встретить Надеждина, но — увы — его нигде не было. Всюду солдаты оживленно беседовали о событиях на Театральной площади, но мне ни с кем не хотелось говорить. Стало невыносимо тоскливо. «Чем бы занять себя», — подумал я и тут вспомнил Басыровых.

Я зашел к фельдфебелю роты и попросил отпустить меня в город.

— Ты разве москвич? — он ехидно улыбнулся.

— Нет, я не москвич, но здесь у меня живут родственники, — соврал я, не моргнув глазом.

— Иди, только не задерживайся. Возможно сегодня ночью или под утро нас отправят,— предупредил фельдфебель, дав увольнительную.

Всю дорогу к Басыровым я внимательно присматривался к прохожим в надежде уви-

деть исчезнувшего друга. Он мне чудился в каждом, на ком была форменная шинель.

Из-за двери квартиры Басыровых доносились приятные звуки скрипки. Я разволновался и, не замечая того, сильно постучал в дверь. Игра на скрипке сразу же смолкла, и за дверью послышались торопливые шаги. На пороге внезапно, как по волшебству, появилась улыбающаяся Гайша. Меня неудержимо потянуло к ней и я, стремительно шагнув через порог, схватил ее руку. Тепло, исходившее от ее хрупких, нежных пальцев, казалось, согрело мое сердце. Захотелось сжать ее руки и не отпускать долго-долго. Гайша потянулась к двери, которую я забыл прикрыть, и только тогда я выпустил ее ладонь. Гайша поспешила в комнаты и крикнула:

— Фатхулла, Булат объявился! Истинную правду говорю — Булат пришел.

— Неужели?! Милости просим, милости просим, — послышался голос Фатхуллы.

От приветливых слов мне стало легко и приятно. Я быстро разделся и вошел. Первое, что мне бросилось в глаза, была скрипка, лежавшая на диване. В ушах опять зазвучали те звуки, что я слышал, стоя перед дверью. «Кто же на ней играет?» — подумал я.

— Давай, заходи сюда, — Фатхулла звал меня в спальню.

Когда я зашел в нее, Гайша заботливо помогала брату надеть пиджак.

— Вот он, Булат, — Гайша кивнула на меня.

Я горячо пожал руку Фатхуллы и хотел было еще раз протянуть руку и Гайше, но

спохватился и покраснел. Гайша сделала вид, что ничего не заметила.

Фатхулла пригласил меня пройти в зал. Здесь было светлее, и я заметил в товарище большую перемену. Он пополнел, был чисто выбрит, аккуратно причесан и, если бы не темные очки, выглядел бы красавцем.

В лазарете он мне показался иным. Даже голос здесь изменился — стал густым, приятного тембра.

Я рассказал Фатхулле о событиях на Театральной площади, об отправке на фронт. Он выслушал меня, не перебивая и, выдержав паузу после того, как я умолк, зло проговорил:

— Будь я на площади, я бы показал этим полицаям! Отъелись здесь, в тылу. Их бы в окопы, вшей кормить, холуи буржуйские. Когда я был зрячим, хозяева во мне души не чаяли. Все бывало говорили: «Золотые у тебя руки, Фатхулла». И правда — работать я умел, в моих руках любой каракуль превращался в первосортный. А когда я ослеп, не стал нужен им. Даже проведать не пришли. Просто-напросто забыли, что был такой.

Последние слова Басыров произнес дрожащим голосом. К нам подошла Гайша.

— Фатхулла, не говори ты об этом — тяжело слушать, — попросила она умоляюще.

— Знаю, что тяжело, да ведь обидно — вот и говорю. Сестра у меня заботливая, не хочет, чтобы я волновался, — сказал Фатхулла, повернувшись ко мне лицом.

Гайша ушла на кухню. Очарованный ее красотой, я притих. Фатхулла придвинулся ко мне, приглушенно заговорил:

— Незавидна судьба у нас с Гайшей. Только было зажили по-человечески, как война грянула. Хоть бы ногу оторвало, а то что я без глаз — беспомощен, как малый ребенок. И Шамсия похолодела ко мне. А у Гайши муж оказался ненадежным — сестра — третья жена у него, двух первых бросил, живет только хозяйскими барышами. Выдали ее тут, пока я на войне был...

Фатхулла, заслышав шаги сестры, смолк. Я же уставился на нее и не мог отвести глаз. Изящная, свежая, жизнерадостная, — она выглядела совсем юной. Сейчас для нее наступила самая прекрасная пора расцвета...

Если в то время, когда цветок распускается, не бывает дождя, печет солнце, то он чахнет, желтеет и осыпается от дуновения даже слабого ветерка. Но если его вовремя оросит теплый дождь, а потом пригреет солнце, чашечка цветка радостно улыбается и он ликует, поражая взгляд своей красотой.

Сегодня Гайша выглядела прекраснее любого цветка. Присев на диван, она взяла скрипку. Уже при первых звуках я понял, что ничего подобного мне слышать не приходилось: они, как воздушные волны возносили меня, и я парил в вышине, воочию видя до боли милые и близкие родные места. Гайша плыла где-то в отдалении, в зыбком мареве серебристых нитей жаркого лета. Я переставал верить, что она может быть реальным существом. Как сквозь блаженный сон до меня долетал негромкий голос Фатхуллы:

— Моя Гайша любит музыку еще с детства. Много занималась. До войны нанимал для нее учителей. Все говорили, что у нее боль-

шие музыкальные способности. Вот эту скрипку я купил ей за сто пятьдесят рублей. Думал, вернусь с войны, продолжу ее обучение. Но не так-то вышло, — сказал он горько и обратил лицо в сторону Гайши с выражением нежной любви. — Милая, сыграй-ка твою любимую арию Ленского из «Евгения Онегина».

Гайша заиграла — из-под смычка полилась волнующая мелодия. В ней мне чудились то предсмертный крик раненого лебедя, сваливающегося с поднебесья, то жалобный зов косули, потерявшей своего детеныша, то плач заблудившегося во время бурана ребенка.

Арию Ленского я слышал впервые, но она казалась мне очень знакомой. Эта музыка воспевала чувства, которые невозможно было выразить человеческим языком. Хотелось в лад ей петь что-то невысказанное, но слова не находились, язык был бессилен.

Я посмотрел на Гайшу — взгляд ее лучистых глаз устремлен куда-то вдаль, за стены дома, на вольный простор полей. Возможно, она восхитилась их красотой и раздольем и от того из ее души лились эти волшебные звуки, вызывая во мне неведомые до сих пор чувства. Мне казалось, что я не достоин быть рядом с ней, смотреть на нее. И это очаровательное существо является женой ничтожного человека! Да, это так, хотя второе мое я отказывалось верить этому.

Я долго бродил по Москве, чтобы не видеть постылой казармы и во мне еще долго звучал пронзающий душу голос скрипки.

Глава семнадцатая

Через неделю после памятного дня, проведенного в гостях, я находился уже далеко от Москвы, на западе Украины. Наш эшелон почти не останавливался. В городе Ровно мы выгрузились из вагонов и в сопровождении усиленного конвоя пришли к казармам. В город никого не пускали, хотя на занятия не водили. Солдаты не знали, чем занять себя целые дни.

Вокруг казарм круглосуточно патрулировали жандармы и казаки. Тех, кто на свой страх и риск выбирался из казарм в город без увольнительной, патруль задерживал и приводил обратно. Их тут же сажали на гауптвахту.

В казармах было холодно, кормили заплесневевшим хлебом и тухлой рыбой. Солдаты до поры до времени крепились, надеясь, что о них, наконец, позаботятся. Проходила неделя, другая, но ничего не менялось. Часто стали раздаваться недовольные голоса:

— Почему нас держат как арестантов?!

— Чем так мучить, лучше бы послали в окопы!

Многие стали жаловаться на желудок. Заболевших отправляли в околоток. Там им давали проглотить лекарство и возвращали отлеживаться в казармы. Дрожа под негреющими шинелями и стоная, они проклинали весь мир. Некоторые взывали неизвестно к кому:

— Почему над нами издеваются?

— Сколько нас будут здесь мучить?!

Здоровые солдаты, собираясь на перекуры, старались сообща как-то объяснить при-

чину бездушия начальства. Догадки строились самые невероятные и ужасные:

— Наше государство вконец разорилось, казна пуста — армию содержать не на что. И нас хотят здесь уморить от злости на германца.

— Они боятся нам выдать винтовки, думают мы зачнем в их палить.

— Знают, что мы не хотим воевать и держат нас взаперти, чтоб не разбежались.

— Не хватает винтовок — вот и вся недолга!

Иногда в пылу предположений дело доходит до серьезных угроз:

— Надо захватить оружие, какое есть, перебить офицеров, казаков и жандармов и всем разъехаться по домам!

А что? Может быть это и есть единственное спасение из этого ада? Разве можно человеку хоть без маленькой свободы? И когда его запирают в холодный, вонючий сарай, называемый казармой, свобода особенно желанна. Хочется вдруг, как по волшебству, очутиться в поросшей седым ковылем раздольной, убегающей к далекому горизонту степи, или перенестись на вершину высокой-высокой горы, с которой видны необъятные дали, или стоять на берегу моря, омываемом пенистыми волнами, и громко и радостно петь.

А между тем он, томясь в холодной и вонючей казарме, пока что бессилен в своем стремлении обрести свободу. Как будто его надежды брошены на грязный пол казармы и они растаптываются офицерскиим сапогами. От сознания этого больно сжимается сердце и кажется, что в кровь вливается яд. В такие

минуты все существо охватывает злоба на весь мир, даже на солнце, освещающее его.

В один из уныло томительных дней неожиданно подали команду выйти из казарм. Солдаты бросились к дверям, как по сигналу тревоги. На улице было пасмурно, но тепло, падали крупные снежинки.

Перед строем встал офицер и громко скомандовал:

— Нижним чинам, части которых находятся не на Южном и Западном фронтах, выступить на десять шагов вперед! Остальным оставаться на своих местах!

Я остался в строю.

После того, как солдаты разделились, офицер крикнул:

— Из нижних чинов, части которых находятся здесь, будут сформированы маршевые батальоны и они будут распределены по дивизиям. А те, чьи части находятся на этом фронте, отправятся в них.

Это сообщение меня очень обрадовало и на душе полегчало. Я стал поглядывать на своих соседей, стараясь угадать, не моей ли они дивизии. Мне так захотелось поскорее увидеть своих товарищей, оставшихся в полку, рассказать им о том, что я увидел и пережил в Москве.

Во главе со старшим унтер-офицером мы, восемнадцать солдат нашей дивизии, построенные по двое в колонну, утром навсегда покинули опостылевшие всем казармы.

День выдался туманный, теплый. Внезапно выступавшие из серой пелены деревья казались огромными живыми чудовищами. Попадавшиеся навстречу всадники выплывали из

тумана как таинственные рыцари старинных времен. Леса стояли неподвижные, насупленные и чудилось, что они тянутся далеко-далеко, до берегов неведомых бездонных морей.

Мы, предоставленные сами себе, шли не спеша, и делали привалы там, где нравилось. Было особенно приятно отдыхать на опушках леса, лежа под стройными соснами. Лежишь на спине, глядя на их вершины, окутанные туманом, и не можешь определить их высоту. Хочется подняться выше деревьев, туда, где ясно. Растущие рядом осины уже чувствуют приближающуюся весну. Их голые ветви покрылись зеленоватыми почками. Пройдет еще неделя-другая и эти осины будет не узнать в новом наряде. Под живительными лучами солнца и теплыми струями дождя все неузнаваемо преобразится. Пойдут в рост лесные травы, вспыхнет множество цветов...

Так страстно хочется встретить эту прекрасную пору — расцвет природы — безмятежным и жизнерадостным... А мы опять направляемся в окопы. И кто знает, может быть в это время, когда этот лес начнет покрываться листвой, на него посыпется град снарядов, осколков и пуль. Сколько деревьев так могут встретить свою последнюю весну?! А рядом будут лежать окровавленные и изуродованные тела солдат, возможно, тех самых, которые идут сейчас через этот лес.

Глава восемнадцатая

В штабе дивизии, обосновавшемся в деревне Софийке, нас встретил солдат-татарин. Он просмотрел наш список, спросил меня на родном языке:

— Вы, оказывается, мусульманин! Из каких краев?

— Из Самарской губернии.

— Значит, мы почти земляки.

— А вы откуда?

— Из Сольилецка.

— Кем здесь служите?

— Писарем.

— А где же полки?

— Там, в лесу, — солдат махнул в угол избы. — Недалеко отсюда, в землянках.

Мы сразу же прониклись взаимным уважением и доверием. Он повел меня к каптенармусу, у которого я получил продукты, а потом повел в свою землянку пить чай. Беседа наша затянулась надолго — он рассказал мне о положении на фронте, а я ему о событиях в Москве.

Писарь Абдулла Хасанов оказался сыном учителя. Он учился и в русской школе, а перед войной — в Оренбурге, в известном медресе [1] «Хусаиние», но не закончил его — призвали в армию.

У Хасанова негромкий приятный голос. Может быть, переняв манеру отца, он говорит веско и убедительно — его нельзя слушать без внимания.

— Я всегда прислушиваюсь к тому, что говорят офицеры. Сейчас они о войне и престоле так отзываются, что диву даешься. В Петрограде, судя по всему, среди многих сословий начались сильные волнения, влияние царского

---

[1] Медресе — мусульманская религиозная школа.

двора падает с каждым днем. После известия об убийстве Распутина они каждый день заводят горячие споры, высказывают смелые мысли. Командование в растерянности. Так дальше продолжаться не может — думаю, скоро войне конец.

Я завел разговор о своей части и между прочим упомянул фамилии оставшихся там товарищей.

— О, Индрила я знаю, — сказал Хасанов обрадованно. — Он же телефонист нашего штаба.

— Где он сейчас? — в нетерпении я вскочил с места.

— Он вчера дежурил, а сегодня, должно быть, отдыхает.

У меня учащенно забилось сердце, я и сам не заметил, как очутился у двери. Хасанов понял меня, не стал больше задерживать и тоже поднялся.

— Связисты живут вон там, — он указал на одну землянку, когда мы вышли на улицу. Второпях попрощавшись с ним, я побежал.

Не чуя под собой ног, я несся к землянке связистов. Ее дверь, к которой был прикован мой взгляд, открылась и к моей великой радости в ее проеме появился Индрил с котелком в руках. От волнения слова застряли в горле, в глазах помутнело и я остановился, как вкопанный.

Индрил, увидав меня, как-то странно выпрямился и замер, не веря своим глазам.

— Не приведение ли передо мной?! — проговорил, наконец, он, засмеявшись.

— Индри-ил!!! — вскрикнул я и не узнал

своего голоса. Друг выронил котелок и его длинные руки охватили меня.

— Не верится! Неужели это ты, Булат!?

Он схватил меня в охапку, потащил в землянку. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. «Дорогой Индрил, вот и удалось свидеться, а ведь этого могло и не быть», — думал я. Наверно, такие же мысли бродили и в голове друга.

— Я сейчас вскипячу чай и потом мы поговорим, — очнулся Индрил. — Ох, и соскучились мы по тебе, Булат! Много новостей накопилось. Я быстро.

Он торопливо вышел из землянки. Успокоившись, я огляделся. В одном углу землянки, на полу, на соломенной подстилке спали два солдата. Они, вероятно, вернулись с ночного дежурства. Их лица были мне не знакомы. Тем не менее, раз они жили с Индрилом, то стали близкими и мне. Индрил не возвращался. Или мне казалось, что время тянется медленно. А может, его вызвали в штаб? Здесь все-таки не тыл.

— Вот и чай готов, — услышал я его голос, и сразу успокоился.

Пока друг хлопотал у стола, я присмотрелся к нему. Он заметно похудел — лицо сузилось, нос заострился и казался длиннее, глаза ввалились и их окружили лучики мелких морщин. Широкий лоб по-прежнему гладок и вроде бы стал шире. На нем та же гимнастерка с карманами, которые пришил ему я. Из одного торчит уголок записной книжки, в другом, конечно, документы.

Карманы гимнастерки Индрила напомнили мне о прошлом. Однажды в нашей роте по-

явился солдат в гимнастерке с нашитыми карманами. Мы подумали, что командиры прикажут их отпороть, потому что лишь офицерам выдавались гимнастерки с нагрудными карманами. Однако прошла неделя, другая, а новичок по-прежнему щеголял в том же виде. Тогда и все стали нашивать карманы к своим гимнастеркам, но делали это неумело, да еще черными или белыми нитками. Я же в этом деле превзошел всех. Скроив карманы, я их сначала лишь приметывал и только после этого прострачивал края мелким ровным швом. Конечно, работа эта была кропотливая и отнимала время, но зато карманы получались ровные, как на офицерских гимнастерках. Так в своей роте я получил известность как мастер по нашиванию карманов. В те времена, когда мы бывали на отдыхе, меня стали засыпать заказами. Получая за работу махорку, я старался выполнять ее добросовестно. Через некоторое время многие солдаты не только нашей роты, а даже батальона ходили в гимнастерках с карманами.

Вспомнив это, я усмехнулся. Индрил, крутившийся у стола, обиженно произнес:

— Не над моим ли угощением смеешься? Конечно, у нас не лазарет — ни мяса нет, ни булок.

— Я не о том подумал. Увидел карманы на твоей гимнастерке и вспомнил те времена.

— Ах, вон оно что! Я эту гимнастерку ни на какую не сменяю. — Индрил приложил руку к карманам.

— Ну, давай, рассказывай теперь о друзьях — что с ними? Кто жив, кто ранен?

— Я и сам собирался сказать об этом. Но-

виков — телефонист в штабе полка. Байгужа перебрался в обоз — поспокойнее там. Иртуганов теперь фельдфебель и опять награжден Георгиевским крестом.

— За что?

— Во время боя пристрелил струсившего офицера.

— Так. Значит, он теперь не с вами, за войну, за царя-батюшку?

— Нет. Он от нас не отходил. Просто подвернулся повод выпустить дворянскую кровь. Насчет Иртуганова не сомневайся, он — наш в доску. А вот про тебя мы все думали, что ты уже на фронт больше не попадешь. Я сейчас о тебе скажу по телефону Новикову. Как-нибудь известим Байгужу и Иртуганова. Тогда и поговорим обо всем.

Индрил поспешно вышел из землянки.

Глава девятнадцатая

Весна семнадцатого года на Украину пришла рано. За несколько дней из-под прошлогодних листьев проклюнулись нежные бледно-зеленые иголки травы. Жалко было наступать на них — на первые вестники оживающей земли. Травинки эти похожи на новорожденных детей и кажется, что они, глядя на солнце, несмышленно улыбаются. Улыбаются ждущей их радостной, привольной жизни. Они разрастутся, покроют густым ковром землю, украсят ее разноцветьем, сочными ягодами.

Крестьяне часто говорят о ранней весне, глядя из-под руки на пригревающее солнце и лужайки молодой травы. Но как только кто-

нибудь из них указывает на запад, все смолкают, качают головами.

— Что толку от такой весны, если войне конца краю не видно.

Все в мрачном согласии кивают и расходятся.

Наконец, мы, старые друзья, сошлись вместе. Для меня это праздник. Новиков, Индрил, Байгужа, Иртуганов и я лежим на опушке большого леса, на подсохшей мягкой земле. Солнце щедро обдает нас теплотой. Но нам не до прелестей оживающей природы. У всех вид задумчивый и серьезный. Я только что рассказал о том, чего насмотрелся в Москве, и мои друзья все еще находятся под впечатлением услышанного, неспешно покуривают. Над нами, принимая причудливые формы, плавают облачка сизого дыма. Слабые дуновения ветра уносят их в лес или рассеивают по траве.

Новиков лег поудобнее, поправив подостланную шинель, и долго что-то вспоминал.

— Да, друзья, — начал он и как бы желая привлечь наше внимание, обвел всех выразительным взглядом. — В прошлом у нас не было ничего хорошего и хочется хоть в будущем пожить как следует. Что мне дала прошлая жизнь? — «Интересно, интересно, Новиков никогда не рассказывал о себе», — подумал я.— Мне было восемь лет, когда отец в поисках куска хлеба приехал на подмосковные шахты. Нас, детей, у него было семь душ. Попробуй прокорми такую ораву! Пошел работать и я — с десяти лет. В какие только шахты не спускался, на каких заводах не работал, а ника-

кого ремесла не приобрел. И жалованья приличного не получал. Правда, перед войной устроился подручным в кузницу, думал на кузнеца выучусь, но тут забрали в армию. Если придется скоро сложить голову, выходит я так и не испытал в жизни ничего хорошего. Нет, черт возьми, хочется пожить, и жить по-человечески! Мы до сих пор были баранами, но война многому нас научила, на многое открыла глаза... Когда мы первый раз встретились, что мы думали о войне, об офицерах, о царе? Теперь-то мы понимаем кому нужна эта война, чего стоит Николашка со своими генералами, офицерами, буржуями, помещиками...

Индрил не удержался, чтобы и тут не пофилософствовать:

— Ребенок не сразу после рождения начинает ходить. А когда вырастет — не сразу к нему приходит понимание окружающего. Темные мы, необученные грамоте как следует. Кто прочитал много книг — много разной мудрости приобрел и жизнь перед ним как раскрытая книга.

Иртуганов поднял свое рябоватое лицо:

— Война — это кровавая игра, — заговорил он глухо. — Зато в ней ты получаешь винтовку. Стреляй из нее в своих врагов — вот что хорошо. Вот так я убил капитана Александрова. Зверь был, а не человек.

— Интересно, интересно, расскажи, — попросил Новиков. — Чем он тебе насолил?

— Имение помещика Александрова недалеко от нашей деревни. Его сынок оказался командиром батальона, куда я попал в первый год войны. Они любили поиздеваться над

крестьянами — и над русскими и над татарами. Когда я еще был подростком, молодой Александров однажды исполосовал меня кнутом. В солдатском обмундировании он меня не узнал — мне это было на руку.

Один раз осенью подняли нас в атаку рано утром. Темень еще не рассеялась. Александров забегал по окопам, кричит:

— За веру, за царя, за Отечество, вперед!

Ну, думаю, этот случай я не упущу. Выскочили мы из окопов и побежали на немецкие укрепления. Я больше всего заботился о том, чтобы не упустить из виду капитана. В суматошной перестрелке я его и прихлопнул.

— Молодец! — одобрил Иртуганова Новиков.

— Теперь я мастер по этой части. Уже не одного офицера на тот свет отправил.

— Оружие в руках человека — великая сила, — заговорил Индрил, сжав кулаки. — Из охотничьего ружья даже медведя можно убить, а у нас винтовки, гранаты, пулеметы... Когда я выслушал Иртуганова, мне в голову пришла такая мысль: если солдаты все оружие, какое у них есть, употребят на то, чтобы добиться своего, тогда случится удивительная штука. А почему бы этому не быть?! Солдаты разве хотят смерти себе, своим товарищам, разве они по своей охоте покинули семьи и родные места? Разве они не думают про себя: «Зачем я стреляю в немцев? Почему я накликаю на себя смерть от них? Их заставляют делать то, что и меня». Вы думаете, головы немецких солдат не занимают такие же мысли? Конечно! Когда-нибудь весь фронт расстроится и офицеры, наши и немецкие, побегут от

пуль своих же солдат. Только надо бы это сделать разом.

Наступило время обеда. Мы поднялись и зашагали к землянкам. Настроение у всех было бодрое — нас волновало приближение каких-то радостных перемен.

Глава двадцатая

Благодаря хлопотам Индрила меня назначили в команду связи при штабе дивизии и поселили в его землянку.

В штабе часто вижу Хасанова. Мы подружились. Как-то я пригласил его пойти к моим друзьям. Он отказался. В начале я был удивлен, но потом он признался, что его интересует прежде всего судьба татарской нации и ее активных деятелей — о них он говорит с особым уважением.

— Если бы татары смогли создать свое самостоятельное государство, то оно было бы на Востоке самым влиятельным. Вся торговля и промышленность Востока находились бы в руках татарской нации, — убежденно говорит Хасанов.

Эти рассуждения мне непонятны и чужды. Здесь не медресе, а фронт и разговоры об особой судьбе татарской нации мне кажутся бредом.

Хасанов как бы беседует сам с собой, убеждая себя в правильности своих выводов. Наконец он обращается ко мне:

— А ты как думаешь об этом?

По лицу Хасанова вижу, что он ждет подтверждения своих мыслей.

— Трудно сказать, как дальше все повернется, — отвечаю я, не задумываясь над тем, что волнует писаря. Он нервно закуривает и уходит под каким-нибудь благовидным предлогом. И так всегда — встречаемся радостно, а расстаемся с облегчением.

Вначале он нравился мне своим видом, умными мыслями и высказываниями о войне, но теперь я стараюсь избегать его. Хасанов многое знает, умеет интересно рассказывать, но здесь, на фронте, мне больше по душе беседы с Новиковым и Индрилом, которые говорят о том, что волнует.

Заступая на дежурство, я обычно сменяю Индрила. Он обстоятельно вводит меня в курс дела и, пожелав спокойного дежурства, уходит. Сегодня он чем-то возбужден. Наклонившись ко мне, он тихо говорит:

— Между штабом корпуса и нами велись не совсем обычные разговоры. Генерал Кучин приказал офицерам полков провести совещания. Затевается что-то серьезное. Ты сегодня ко всему внимательно прислушивайся, запоминай самое важное, а потом расскажешь.

Сначала передавали обычные сведения из штабов полков, сообщения о положении войск на передовых позициях, метеорологические сводки. В ожидании интересных новостей меня охватило радостное волнение. Казалось, они прогремят оглушительно для всего мира и разбуженное человечество пошлет войне тысячи проклятий...

Принесли ужин, но есть не хотелось. Зато я выпил много воды и курил цыгарку за цыгаркой.

Из штаба полка позвонил Новиков.

Он свободный от дежурства, но по голосу чувствуется, что ему не до отдыха.

— Не скучаешь? — спрашивает он беспокойно.

— Не до этого.

— Есть что-нибудь интересное?

— Нет пока. Просто как-то не по себе.

— И у нас то же самое.

Как только я положил трубку, меня охватила слабость, воздух показался влажным и душным. Захотелось вырваться наружу, глотнуть свежего воздуха. Нечто подобное происходило со мной, когда Хасанов заговаривал о самостоятельном татарском государстве, неизвестном мне Чингиз-хане, хвалил оренбургскую газету «Вакыт»[1], увлеченно рассказывал о богатствах татарских богачей. Какое мне дело до всего этого, особенно до богатеев, их капиталов и домов. Они, наверно, такие же, как мой односельчанин Гаяз. Он сам от мобилизации увернулся и сыновей при себе оставил. Ясное дело — откупился, — он ведь один из самых богатых людей в нашей округе. Его жизнь была для меня тайной. Никто в селе не знал, что делалось в его доме. Знали одно: у Гаяза много денег, и он умеет их наживать. Хасанову почему-то такие люди нравятся. Может, он завидует им, хочет стать таким же? При этой мысли я начинаю на него злиться.

Появление посыльного прервало мои размышления. Он передал мне телефонограмму для полков. Ее содержание озадачило меня:

---

[1] «Вакыт» («Время») — религиозная мусульманская газета.

«Командирам полков, батальонов и рот. Штаб главного командования предупреждает вас о бдительности к нижним чинам. О причине этого будет сообщено дополнительно особыми пакетами. Будьте осторожны.

Начальник дивизии — генерал-майор Кучин».

Я предупредил штабы полков, чтобы они приготовились принять телефонограмму. После второй же фразы меня стали переспрашивать, верно ли я диктую.

— Повторяю: Штаб главного командования предупреждает вас о бдительности к нижним чинам.

— Слушай, ты не путаешь там? — послышался в трубке хрипловатый голос.

— Записывайте, что вам передают, — отрезал я сухо.

Когда кончил диктовать, в трубке послышались вздохи и перешептывания: видимо, все телефонисты были поражены принятым текстом.

— Ты не знаешь, в чем дело? — спросил тот же хрипловатый голос. — Скажи-ка откровенно, а то я ничего не понимаю.

— Нет, больше я ничего не знаю. Сообщите ваши фамилии и полки.

Когда я кончил записывать сведения о принявших телефонограмму, то долго не мог придти в нормальное состояние. Одно пока ясно: случилось какое-то важное событие. Но что именно? И где — на фронте или в Петрограде? Немного терпенья, и скоро все станет известно.

Наша дивизия еще не выдвинута на передовые позиции, и потому после полуночи разговоры по телефону прекращаются. Лишь изредка случается принимать срочные оперативные сводки. Если не потревожит вестовой из штаба, можно несколько часов поспать. Но сегодня, после телефонограммы генерала Кучина, мне не до покоя. Без особой охоты я проглотил ужин — гречневую кашу с конопляным маслом. Я закурил и несколько успокоился. Но не переставал думать над смыслом текста телефонограммы. Возможно, в других дивизиях солдаты взбунтовались и перебили всех офицеров? А почему бы этому не случиться? Разве там не то же думают, что думает Новиков, Индрил, я, Иртуганов? Меня охватывают радостные предчувствия. В такие моменты мои мысли уносятся далеко-далеко, в неясный, но счастливый мир. Перед моим взором открываются громадные пространства, и я вижу тысячи людей. Они работают, творят, радуются, печалятся, любят, беседуют, веселятся. И видится мне, как из этого мира изгоняются учеными невежды, добрыми злые, нищими богатые. И на той и другой стороне есть мусульмане и христиане, немцы и русские...

Главное командование, только еще вчера бывшее грозой для сотен тысяч солдат, сегодня предлагает обращаться с нами осторожно. Как это? — осторожно. Вежливо? Недоверчиво? Нет, наверняка неспроста эта телефонограмма, за ее смыслом должно, обязательно должно крыться что-то значительное и оно должно резко изменить нашу жизнь.

Глава двадцать первая

День необычно теплый. Небо чистое. Ни ветерка. Такой здесь февраль. Солдаты, радуясь погоде, стирают белье, чинят обмундирование. Все это делается с шутками, прибаутками. Некоторые с просветленными лицами пишут письма. Вид у всех спокойный и беспечный.

Странно, весна здесь, на Украине, пробуждает какие-то неясные добрые надежды, стремления, и чувствуешь себя свободно, радостно. Всей душой вбираешь красоту и благоуханье окружающего мира.

Чем выше на небосклон взбирается солнце, тем тише и таинственнее становится в лесу. Почему-то невольно начинаешь думать над многими вопросами окопного быта, над своим будущим. И удивительно: все они решаются легко и благородно.

Всеми фибрами души воспринимаешь красоту и благоуханье ожившей вокруг природы. В такие минуты чувствуешь себя ее неотъемлемой частью, ее братом, ее хозяином, рабом этого милостивого господина. Неясные волнения и ощущения волнуют душу, в голове бродят новые, неведомые доселе самому себе мысли. Незабываемое состояние! Как жаль, что такое блаженство не может продолжаться долго. Замечаю, это действует и на других.

Многие солдаты или мурлычат себе под нос, или громко, не обращая ни на кого внимания, тянут любимую мелодию. При этом слова песни не всегда выражают чувства человека. За простым мотивом часто скрывается

совершенно не похожая на него песня, льющаяся из самого сердца. В эту песню он вкладывает свое самое сокровенное — она как исповедь души — в ней его затаенные мысли, сила и бессилие, гимн жизни и скорбь, надежды и печали, настоящее и будущее. Для выражения стольких разных чувств он не может найти одну единственную песню. Да он и не ищет ее — она сама, помимо его сознания, вылетает на простор.

Сегодня с губ многих солдат срываются такие песни. Их нельзя не слышать. При этом начинает казаться, что они поют о твоей жизни ту песнь, что теснится у тебя в груди. И ты как будто впервые осознаешь, что и у тебя, черт возьми, есть свои человеческие достоинства. Так и хочется крикнуть на весь мир:

— Я — челове-ек!

И всем солдатам тоже. Каждый из них озлоблен на то, что его высокое имя — человек не признается и всячески попирается. Во что выльется эта злоба? Несомненно одно — они будут бороться за право быть хозяином самого себя.

Написал письмо в деревню, перечитал и задумался. Стоит ли так волновать родителей. «Солдаты измучены, истерзаны войной и они живут только одной надеждой, что она скоро кончится. Но вот пришла еще одна чудесная весна, а мы все еще в окопах. Приходишь в ужас, если такое же будет и через год». Чтобы как-то успокоить своих стариков, я приписал: «Здесь все говорят об окончании войны и мы со дня на день ожидаем заключения мира. Так что, может быть, скоро я буду дома».

Показался вразвалку шагающий Индрил. Подойдя ко мне, он схватил меня за плечо. Я удивился его небрежному виду, но он растерянно улыбался. Отдышавшись, он взволнованно сказал:

— Булат, я сегодня на дежурстве чуть с ума не сошел.

— Что случилось?!

— Страшно говорить! Сообщили, что в Петрограде ожидаются важные события. Пока неизвестно что именно — штаб корпуса это держит в секрете.

— Может быть, будет заключен мир?

— Не исключено. Но не только это, думаю. По телеграммам чувствуется, что престол еле-еле держится.

— Неужели? Если царя скинут, значит, войне конец?!

— Возможно. Пока трудно что-то определенно сказать. Но ждать недолго осталось.

Индрил схватил меня за руки, потащил за собой.

— Пойдем к Новикову!

— Конечно! — согласился я. — Ему в первую очередь надо сказать обо всем.

Я еле поспевал за Индрилом. У штаба нам встретился Хасанов. Он окликнул меня, сделал знак, что хочет со мной поговорить.

— Некогда сейчас. Потом, — крикнул я ему, не останавливаясь. Он недоумевающе посмотрел нам вслед. По пути мы забежали в свою землянку, взяли табаку, шинели и направились к лесу, где расположился полк Новикова.

Казалось, я не шел, а летел, не касаясь ногами земли. Занятые догадками о событиях в Петрограде, мы не замечали ничего вокруг. Нам хотелось поскорее добраться до Новикова и сообщить ему обо всем.

У самого леса я взглянул на небо. Солнце щедро лило на землю свои животворные лучи, и всюду был разлит яркий свет и ласковое тепло. Стало светлее и на душе, и мы еще больше убыстряем шаг.

ДАУТ ЮЛТЫЙ

Творчество замечательного башкирского писателя Даута Юлтыя (1893—1938) занимает значительное место в истории башкирской литературы. Многочисленные поэтические произведения, роман «Кровь», десятки лучших рассказов и очерков, около десяти драматических произведений и популярная пьеса «Карагул» составляют основное литературное наследие этого писателя.

Даут Юлтый, как и многие его сверстники, вышел из низов народа, много испытал горести и тяжести старой дореволюционной жизни и лишь в условиях Советской власти обрел настоящее счастье.

Даут Юлтый родился в 1893 году в деревне Юлтый Оренбургской губернии в бедной крестьянской семье. Отец и мать всю жизнь были батраками у помещика, их многолюдная семья всегда жила в нужде и нищете. И маленькому Дауту очень рано пришлось испытать трудности подневольного труда, когда с семи лет он тоже, как и родители, начал батрачить у помещика.

Даут Юлтый начальное образование получил в родной деревне, в старом схоластическом медресе. Несколько лет учился он в соседнем Сорокинском медресе. Способный к учебе, Даут стремился попасть в большое медресе Оренбурга или же Уфы, но нищета не дает ему возможности осуществить свою мечту. С целью

дальнейшей учебы он на некоторое время уходит на заработки в Казахстан, а потом работает учителем в родной деревне.

Когда началась первая мировая война, Даут Юлтый одновременно с двумя старшими братьями был мобилизован в царскую армию. Он три года пробыл на этой кровавой империалистической войне, увидел все ее ужасы. Великую Октябрьскую революцию Юлтый встретил на фронте, и скоро он добровольцем вступает в Красную Армию. Даут Юлтый в 1919 году становится членом Коммунистической партии. Он участвует в боях за революцию, воюет на фронтах гражданской войны. В эти годы он работает в газете «Кызыл юлдуз», выходящей в штабе Первой революционной армии. Даут Юлтый в этот напряженный период был и военным комиссаром, и секретарем канткома, и на других ответственных постах.

В 1921 году Даут Юлтый назначается редактором газеты «Башкортостан», активно включается в организацию комсомольских газет, работает редактором журналов «Яңы юл», «Белем». В 1921 году Юлтый в составе делегации Башкирии был на приеме у Владимира Ильича Ленина. В. И. Ленин в беседе с башкирской делегацией обратил внимание на вопросы печати в Башкирии и по этому поводу имел беседу с Даутом Юлтыем как редактором газеты «Башкортостан». Таким образом, Юлтый свое писательское дело тесно сочетает с общественной работой. В начале двадцатых годов он уже становится видным башкирским писателем.

Литературная деятельность Даута Юлтыя начинается очень рано. Он с пятнадцати лет начал писать стихи.

В творческих начинаниях молодого поэта большую роль сыграла его семья. Несмотря на то, что отец Даута Юлтыя был очень занят подневольной работой у помещика, он находил время для чтения художественной литературы, приучал сына к азбуке, находил ему увлекательные художественные книги. С помощью казанских книготорговцев (они вели торговлю с Оренбургом) Даут ознакомился с произведениями Г. Тукая, М. Гафури, К. Насыри, Акмуллы и других. Под их влиянием он и сам пробует писать стихи. По этому поводу Юлтый в статье «Как я начал писать» рассказывает так: «Я особенно любил стихотворения Г. Тукая «Кичке азан» и «Пар ат», «Ауыл» С. Рамиева. А книгу

М. Гафури «Яшь гумрем» больше половины я знал наизусть... Под их влиянием у меня пробудилась мысль писать стихи. Первое свое стихотворение «Летнее утро» я знал наизусть... Под их влиянием у меня пробудилась мысль писать стихи. Первое свое стихотворение «Летнее утро» я написал под влиянием Г. Тукая».

В печати его стихотворения начали появляться лишь в канун революции 1917 года. Только после Великой Октябрьской социалистической революции расцветает его творчество, и он становится видным писателем Башкирии. Его первая книга стихов, включающая поэтические произведения, написанные до Октября и после него, выходит в 1921 году.

Увидев все ужасы войны, молодой поэт впадает в отчаяние, глубоко переживает народное горе и страдание. Но вначале это было лишь пассивным протестом против империалистической войны. Лишь пройдя через ее горнило, Юлтый приходит к пониманию социальной сущности характера империалистической войны. Эти мысли ярко проявляются, например, в стихах «Сумка», «Кровопролитие», написанных в 1916 году.

Великую Октябрьскую революцию, порвавшую цепь империализма, Даут Юлтый встречает с радостью и посвящает ей стихотворение «Октябрь». Если в период Временного правительства поэт писал, что «нет простора, руки все еще привязаны», то после социалистической революции он слагает гимн новому миру, прославляет победивший народ. В годы гражданской войны Юлтый против врагов революции воевал с оружием в руках и своим пером. Из его поэтических произведений, воодушевлявших советских воинов на борьбу и воспитывающих в них ненависть к врагам, особенно выделяется стихотворение «Встань, батыр, на стремена». Для поэзии Даута Юлтыя этого периода характерны публицистичность, в его стихах уже преобладают восторженные революционные мотивы, светлые поэтические мысли.

Во второй половине двадцатых годов в поэзии Даута Юлтыя отражается богатая, кипучая действительность, индустриализация страны, коллективизация, картины острой классовой борьбы, трудовые будни и героика первой пятилетки. Поэзия его расширяется новой тематикой, наполняется новыми образами, обогащаются ее поэтические средства. Грандиозные картины строительства дают его поэзии эпический размах, в ре-

зультате которого появляются его большие поэмы «Сказка о нефти», «Айхылу», «Мэйсара». Поэма «Сказка о нефти» рассказывает о борьбе за башкирскую нефть в Ишимбае. В поэмах «Мэйсара» и «Айхылу» изображается жизнь рабочих и колхозников, выводятся образы молодых строителей первой пятилетки города и деревни.

Даут Юлтый известен не только как талантливый поэт, но и как замечательный прозаик. В романе «Кровь», носящем автобиографический характер, во всей реальности встают все ужасы империалистической войны, показывается рост самосознания солдат.

Первая книга романа «Кровь» впервые на русском языке была опубликована в 1934 году в переводе Г. Газизова. Новый перевод ее С. Сафиуллина более полон. Впервые публикуется вторая книга, считавшаяся утерянной. Ее в 1968 году в Центральном архиве литературы и искусства СССР обнаружил литературовед, кандидат филологических наук Суфиян Сафуанов. Вторая книга романа сохранилась в переводе на русский язык Мухтара Галиева, близком к подстрочному. Для настоящего издания Юрием Дудолкиным сделан новый перевод книги.

Гайса Хусаинов,

доктор филологических наук.

Содержание

Даут Юлтый
(Юлтыев Даут Исхакович)

КРОВЬ

РОМАН

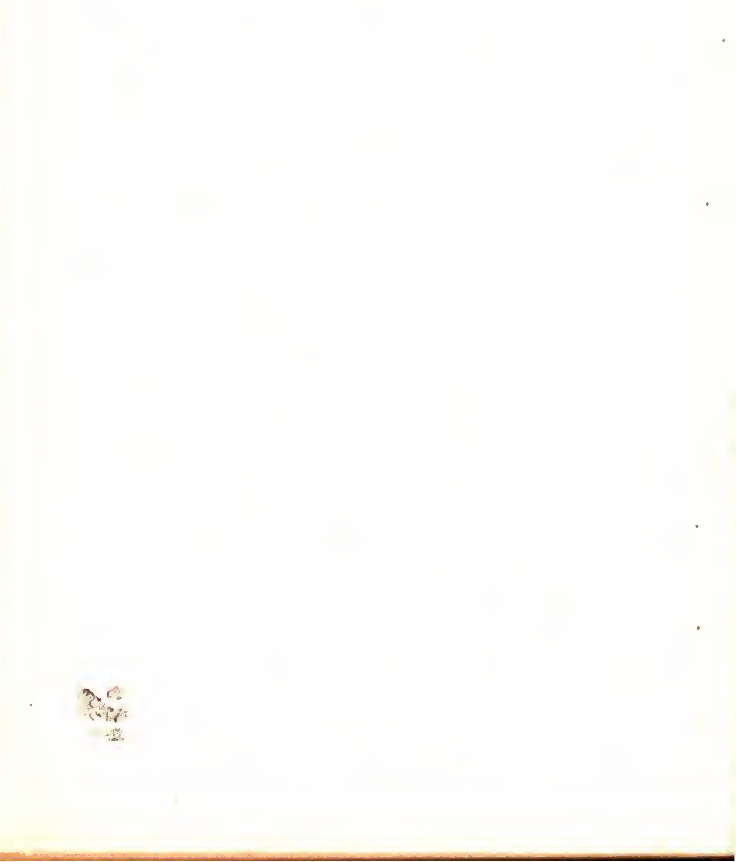
Оформление серии *А. Королевского и А. Холопова*

Редактор *Б. Н. Романов*
Художественный редактор *Б. А. Хайбуллин*
Технический редактор *Н. Я. Сайфуллина*
Корректор *Т. Г. Шнейдер Л. Г. Ахметова*

Сдано в набор 19|IV 1974 г. Подписано к печати 16|X 1974 г. Формат $70 \times 90^1|_{32}$. Физ. печ. л. 14,0. Условн. печ. л. 16,38. Уч.-изд. л. 16,86. Тираж 50000 экз. П02701. Изд. № 76. Бумага тип. № 3. Заказ 150. Цена 61 коп.

Башкирское книжное издательство Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров БАССР, г. Уфа-25, улица Советская, 18.

Уфимский полиграфкомбинат Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров БАССР, г. Уфа-1, проспект Октября, 2.



Цена 61 коп.


ДАУТ ЮЛТЫЙ
КРОВЬ